БЕРЛИОЗ

Теодор-Валенси

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга Теодора-Валенси посвящена жизни и творчеству великого французского композитора Гектора Берлиоза.

- Берлиоз
  - Предисловие
  - Книга первая
    - Часть первая 1803-1830
      - 1803
      - 1809-1814
      - 1815-1816
      - 1817
      - 1818
      - 1821-1822
        - I
        - II
      - 1823
        - I
        - II
        - III
        - IV
      - 1824
      - 1825
        -
        - II
      - 1826
        - I
        - II
        - III
        - IV
        - V
        - VI
      - 1827
        - I
        - II
        - III
        - IV
        - V
        - VI
        - VII
        - VIII
        - IX

- X
- 1828
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
- 1829
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
- 1830
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
- Часть вторая
  - 1831
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
  - 1832

- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX

1833
- I
- II
- III
- IV
- V

1834
- I
- II
- III

1835

1836

1837
- I
- II
- III
- IV
- V

1838

1839
- I
- II
- III

1840
- I
- II

Книга вторая

Часть первая

1841

1842
- I
- II
- III
- IV
- V

- VI
- 1843
  -
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
- 1844
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
- 1845
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
- 1846
  - I
  - II
  - III
  - IV
- 1847
  -
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
- 1848
  - I
  - II
  - III
- 1849
- 1850
- 1851

- I
- II
- III
- 1852
  - I
  - II
  - III
  - IV
- 1853
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
- Часть вторая
  - 1854
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
  - 1855
    - I
    - II
  - 1856
    - I
    - II
  - 1857
  - 1858
    - I
    - II
    - III
  - 1859-1860
    - I
    - II
    - III
  - 1861
    - I
    - II
  - 1862
    - I
    - II
    - III
    - IV

- 1863
- 1864
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
- 1865
  - I
  - II
- 1866
  - I
  - II
  - III
- 1867
  -
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
- 1868
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
- 1869

- Послесловие
- Несколько слов о Г. Берлиозе
- Основные даты жизни и творчества Гектора Берлиоза
- Краткая библиография

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 10
  - 11

- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106

- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150

- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195

- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205

Берлиоз

Предисловие

Если бы понадобилось подобрать девиз к жизненному пути Берлиоза, я бы избрал для этого мушкетера музыки слова:

«Вопреки всему!»

Близкие – и особенно мать, проклявшая сына, – препятствовали тому, чтобы он следовал своему музыкальному призванию. «Я буду композитором – вопреки всему!» – говорил он. Во Франции публика встречала его произведения равнодушно и даже враждебно.

«Повинуясь зову души, я буду настойчиво шлифовать мои оперы – вопреки всему!»

«Римская премия четыре раза выскальзывала из его рук.

«Что ж, я останусь претендентом – вопреки всему!»

Институт пять раз безжалостно захлопывал перед ним двери.

«Вы переварите меня – вопреки всему!» – так звучал его ответ.

А вся жизнь? Козни, которые чинили его враги, свирепо нападавшие на него со всех сторон, смертельно жалящие памфлеты; непрерывные и безжалостные гонения. Воистину ничто не щадило его, и, казалось, ему не суждено было достичь цели.

«А я добьюсь своего – вопреки всему!» – кричал он в ответ.

Но достаточно ли только бравировать, разить врагов презрением и с гордой самоуверенностью насмехаться над ними, бросая им вызов за вызовом?

Основной вопрос нашей книги:

«Добьется ли он триумфа, славы, бессмертия… вопреки всему?..»

Книга первая
Рыцарь «вопреки всему»

Часть первая 1803-1830

1803

9 декабря в городке Кот-Сент-Андре департамента Изеры родился ребенок[1]. О, что за таинство – появление на свет человека!

Станет ли он заурядной личностью, принадлежащей к той части человеческого рода, что живет никчемной и пустой жизнью, не ведая ни борьбы, ни созидания, и ничем не обогащает человечество? Или это будет высший ум, избранный для служения прекрасному, для больших, благотворных идей?[2] Наполеон, Виктор Гюго, Пастер, как и все-все прочие, появляясь на свет, были всего лишь жалкими комочками мяса, беспрестанно исторгавшими крик и плач.

Доктор Берлиоз задумчиво наблюдал за своим первенцем[3]; он не заглядывал в будущее – к чему? Если б мог он прочитать книгу судеб, то возгордился бы этим хрупким созданием, призванным сражаться жестоко и неустанно, никогда не смиряясь и не поступаясь благородством и достоинством.

Радуйтесь, доктор Берлиоз! Среди образчиков, выпускаемых миллиардами, Гектор, ваше дитя, этот маленький крикун, окажется избранником человеческого рода.

Слегка коснемся основных этапов, через которые он прошел, прежде чем достиг сознательных лет, а затем сразу перейдем к возрасту, когда выявляется ум и самоутверждается личность.

1809-1814

6 лет.

Как было заведено в городке, Гектора поместили в духовную школу Кот-Сент-Андре[4]. Однако долго оставаться в ней ему не пришлось, так как император в 1811 году приказал закрыть заведение, где учились дети из семей, слишком преданных старому режиму. Доктор Берлиоз, верный традициям, принадлежит к ультрароялистам. Для Наполеона эта пора высшей славы, та пора, когда он ломает все препятствия и душит сильной рукой даже самые робкие попытки к сопротивлению.

Кому же доверить обучение мальчика? В Кот-Сент-Андре, в то время захолустном городишке, не было ни одного учителя. И тогда доктор Берлиоз, видный врач, любивший литературу, берет на себя деликатную задачу обучения сына. Разве не открыты ему

обширные владения человеческого разума? Итак, отец знакомит своего ученика с древними языками, раскрывает ему поэтичность и великолепие литературы, вместе с ним проникает в тайники истории, а на уроках географии совершает удивительные путешествия. Воображение юного Гектора распаляется. Что такое история? Примеры героизма. География? Волшебные, зачарованные земли, где ему видятся пестрые бабочки и райские замки. Литература? Ритмы, что ласкают слух, видения, что, возникнув, летят от звезды к звезде.

Скрытый в Гекторе романтизм пробуждается и пламенеет.

Открывая мир, он живет с широко раскрытыми глазами, напряженным слухом, ко всему внимательный, ни к чему не равнодушный. Но более всего его влечет музыка, ему кажется, что именно она таит самые волшебные феерии, в ней находят выражение еще смутные грезы, она утоляет его потребность в бесконечном, едва родившуюся, но уже ставшую неотступной.

1815-1816

12 лет.

Его первая любовь, Эстелла Дюбеф, была пятью годами старше, чем он. Она гостила неподалеку, у родных, в деревне Мейлан близ Гренобля.

В Гекторе уже живет смутная жажда горения.

Послушаем, как Гектор позднее сам красочно рассказал об этом рано развившемся чувстве:

«В верхней части Мейлана, возле крутого склона горы, стоял белый домик, окруженный виноградниками и садами, откуда открывался вид на долину Изеры. Позади были каменистые холмы, развалины старинной башни, леса и величественная громада утеса Сент-Эйнар – словом, уединенное место, как бы предназначенное служить сценой для романа. То была вилла госпожи Готье, жившей здесь летом с двумя племянницами, младшую из которых звали Эстеллой. Одного этого имени было бы достаточно, чтобы привлечь мое внимание, оно стало мне дорого из-за пасторали Флориана («Эстелла и Неморен»), которую я выкрал из библиотеки отца и тайком перечитал сотни раз. Той, что носила имя Эстелла, было семнадцать лет, она была изящна, высока, с большими, сияющими, всегда улыбающимися глазами, с копной волос, достойных украсить шлем Ахилла, с ножками не скажу андалузки, но уж, во всяком случае, чистокровной парижанки и… в розовых башмачках!.. Подобных башмачков я никогда не видывал… Вам смешно?!. Так вот, я забыл цвет ее волос (они были, кажется, черными), но при мысли

о ней я всегда вижу ее большие, сверкающие глаза и… маленькие розовые башмачки.

Увидав ее, я словно почувствовал электрический удар. Я полюбил ее – этим все сказано. Я ощутил головокружение, и оно более не покидало меня. Я ни на что не надеялся… ничего не понимал… Но ощущал в сердце боль. Целые ночи напролет я пребывал в отчаянии. Все дни, словно безмолвно страдающая раненая птица, я прятался в кукурузных полях и укромных уголках сада моего деда. Ревность – бледноликая спутница самой чистой любви – терзала меня при всяком незначительном слове, с которым мужчины обращались к моему кумиру. Еще и теперь меня пробирает дрожь при воспоминании о щелканье шпор моего дядюшки, когда он танцевал с нею. Все в доме и по соседству подсмеивались над несчастным двенадцатилетним ребенком, разбитым любовью, что была превыше его сил. И я уверен, что она сама, первой догадавшаяся обо всем, немало потешалась надо мною. Как-то вечером у ее тетушки собралось много гостей. Сговорились бегать наперегонки, и нужно было разделиться на две равные группы, образовав два враждебных лагеря. Кавалеры выбирали себе дам. Мне нарочно предложили назвать даму первым. Но я не решался, мое сердце билось слишком сильно, я молча опустил глаза. Надо мной начали подшучивать, и тогда мадемуазель Эстелла схватила меня за руку.

– Раз так – я выберу сама! Я беру в кавалеры господина Гектора!

О горе! Жестокая, она тоже смеялась надо мной, блистая своей красотой.

Мне было тринадцать лет, когда я потерял ее из виду… Мне было тридцать, когда, возвращаясь из Италии через Альпы, я различил вдали утес Сент-Эйнар, и белый домик, и старинную башню… Мои глаза заволокло слезами… Я все еще ее любил… По приезде я узнал, что она вышла замуж. Но это вовсе не исцелило меня».

1817

Доктор Берлиоз – образцовый отец. Он желает дать сыну блестящее образование. И потому Гектор начинает учиться музыке.

Доктор Берлиоз остановил свой выбор на некоем лионце Эмбере, занимавшем в оркестре Театра целестинцев место второй скрипки. По контракту, скрепленному 20 мая 1817 года подписями доктора и музыканта, Эмбер из Лиона должен был за восемь франков в месяц обучать игре на скрипке и кларнете

двенадцать учеников и одновременно дирижировать оркестром Национальной гвардии.

1818

15 лет.

Дерзкий возраст.

И вот сей юнец с неслыханной самонадеянностью пишет двум парижским издателям, предлагая им секстет для четырех струнных инструментов, флейты и валторны. Один из них не удостаивает его ответом, другой, Плейель, шлет холодный отказ.

«Подумаешь! – решает Гектор. – Их мнение не в силах поколебать во мне веру в собственные способности и, стало быть, остановить мой взлет».

Но покамест ему не оставалось ничего другого, как музицировать на плохонькой флейте, пользуясь теми азами, что преподал ему все тот же отец[5]. В Кот-Сент-Андре фортепьяно не было и в помине. И кто бы осмелился вообразить, что птица гения начнет полет под звуки флажолета? Ведь именно на этом скверном инструменте он наигрывал свои первые романсы, наивные и милые, воспевая в них Эстеллу, свою горячо любимую Эстеллу, и ее красоту.

Наконец, он начал обучаться игре на гитаре под руководством эльзасца по имени Доран, приехавшего в Кот-Сент-Андре вместо несчастного Эмбера, повергнутого в отчаяние самоубийством горячо любимого сына.

В ту пору Гектор увлекался также игрой на барабане.

1821-1822

I

18 лет.

Гектор получает степень бакалавра в Гренобле. Родители объявляют ему, что он поступит на медицинский факультет и станет врачом.

Октябрь. Пузатый дилижанс выезжает из Гренобля. Впереди долгий путь по Франции, непрерывная смена веселых пейзажей.

Волнующие и разнообразные планы.

Вот, наконец, и столица – светоч того мира, который молодой человек вскоре вознамерится покорить.

Гектор ловко спрыгивает на мостовую и сразу чувствует себя

как дома. Рыжая, взлохмаченная грива волос, нос, подобно птичьему клюву, изогнутый над тонкими губами, глаза, глубоко сидящие под надбровными дугами, – так выглядел тогда этот необычный юноша.

II

Начались занятия, невыносимые для Гектора (где мечты, где поэзия?!). И все же в течение пяти триместров, совершая над собой насилие, он продолжает оставаться студентом.

Но, жадный до зрелищ, он то и дело пропускает лекции по медицине ради театра. Его орлиный профиль видят то в Опере, то в театре Фейдо, то в Итальянском театре, то в Амбигю-Комик. Сколько в нем восторженности! Чтобы судить о его переживаниях, достаточно прочитать строки, которые он написал, прослушав «Ифигению в Тавриде» Глюка: «Колени дрожали, зубы стучали, голова кружилась, я едва держался на ногах. Я почувствовал, что обливаюсь потом, меня душили слезы… Потрясенный, я рыдал всю ночь…»

О музыка! Какой взмах крыльев, какое благородство и величественное волнение! Самое чистое, самое искреннее. Ему не терпится взмыть ввысь, что за пытка – ползать по земле! Грубый реализм врачевания претит ему и причиняет мучения.

В своих «Мемуарах» Берлиоз пишет: «Быть врачом! Изучать анатомию! Вскрывать трупы! Присутствовать на отвратительных операциях, вместо того чтобы отдаться душой и телом музыке – этому величественному искусству, благородство которого я уже начал постигать. Покинуть небеса ради жалкого прозябания на земле. Променять бессмертных ангелов поэзии и любви с их вдохновенными песнопениями на грязных санитаров, ужасных служителей анатомических театров, на омерзительные трупы, крики больных, стоны и хрип, предвещающие смерть!»

Однако среди царящего вокруг воодушевления Гектор должен был сдерживать свое отвращение.

Еще бы, ведь его приятели-студенты выглядели столь гордыми оттого, что распоряжались телом – драгоценной собственностью, в которой, быть может, обитал гений. Однажды, исследуя грудь одного утопленника, он, подобно другим, бросил рыскавшей кошке кусок легкого.

Тот день и тот постыдный жест, заставивший его покраснеть, ускорили решение: медицине был вынесен безжалостный приговор.

К тому же он только что открыл Шатобриана, неожиданно, как натыкаются на чудо[6].

– Возможно ль? – воскликнул он. – Это же мой родной брат по взглядам и по чувствам!

И в самом деле Гектор узнал в нем себя, свою душу – трепетную и мечтательную, объятую лихорадочным жаром восторженного лиризма и образами, озаренными вспышками молний. Его охватывает трепет, а перед затуманенным взором, где-то вдали, за чертой обманчивой действительности, развертываются волшебные сцены. И вот он бежит от самого себя, бежит, так как ему нечем дышать. И на распростертых крыльях Шатобриана, среди волнующих радостей он преследует изменчивое таинственное облако, неутомимо жаждущее пространства, стремится за горделивой рекой, которая раскрывает перед притихшими долинами свой капризный нрав и опьянение неисчерпаемой любовью к странствиям. Временами он напрягает слух, чтобы услышать, как луна поверяет звездной ночи «свою великую тайну меланхолии», пока наперсница пастуха – флейта оплакивает невыразимую и неизведанную любовь. Волшебный мир!

А потом, когда оголяются деревья, когда землю одевает покров ржавой листвы, он мысленно бродит по задумчивому лесу или по кладбищу – среди нежных ив, проливающих после осеннего дождя тяжелые слезы на мрамор могильных плит.

«Нет, нет, – повторяет он в романтическом опьянении. – Медицина – никогда!»

И внезапно опера Сальери «Данаиды», ослепив его, осветила и указала ему путь.

«Торжественность и блеск спектакля, гармоничное слияние оркестра и хоров, патетический талант госпожи Браншю, ее необыкновенный голос, величественная суровость Дериви; ария Гипермнестры, где я вновь находил, правда в передаче Сальери, все черты идеала, что я создал себе из стиля Глюка; и, наконец, потрясающая вакханалия и танцевальные мелодии, полные меланхолической неги, добавленные Спонтини к партитуре своего старого соотечественника, – все это привело меня в состояние возбуждения и восторга, описать которые я не в силах»[7].

Прощай, анатомия! Ежедневно ему удавалось проскользнуть в библиотеку Консерватории; и там все дни напролет он читал и перечитывал, пока не заучит наизусть исполненные лиризма грандиозные трагедии Глюка.

И вот (какая дерзость!) в поисках стихотворного либретто для оперы он обращается к Андрие, лекции которого слушает в Коллеж де Франс.

1823

I

17 июня.

«Мне шестьдесят четыре года, – ответил известный профессор, – и едва ли мне подобает писать любовные стихи, для меня настало время подумать о заупокойной молитве. Сожалею, что вы не родились тридцатью-сорока годами раньше или я на столько же лет позднее. Тогда мы могли бы работать вместе».

Но, как видно, пожелав познакомиться с юным студентом, обратившимся к нему за либретто для своей оперы, Андрие сам принес ответ в дом 104 по улице Сен-Жак, где Берлиоз тогда жил.

Он долго поднимался по лестницам и, наконец, остановился перед маленькой дверью, через щели которой доносился запах жареного лука, и постучал. Ему открыл худощавый, угловатый молодой человек с растрепанными рыжими волосами, с кастрюлей в руке. То был Берлиоз, занятый приготовлением своего студенческого обеда – рагу из кролика.

– О, господин Андрие, какая честь! Вы застали меня за таким занятием… Если бы я мог знать…

– Полноте! Прошу вас не рассыпаться в извинениях. Ваше рагу должно быть превосходно, и я, разумеется, отведал бы его вместе с вами. Но мой желудок не позволит мне. Продолжайте, друг мой, заниматься своим делом. Ваш обед вовсе не должен подгореть из-за того, что к вам наведался академик, пописывающий басни.

Андрие усаживается. Завязывается разговор – сначала о вещах, ничего не значащих, потом о музыке.

К тому времени Берлиоз стал ярым и непримиримым глюкистом.

– Да-с, – сказал старый профессор, качая головой, – понимаете ли, я люблю Глюка. Безумно его люблю.

– Вы любите Глюка, сударь? – вскричал Гектор, бросившись к своему гостю, как бы желая его обнять. При этом он размахивал кастрюлей явно в ущерб ее содержимому.

– Да, я люблю Глюка, – вновь произнес Андрие, не заметивший порыва своего собеседника.

И, опершись на трость, он вполголоса продолжал, как бы обращаясь к самому себе:

– И Пуччини очень люблю тоже.

– О!.. – ставя кастрюлю, произнес Берлиоз, сразу охладев к гостю.

Между тем решимость Берлиоза оставить медицину в течение нескольких лет наталкивалась на неуступчивость его родителей, верных традиции. Они считали поведение сына отступничеством.

Их взгляды на путь, которым Гектор должен следовать, были едины.

II

Однако пора представить отца и мать Гектора.

Доктор Берлиоз – мудрец, благодушный и не слишком строгий последователь философов XVIII века.

Человек неистощимой доброты и ревностный поборник милосердия, он бескорыстно лечил бедняков, так как, по его убеждению, нужда не лишала их права на спасительное врачевание, на это благодеяние неба, плоды которого не должны присваивать себе одни лишь богатые. Поздними вечерами, в часы покоя, когда люди и предметы погружены в сон, он любил при мерцающем свете свечи подолгу мирно размышлять о судьбах человечества, силясь постичь их сущность.

Таков был отец Гектора – само спокойствие. Зато мать являла собой полную его противоположность. Она постоянно пребывала в состоянии неистовой ярости. Никто и ничто не могло заслужить ее снисхождения, Она беспрерывно поучала и порицала, грозила и проклинала. Возле тихой глади озера извергал кипящую лаву вулкан.

И мягкосердечный доктор уступал и уступал, всегда предпочитая мир даже ценой унизительной покорности потрясениям битвы, пусть и победоносной. Но по поводу карьеры Гектора они были совершенно единодушны.

III

Гектор, с каждым днем все решительнее убегавший с лекций по медицине, стал завзятым театралом; родители же его пребывали в неведении о подобном проявлении самостоятельности.

В партере он выделялся неудержимой горячностью. Движет им негодование или восхищение – он высказывается в полный голос. И немало случалось из-за него неприятностей.

Однажды вечером, поддержанный компанией юных фанатиков, таких же романтиков, как он сам, Берлиоз прямо с места потребовал скрипичного соло, виртуозно исполнявшегося Байо, которое дирекция осмелилась ампутировать у балета

«Нина, или Безумная от любви». И если верить Берлиозу, пришлось опустить занавес, а наш юный герой продолжал, не умолкая, кричать:

– Байо! Байо! Куда вы его девали?

Какой поднялся шум, а потом и бунт! Самые буйные зрители, сочтя такую купюру кощунством, яростно устремились в оркестр, круша стулья и пюпитры, прорывая кожу на литаврах, разбивая инструменты.

При исполнении «Ифигении» во время пляски скифов он закричал во всю силу своего голоса:

– Не смейте править Глюка! Никаких тарелок здесь нет!

– Нет тарелок, нет тарелок! – хором подхватили его юные друзья. – Убрать тарелки!

А сразу по окончании монолога Ореста;

– Там не должно быть тромбонов!

И его сообщники, создавая невероятный шум, хором завопили:

– Гнать тромбоны! Гнать тромбоны!

Если же Гектор удостаивал кого-либо своим одобрением, то вся ватага, послушная его приказам, разражалась неистовыми аплодисментами, а за ними в подкрепление неслись исступленные выкрики: «Браво! Браво!» И весь зал следовал их примеру, так как эти юнцы знали толк в музыке.

Поэтому в театре хорошо знали этого «трудного ребенка» – рыжего, взлохмаченного, с горящими глазами; постоянно видели, как он, с жадностью погрузившись в партитуру, лихорадочно следит за игрой оркестра, то и дело подавая сигналы хлопкам или свисту.

IV

Именно в театре и завязалась дружба Гектора с Жероно – юным учеником Лесюэра, драматизировавшим для него «Эстеллу» Флориана. Их дружбу скрепляло общее чувство – оба поклонялись романтизму. И Жероно представил Гектора своему учителю.

Жан Франсуа Лесюэр[8] при соборе Парижской богоматери. В те годы его музыкальные произведения – подлинный взлет к небесам. Люди толпами ломились под величественные своды храма, чтобы упиться благостными звуками, как бы идущими из потустороннего мира и потрясающими душу. Однако закон человеческого общества гласит: либо быть мишенью для зависти, либо прозябать в тени безвестности. Лесюэр, повинный в том, что преуспел, вызвал яростные и злобные пересуды. Ему пришлось прекратить борьбу, и он удалился, хотя и не исчез, – из церкви он

перешел в театр. Начав в тридцать лет, он пишет одну за одной оперы «Пещера», «Поль и Виргиния», «Телемак», а позднее – много других выдающихся произведений, и среди них «Оссиан, или Барды».

Мария-Антуанетта оценила его талант и тот умиротворяющий уход от действительности, какой вызывали его возвышенные произведения.

Наполеон сделал его дирижером своей императорской капеллы и назначил ему пенсию, а как-то после триумфального концерта вручил музыканту массивную золотую табакерку с тонкой гравировкой, внутри которой сверкал крест ордена Почетного легиона. Реставрация, в свою очередь, высоко оценила его заслуги. Лесюэр стал членом Института[10] и одновременно получил звание профессора Консерватории.

Такое положение он в то время и занимал. Однако, как и прежде, его окружала жестокая враждебность. Презирая пресмыкательство, знаменитый музыкант испытывал отвращение к сделкам в искусстве. Но, увы, его непримиримость вскоре была сочтена вызовом, и в конце концов он был отрешен от должностей.

Предчувствовал ли Лесюэр, что Гектору уготованы те же бури, что сотрясали его собственную жизнь, и те же несправедливости, что обрушивались на него самого? Возможно, и так. Или же он любил в Берлиозе то обожание, что испытывал ученик к своему учителю? Может быть, выдающийся композитор видел в нем зеркало и, таким образом, любовался отражением собственного величия? Как знать! Ведь и самым великим не чужды такие слабости.

Лесюэр полюбил юного Берлиоза с первой же встречи и принял его в число своих частных учеников.

1824

Берлиоз, в котором уже пробиваются ростки гения, намерен сразу стать в ряд авторитетов. В двадцать один год его вера в себя непоколебима. Впрочем, судьба любит, когда ее торопят и грубо хватают за горло.

Его так распирают бушующие страсти, что ему не терпится излить их в музыке.

И вот он сочиняет «Торжественную мессу».

Написана последняя нота – и тотчас же разум его распаляется. «Вот это будет успех! – думает он. – Триумф на весь Париж, потом на всю Францию, при всей своей недоверчивости приведенную в восторг. И во всех церквах сами запоют органы,

покоренные моей «Торжественной мессой», столь близкой их душе».

Как прекрасна вера в себя, присущая юности! Закрывая глаза, что же он видит? Гектор видит Институт, зеленые одежды, но вместо традиционной треуголки его венчает лавровый венок, словно на челе избранников бога-отца… Орден Почетного легиона… Его имя звучит под крышами убогих хижин и роскошных дворцов.

Горячая вера в успех способна сдвинуть горы, он мечется, хлопочет, организует, щедро растрачивая силы.

Но где взять денег на расходы?

И вот он пишет Шатобриану – своему богу слова, образа, музыкальной и крылатой прозы.

Но, увы, Шатобриан, легко расстававшийся с деньгами, когда его кошелек был полон, переживал тогда пору безденежья.

Его действительно должна была огорчить необходимость ответить такими горькими строками:

> «Париж, 31 декабря 1824 года.
>
> Вы просите у меня тысячу двести франков, сударь. У меня их нет; будь они у меня, я бы их вам прислал. У меня нет никаких возможностей оказать вам услугу, обратившись к министрам. Я принимаю, сударь, живое участие в ваших затруднениях. Я люблю искусство и чту артистов. Но испытания, которым талант иногда подвергается, способствуют его торжеству, а день успеха вознаграждает за все, что пришлось выстрадать. Примите, сударь, мои глубокие сожаления – они совершенно искренни,
>
> Шатобриан»[11].

1825

Упрямо стремясь к цели, страстно доказывая и убеждая, он собирает сто пятьдесят музыкантов из Итальянского театра и Оперы. Затем в кабриолете колесит по всему Парижу, заезжает в редакции газет, где куется слава. Повсюду он разжигает энтузиазм.

– Приходите, приходите все! – призывает он. – Это будет кульминационный момент в летописи музыки.

В судьбе Гектора стрелки часов отмечают важную минуту.

10 июля «Торжественная месса для большого оркестра г. Берлиоза, ученика г. Лесюэра» заполняет звуками церковь Сен-

Рош, где собралась снисходительно настроенная аудитория – аудитория заранее покоренных друзей и скептиков, заинтересованных объявленным шедевром и готовых рукоплескать незрелости, даже посредственности. Но музыка была выше посредственности, выше просто преемлемости – она была достойна похвал. И публика, готовая довольствоваться сочинением заурядным, приняла с удовлетворением то, что заведомо была рада почитать за лучшее. Девицы Лесюэр – дочери учителя – разжигали страсти. Гектор ликовал.

Кюре церкви Сен-Рош поспешил поздравить автора и заверить его, что музыка, «испорченная Ж.-Ж. Руссо», находится отныне в надежных руках[12].

«Корсар» – газета, на которую Берлиоз уже оказывал влияние, – подчеркивала именно это суждение.

Тут-то и случилось самое поразительное событие, которое укрепило бы обескураженное, смертельно раненное сердце. Так как же не опьяниться честолюбивому сердцу, распираемому слепой верой и безмерной надеждой? Ведь сердце, бившееся в груди Гектора, беспрестанно напоминало этому пылающему романтику: «Ты рожден для чудесной судьбы – для музыки».

Однако что это за событие? Заслуженный, признанный композитор, чей светлый ум и безупречную честность поистине невозможно было оспаривать, произнес, словно изрек оракул, следующее пророчество:

– Гектор Берлиоз, вы не будете ни медиком, ни аптекарем, вы станете великим композитором. Вы отмечены гениальностью, и я вам говорю это потому, что такова истина.

В двадцать два года – и гений! Гений ли?.. Фантазер, весь ушедший в ритмы и жадный до гармоничных созвучий, но совершенно невежественный в композиции. Едва раскрывшаяся душа, едва созревший ум.

Но кто, кто взял на себя смелость так прорицать? Лесюэр! Сам Лесюэр совершил над Гектором таинство музыкального причастия.

II

Изречение Лесюэра вовсе не было откровением для Гектора, и без того убежденного в своем высоком даровании, оно лишь подтвердило его мнение о себе. Тем не менее слова учителя привели его в восторг, и он тотчас отправил родителям безумный рассказ об этом знаменательном событии – великий маэстро публично возвестил его гениальность.

Разумеется, «Месса» имела немалый успех, но под его

лихорадочным пером одобрение публики (он скромно называл свое произведение шедевром) превратилось в бурю восхищения и рукоплесканий. Ничто в отчете не было упущено, ни о чем не говорилось просто, все было преувеличено: наплыв упоения, а затем экстаз аудитории; оркестранты, с трудом сохраняющие сознание под натиском величественных созвучий; покоренные слушатели, и, наконец, учитель Лесюэр, который, не в силах сдержать свои чувства, бросает в лицо публике: «Гектор Берлиоз, вы гениальны!»

Сможет ли яркая картина, созданная Гектором, польстить родным и таким образом приглушить их враждебность к его призванию?

Нет! И отец и мать придерживались того мнения, что Гектор сбился с пути, и добрый доктор неоднократно призывал своего сына «оставить погоню за химерой и вернуться на прямую стезю к почтенной карьере».

Но тщетно! Призывы к разуму при всей их настойчивости не могли поколебать решения этого фанатика, потому что разум, считал Гектор, повелевает подчиниться призванию, ибо оно и есть голос судьбы.

1826

I

И вдруг гроза!

Для исполнения «Мессы Сен-Рош» Гектор одолжил тысячу двести франков у своего друга Огюстена де Пона[13], располагавшего приличным состоянием.

Отрывая по су от своей скудной пенсии, подобно тому как выпускают по капле кровь из вен, Гектор смог вернуть своему заимодавцу триста франков.

Но, выбившись из сил от этой героической жертвы, он открыл отцу правду, разумеется, подправленную и затушеванную.

«Огюстен де Пон, – сообщал он, – ссудил мне шестьсот франков. Половину я смог ему вернуть. Не согласишься ли ты покрыть мой долг?»

И добрый доктор Берлиоз, направив меценату сумму в триста франков, поверил, что полностью освобождает своего дорогого сына от долгов.

Шло время, но обескровленный долгом Гектор не делал взносов. Тогда Огюстен де Пон, желая облегчить положение своего должника, чьи лишения его растрогали, написал доктору

Берлиозу деликатное письмо. Мог ли он подозревать, что Гектор лгал, не желая сразу испугать отца большой суммой. Разумеется, нет!

Таким образом, бережливый и щепетильный доктор Берлиоз, для которого взять взаймы было равносильно краже и к тому же уплативший триста франков, внезапно узнал, что его сын все еще сидит в долгах. Долги! У него-то их нет. Напротив, уходя от бедняков, которых он лечит бесплатно, доктор часто оставляет на столе мелкую или крупную монету, чтобы там задымила, наконец, вкусная похлебка с салом.

На сей раз он возмущается, выходит из себя и, разумеется, не без нажима своей сварливой супруги, решает лишить Гектора денежной помощи. И вот ежемесячная пенсия в 120 франков отменена.

II

Что же делать нашему романтическому герою под натиском бури? Отказаться от музыки, сдаться? Только не это! Он будет бороться вопреки всему!

«К моей давней любви к путешествиям, – пишет он, – присоединилась страсть к музыке, и я решил тогда обратиться к агентам иностранных театров, чтобы получить место первого или второго флейтиста в каком-нибудь оркестре Нью-Йорка, Мехико, Сиднея или Калькутты. Я бы уехал в Китай, стал матросом, флибустьером, буканьером, дикарем – только бы не сдаться. Таков уж мой нрав. Если я во власти страстей, так давить на мою волю бесполезно и даже опасно – это все равно, что прессовать пушечный порох в надежде избежать его взрыва».

И впрямь ничто не может поколебать его веру в себя.

Его сила в энтузиазме, а человек, исполненный энтузиазма, глух к парализующим советам других. Советы не стоят внимания, раз он в состоянии доказать их несостоятельность. Осторожность, считает он, – пристанище слабых и покорных, тех, кто не верит в себя. Плохо ориентируясь в окружающей действительности, он считает, что легко преодолеть любые преграды, препятствия на то и даны, чтобы ощутить всю меру своих сил. Все ему видится простым, прекрасным, возможным. Воля итого человека, которого ничто не могло ни смутить, ни поколебать, готова была сокрушить горы.

Итак, от энтузиазма к сильной воле.

Бывает, что малодушные, осуждая энтузиастов, восклицают:

– Это безумцы!

Но безумцы ли они?..

Поклонимся в ноги тем, кто умеет побеждать и торжествовать победу.

III

Итак, послушайте, что делает Гектор, страстно влюбленный в Томаса Мура, Вальтера Скотта и Байрона, упивающийся Бетховеном, Глюком и Вебером, уже мечтающий о романтизме, о том, чтобы облечь жизнь в сказочную феерию.

Первого марта должен открыться Театр новостей. Смирив свой нрав и сдерживая честолюбие, Гектор просит места оркестранта – можно второго флейтиста, можно третьего. Увы. все уже занято. Ну что ж, раз надо – я буду хористом.

И вот он взбирается по маленькой, смрадной лестнице и входит в узкую комнату, где с полдюжины кандидатов ожидают экзаменатора. Среди них кузнец, уволенный из театра актер и певчий из церкви Сент-Эсташ. Есть здесь и ткач.

Гектор одерживает верх. Не столько благодаря таланту, сколько дерзостью, приведшей в замешательство даже певчего, чей голос, исполненный чистой веры, елея и переливов драгоценных камней и привыкший страстно взывать к господу, был сладок, как мед, и чист, как хрусталь.

И Берлиоз оказывается затерянным в разношерстной толпе хористов.

IV

О эти хористы! Один – ассенизатор в жизни и знатный вельможа на сцене; другой – забитый рассыльный, снедаемый голодом, а здесь – бравый карабинер. И в этом сборище (какое недоразумение) Гектор, облачившись в пышный, фальшивый костюм, выбивается из сил, не печалясь о том, что унижает свое призвание; он едва сдерживает желание модулировать куплеты, в которых убожество слов усугубляет бедность мелодии. И все это, увы, при пустом желудке, потому что он зарабатывал гроши – лишь пятьдесят франков в месяц. Несчастный! Платить за комнату, есть, одеваться, учиться – и все это на пятьдесят франков. Какая нищета даже для того, кто преуспел в умении отказывать себе во всем и жестоко истязать себя лишениями, будучи уверен в завтрашнем торжестве! Все же, преодолевая отвращение, он пел своим баритоном и думал о вдохновенных произведениях, где суровое благородство стиля околдовывает душу. Какая горькая участь и при этом какое величие![14] Накануне

спектакля наш смиренный хорист, идя на страшный риск – быть безжалостно уволенным, сбежал из Театра новостей, чтобы усладиться настоящей музыкой. Забравшись на галерку, он неистово аплодировал Глюку, прозванному «Микеланджело музыки», великому Глюку – любимому композитору, которого в своем энтузиазме он роднил с главой немецкой романтической школы – Вебером. Его лихорадочное восхищение двумя гигантами музыки доходило до исступления.

А он, Гектор, – мужественный и рано развившийся талант, уже исполненный пафоса, – долгими часами выводил глупые, претенциозные мелодийки.

За пятьдесят франков в месяц.

«Что из того, – говорил он про себя, повторяя бестолковые, избитые фразы, – что из того, что я так низко стою, если главное осталось при мне! Выигрывая время, я выигрываю надежду. Нищета меня не сломит. Я одержу над ней верх.

Я добьюсь успеха – вопреки всему!»

Июнь.

Хорист и кандидат на Римскую премию! Ползая по земле, человек стремится к звездам.

Он ни перед чем не отступит, ничто его не смутит, ничто не устрашит. Бубня на сцене пошлые куплеты, Гектор готовится показать, на что он способен. Но разве достаточно одного только мужества? Разумеется, нет! И его исключают из числа претендентов на премию при первой же пробе, даже не допустив до участия в конкурсе. Какой провал!

Узнав о поражении, он пожал плечами и решительно пробормотал: «Мы еще посмотрим!»

V

Доктор Берлиоз прослышал о странных выходках сына. Неизвестно, был он больше удивлен или удручен. Думается, что он был раздражен, но в озлобление вкрадывалось и некоторое восхищение столь великолепной самоуверенностью. Как бы то ни было, но его жестокая решимость становится еще тверже – и вот взбалмошный сын бесповоротно лишен средств к существованию. Была ли тому причиной безрассудная попытка, столь плачевно провалившаяся? А может быть, долг Огюстену де Пону? Однако что толку говорить о причине. Нас интересует только результат.

Добрый учитель Лесюэр шлет отцу Гектора письмо за письмом. «В его будущем, – пишет он, – не может быть сомнений. Музыка переполняет его». Все тщетно.

VI

Настает, время каникул, и Гектор по настойчивому требованию отца едет в Кот-Сент-Андре.

Какой же его ожидал прием? Сдержанный? Нет, ледяной. Госпожа Берлиоз запретила проявление каких бы то ни было нежностей. Ее наказ – не замечать Гектора, вести себя и делать все так, словно его нет. Однако доктор, страдая за сына, которого он намерен исправить, наставить на истинный путь, но не истязать, с чувством душевной боли спрашивает себя: «Имеем ли мы право распоряжаться им как вещью? Могу ли я отлучить его от музыки, если в ней счастье всей его жизни? Возможно ли, чтобы великий, мудрый Лесюэр, честь и гордость французского музыкального искусства, писал мне в таких прочувствованных выражениях, если бы он искренне не верил в призвание и конечное торжество Гектора?» Наконец, как-то вечером, после обеда у семейного очага, доктор тайком увлек сына в полумрак пустой гостиной и сказал ему приглушенным голосом:

– Сдержи восторг! Я разрешаю тебе продолжать занятия музыкой… но лишь на некоторое время. И если новые испытания обернутся не в твою пользу, ты признаешь, что я сделал все разумное. Тогда, я надеюсь, ты решишься избрать иной путь. Тебе известно, что я думаю о захудалых поэтах. Заурядные артисты ничуть не лучше. Для меня было бы тяжким ударом видеть тебя в толпе этих никчемных людей. Я восстанавливаю тебе пенсию, но сохраняй пока печальный вид, чтобы никто не заподозрил о моем новом решении… Так надо!

При этих словах Гектор бросился на шею своему доброму батюшке и в порыве восторга чуть было не задушил его.

Гектору, однако, не удалось скрыть чувства облегчения и покоя. Госпожа Берлиоз, не спускавшая с него глаз, угадывает причину вернувшейся веселости сына.

«Отец, – думает она, – должно быть, снова капитулировал». Драма разыгралась в тот самый день, когда Гектор должен был отправиться в Париж.

В тот день мать, желавшая сделать сына набожным[15] (тем более что Гектор долгое время чтил исповедь, мессу и причастие), предала его анафеме. Ее религиозные чувства были весьма пылки, и для нее «актеры, актрисы, певцы, музыканты, поэты, композиторы были отвратительными существами, отлученными от церкви, и, как таковые, обречены на муки ада».

Происшедшая сцена была весьма патетична. Вначале трагическая актриса сдерживалась; торжественно обращаясь на

«вы», она молила: «Заклинаю вас, Гектор, не упорствовать в вашем безумии. Смотрите, я опускаюсь перед вами на колени… я… ваша мать».

Затем, взорвавшись, она вскричала, подчеркнуто обращаясь на «ты»: «Так ты отказываешь мне, несчастный?! Ты в состоянии, не дрогнув, смотреть на мать, павшую к твоим ногам? Ну что же, уезжай! Черни свое имя, влачи его по парижским притонам, пусть твой отец и твоя мать умрут от позора и горя…»

И наконец, она разразилась, будто в античной трагедии: «Ты больше мне не сын, Гектор. Уходи, я проклинаю тебя!»

Но Гектор не размяк. «Я буду композитором вопреки всему!» – решает он, хотя и опускает голову, чтобы скрыть свой вызывающий вид[16].

1827

I

Гектор зачислен в Королевскую школу музыки (Консерваторию) в класс Лесюэра. Но, продолжая занятия музыкой, он посещает и нарождающиеся общества романтиков. Он гневно осуждает увлечение Россини, музыку которого считает слишком кокетливой, с колокольчиками, кружевами и пышной оборкой, слащавой и далекой от величия бури.

Он посещает также занятия Рейха по контрапункту и фуге.

Рейха, чех по происхождению, в ком сочетались глубокие знания с добросовестностью, был опытным учителем; он гордился тем, что в юности, живя в Бонне, знал великого Бетховена. Он преподавал фугу и контрапункт «с удивительной ясностью и точностью»[17].

Берлиоз же никогда еще не занимался синтаксисом музыки. И теперь должен был изучить его и набить руку под руководством учителя музыкального письма, «настоящего математика». «Каким же образом, – спрашивал себя Гектор, – этот холодный математик может выразить все, что есть в самом необузданном, самом причудливом воображении, если он воспринимает божественный огонь вдохновения только в форме сонат, вариаций и фуг?»

Ну, а ему, Гектору, независимому, мечтательному, влюбленному в величавые химеры, принесет ли ему зримую пользу обучение у столь пунктуального человека? Или он сохранит свою дикую природу, враждебную писаным законам и строгим предписаниям? Что ж, посмотрим.

II

Так или иначе, но нужно было учиться. Учиться, хотя желудок и был пуст. Героическая эпоха тяжкой нужды.

В «Мемуарах» – в точном и подробном рассказе о себе – он повествует о строгой экономии, царившей в его ведомстве съестных припасов, где главенствовала копченая селедка.

В обшарпанной комнате на грязной улице Лагарп делил с ним хлеб и кров его земляк из Кот-Сент-Андре – Антуан Шарбоннель. То было удачей, так как студент-фармаколог нежно любил перепелов – этих очаровательных, томно кричащих пернатых. Правда, он любил любовью заинтересованного кулинара, мечтая съесть их, сидя на диване.

Манками, искусно изготовленными им самим, он отлично умел приманивать птиц, а затем ловить их силками, также сделанными собственноручно. Он охотился на равнине Монруж, разумеется преступая закон. Поскольку для охоты требовалось благоприятное сочетание времени и обстоятельств, их повседневный рацион лишь изредка включал это яство, добытое жестокой ценой.

Однажды Шарбоннель обнаружил по доходно-расходной книге, что расходы на еду поднялись до шестидесяти восьми сантимов (сорок три – хлеб и двадцать пять – топленое свиное сало). Шестьдесят восемь сантимов! Подумать, какое мотовство! И на следующий день после этого кутежа Шарбоннель, разыгрывая шутливую сцену, воззвал к доброму чувству справедливости и потребовал прибегнуть к беспристрастному сантиметру, чтобы точнее разделить непременного ветерана их трапез – копченую селедку, подчас высохшую настолько, что исчезал знакомый аромат.

– Сантиметр! – воскликнул музыкант. – Господин аптекарь, как видно, мнит себя миллионером.

И действительно, в хозяйстве двух друзей подобных предметов не имелось.

Последние дни месяца были трагичными; Режим: еда раз в день. Да и что за еда! 29 сентября студенты смогли купить лишь несколько гроздьев винограда.

Но наступает первое число следующего месяца, и Гектор, получив свой заработок хориста – пятьдесят франков, покупает для себя одного на восемь су хлеба.

О жизнь богемы[18] – певца веселого и мужественного полунищенского существования.

Время от времени Шарбоннель с ученым видом авторитетно заявлял:

– От голода никогда не умирают.

– Так отчего тогда, – с усмешкой спрашивал Гектор, – люди спокон веку упорствуют в стремлении принимать пищу?

– Это необходимо, разумеется… Но я хотел высказать мысль, что человеческие существа слишком много едят.

– Даже если это всего пол копченой селедки? Тогда Антуан поучительно продолжил:

– Человек должен есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.

– Каково, а? Теперь господин аптекарь бьет новизной. Ибо мне кажется, Антуан, что я никогда раньше не слышал этого афоризма.

– Но, Гектор, слон поддерживает свою необычную силу лишь травами… и живет, как тебе известно, сто пятьдесят лет!

– Хватит, хватит, Антуан, помилуй! Здоровье через пустой желудок… Старая песня! Да здравствуют скоромные дни!

Иногда наступали проблески.

Так, в один прекрасный день Гектор стал учителем двух учеников. Игра на флейте, сольфеджио, гитара. Достаточно ли он знал, чтобы учить других?

Но не все ли равно?!

Двое учеников! Бог мой, вот удача! Двадцать су за урок. Да ведь это целое состояние!

Меню Гектора теперь улучшается, иногда даже масло изгоняет сало. И все же шербет остается строго запрещенной роскошью.

III

Май.

Шарбоннель покидает своего земляка, чтобы жить самостоятельно.

IV

Июнь.

Вот снова настала ожидавшаяся с лихорадочным трепетом пора большого конкурса, пора борьбы за Римскую премию. Гектор выставляет свою кандидатуру. Поражение, как мы видим, ничуть не выбило его из колеи. Работая с упорством, чтобы на сей раз достичь заветной вершины, он продолжает сочинять оперу «Тайные судьи» на либретто своего верного друга Эмбера Феррана[20] и пишет героическую сцену с хорами (также на слова Феррана) на тему из греческой революции.

Убежденный, что произведение встретит всеобщее одобрение, он решил дать его на просмотр какой-нибудь музыкальной знаменитости. После Лесюэра можно было считаться с мнением лишь верховного жреца, похвала которого означала бы посвящение в ранг великих. Но на чей суд отдать исписанные нотами листы? Среди всех архитекторов звуков ни один не казался ему достаточно авторитетным. При каждом имени, приходившем на ум, он вскрикивал: «Не годится! Нужен более знаменитый, нужен кто-то получше!» В конце концов его выбор пал на композитора, которого крылья славы вознесли в заоблачную высь – на Родольфа Крейцера, тогда главного музыкального директора Оперы. Ректор, бесспорно, лелеял надежду, что, подкупленный и покоренный молодым талантом, он включит его произведение в программу одного из духовных концертов, организуемых им в конце страстной недели. Он уже видел на лице маэстро приятное изумление и слышал возгласы восторга.

И вот, заручившись теплой рекомендацией виконта де Ларошфуко, он явился к Крейцеру.

«К тому же, – рассказывал он, – Лесюэр горячо поддержал меня перед своим собратом. Одним словом, были основания надеяться. Но долго питать иллюзии мне не пришлось. Крейцер, этот великий артист, автор «Смерти Авеля» – прекрасного произведения, по поводу которого я, охваченный энтузиазмом, сочинил ему несколькими месяцами ранее подлинный дифирамб, – тот Крейцер, что казался мне добрым и радушным, как мой учитель, – потому что я им восхищался, принял меня самым пренебрежительным и самым невежливым образом. Он едва ответил на мой поклон и, не глядя на меня, бросил через плечо такие слова: «Мой дорогой друг (он не был со мной знаком), мы не можем исполнять в духовных концертах новые сочинения. У нас нет времени их разучиватъ. И Лесюэру это хорошо известно». Я ушел с тяжелым сердцем. В следующее воскресенье между Лесюэром и Крейцером произошло объяснение в Королевской капелле, где последний был простым скрипачом. В конце концов, выведенный моим учителем из терпения, он ответил, не скрывая досады: «Да на кой черт? Что с нами будет, если мы станем так помогать молодым людям?..» По крайней мере ему нельзя было отказать в искренности».

Снова неудача!

– Подумаешь! – говорит Гектор, пожимая плечами.

Посетуем на сухость некоторых талантов. Нам было бы приятнее всегда видеть гения в сияющем ореоле сердечности.

Судьба не поскупилась, расточая Крейцеру свои щедроты[21]. И

высшие почести и головокружительные триумфы – все познал Крейцер. По виртуозности его ставили наравне с великим Байо, чей волшебный смычок умел заворожить публику. Он сопровождал Бернадота, которого фантазия «Маленького Капрала», прежде чем усадить на шведский трон, сделала французским послом в Австрии.

В Вене он сблизился с Бетховеном, отгранившим для него чудесный алмаз – «Крейцерову сонату», которая обессмертила его имя, создав ему ореол гораздо более яркий, чем сам его талант. Но надменный скрипач-композитор никогда и не подумал выразить хотя бы малейшую признательность этому титану музыки. Как и Керубини, которому, впрочем, Бетховен написал самое хвалебное, самое пылкое, самое трогательное письмо:

«Я ценю ваши произведения превыше всех прочих театральных произведений. Я прихожу в восторг всякий раз, когда слышу ваше новое произведение, и мой интерес к ним выше, чем к моим собственным; короче говоря, я вас уважаю и люблю».

Керубини, в ту пору директор Консерватории, был законодателем французской музыки.

Разве могли эти двое, эти могущественные вельможи, окруженные почетом и славой, снизойти до обездоленного старца, страдающего, презираемого, погрязшего в нищете?

Разумеется, нет!

Для счастливых эгоистов несчастье другого, когда о нем говорят, – всего лишь досадная назойливость. Обидно, что эти ревностные жрецы музыкального искусства не ведают, а то и презирают высшее искусство забывать о своем высоком положении, искусство приходить на помощь в стихийном порыве, не унижая другого, искусство черпать собственное счастье в счастье другого.

Гении, вознесенные на пьедестал, снизойдите к вашим братьям – гениям, обойденным судьбой!

V

Иные, единожды потерпев неудачу, отказываются от своих намерений. Другие восстают против капитуляции; лучше оценив препятствие после столкновения с ним, всеми силами, всем отчаянным напряжением воли они стараются его преодолеть. Гектор среди последних. Поражение в предыдущем конкурсе на Римскую премию не поколебало твердости его духа. Одушевленный уверенностью в своем триумфе, он упорно желал вновь помериться с конкурентами силами в суровых испытаниях славного состязания.

Была и одна трудность. Чтобы сосредоточиться, а главное – воспрепятствовать всякому вмешательству извне, полагалось прожить целых десять дней в полном заточении. И государство требовало денежного взноса, компенсирующего затраты.

– Я твердо решил участвовать, маэстро, – дерзнул обратиться к своему учителю Гектор. – Но, увы… Неужто моему порыву суждено разбиться о какие-то деньги?

Лесюэр, предчувствуя длинную, уже много раз слышанную торжественную тираду о порабощении разума мерзким, презренным золотом, решительно оборвал его:

– Остановись, мой юный друг! Это я беру на себя.

И добрый учитель заплатил.

VI

После отборочных испытаний Гектор допущен к участию в конкурсе. Слабый луч надежды. Для еще большего разочарования? Как знать… Однако продолжим наш рассказ…

На конкурсе было предложено сочинить кантату на сюжет «После смерти Орфея, растерзанного вакханками – жрицами Бахуса».

Вакханки с головами, увенчанными плющом, с тирсами в руках удалились. Ветер, выводя скорбную песнь, временами нежно касается звучных струн полуразбитой арфы Орфея, и от этой ласки арфа изливает печаль, она плачет о своем хозяине – величайшем музыканте вселенной, пред которым смиренно склоняли головы самые свирепые звери. Теперь в мире разливается необычайное безмолвие. Лишь вдалеке, в горах, пастух…

Но была ли эта тема по-настоящему близка бурному темпераменту Гектора? Унылые руины, разбитая лира, жалобный стон ветра, покой и тишина, вернувшиеся после великого злодеяния… Вдали исполненный тоски, чистый и скорбный, поднимается напев пастуха. Темпераментный Гектор, влюбленный в горделивые вершины и трубные звуки, одержимый апокалипсическими идеями, не мог произвести на свет манерное произведение, как он говорил, «из сплошных вздохов и розовой воды». Для него сюжет был слишком идиллическим. Бесспорно, он блеснул бы в первой части, – «Терзание Орфея вакханками».

Он чувствовал себя в чужой стихии. В Гекторе воистину жил мятежный дух. Он затаенно всматривался в романтические образы, скрытые в самых глубинах его существа. А потом сочинял музыку. Но не следовал канонам. Разве ужиться грезам со школой и твердыми правилами? «Нет, нет», – повторял он про себя,

создавая в уме вереницы звуков, всегда оканчивающиеся апофеозом. Он любил возвышенное и презирал слащавость! Россини[22] заклеймен, Бетховен и Глюк подняты в недосягаемую высь.

Впрочем, разве мог он соблюдать правила? Разумеется, нет – он их не знал. Свои ощущения, свои мечты и безумные фантазии – вот что он воплощал в музыке.

Таким образом, и материал и манеру сочинять – все черпал он в себе самом.

Июль.

Увы! Музыкант, которому было поручено играть на фортепьяно сочинения конкурентов, признал себя неспособным сыграть финал произведения нашего героя – вакханалию, исполненную неистового пыла. И тогда Керубини, Паэр, Буальдье и Катель – прославленные имена, вошедшие в историю, – объявили произведение неисполнимым. Впрочем, Лесюэр тоже входил в жюри. Боролся ли он за Гектора, счел ли его произведение недостаточно сильным – неизвестно. Были присуждены одна первая и две вторые премии. Имя ученика Берлиоза не было даже названо.

Удручен, опозорен ли Берлиоз, провалившись на конкурсе? Ничуть! Предположить так – значило бы плохо его знать. Гектор лишь разыгрывает оскорбленное достоинство и выпячивает грудь, он решительно стоит на своем и провозглашает невежество своих экзаменаторов, совершенно неспособных его понять, исключая, разумеется, беспристрастного Лесюэра, «утонувшего», как он уточнял, среди «ископаемых».

«О древние, холодные классики, – бросает он им. – В ваших глазах мое стремление к новому – преступление». «Старые черепахи! – кричит он в адрес цепляющихся за традиции членов Института, которые преградили ему путь. – Окостенелые умы!.. Если вы не идете за мной, тем хуже… для вас! Я буду идти вперед и без вас… вопреки всему!»

Очень неосмотрительно, Гектор, так говорить и задираться. Случись, что ты все же был бы представлен к страстно желанной Римской премии, не пришлось ли бы тебе испытать тогда всю злобу этих уязвленных знаменитостей?

Но Гектору чужды сдержанность и осторожность. Не придется ли ему в этом раскаяться?

VII

Сентябрь.

Появляется женщина, которой суждено потрясти до основания всю жизнь Гектора. Кто она? Откуда? Ирландка с шапкой золотых волос, северянка с глазами цвета неба – то была выдающаяся драматическая актриса Гэрриет Смитсон. Она переехала Ла-Манш, чтобы воспламенить Париж – точку пересечения ее пути с путем нашего мушкетера, приехавшего сюда из дальней провинции Дофине.

Она не знала ни слова по-французски. А Гектор ничего не понимал по-английски. Казалось, что могло произойти?

В самом начале она ничего о нем не слышала, а он сходил с ума от любви к. ней, потом она смеялась над его влюбленными вздохами, и наконец… Однако расскажем эту удивительную историю по порядку.

Было 6 сентября того достопамятного 1827 года, который изобиловал различными событиями в жизни Гектора.

Труппа английских актеров давала в «Одеоне» первый спектакль. И она, именно она, своей игрой должна была донести до парижской публики произведения Шекспира – гениального драматурга и поэта Англии и самого удивительного художника человеческих страстей.

Спустя пять дней, одиннадцатого, было назначено второе представление. На афише – «Гамлет». Бессмертные «звезды» собрались в театре: молодые люди с вдохновенными лицами, отмеченными печатью гения, – романтики, пробуждающие неведомые доныне краски, ритмы, чувства, крушители деспотичного и обветшалого классицизма. Все в поисках возвышенного и патетического. С длинными локонами, галстуками дерзких, вызывающих расцветок; то была «Молодая Франция» – идейные враги «старикашек».

В зале находились Альфред де Виньи (тридцати лет) – певец нравственного благородства и смирения; Эжен Делакруа (двадцати восьми лет) – выдающийся колорист и смелый новатор; Виктор Гюго (двадцати пяти лет), чье чудесное слово вскоре должно было зазвучать, изумляя мир; Александр Дюма (двадцати четырех лет), подобный извилистому бурному потоку, который, пробиваясь сквозь горы, затопляет луга; Жюль Жанен (двадцати трех лет) – искрящийся остроумием критик, предсказывавший славу и выносивший суровые приговоры; Сент-Бев (также двадцати трех лет) – человек изысканного вкуса, постигший все тонкости анализа. Здесь присутствовал и юный Жерар де Нерваль (двадцати лет), чья милая непосредственность скрашивала странности его характера; в тот день он наверняка отказал себе в еде, чтобы заплатить за откидное место в партере, потому что он

был беден, очень беден.

Одним словом, тут присутствовала вся длинноволосая братия «Молодой Франции», одетая в ярко-красные жилеты.

Был здесь, наконец, и мальчик Теофиль Готье (шестнадцати лет), который позднее заставил заговорить о себе.

Тема – «Гамлет».

Непрерывно льющаяся кровь и смерти – одна за другой, героизм Гамлета, добавляющий, к патетике ореол благородства; безумие, которое блуждает по всей пьесе, сея то сомнения, то ужас.

И поразительным контрастом – подобный рафаэлевским мадоннам, ангельский лик Офелии, которую ждет трагическая гибель. Такая дерзновенность сюжета, такая свобода в искусстве, далекая от проторенных троп, должна была вдохновить Виктора Гюго на создание драмы «Эрнани», поставленной три года спустя, где свирепствовало «то мировое зло, которое мастерски отобразили Гете в «Фаусте» и Байрон в «Манфреде». Может быть, именно в «Гамлете» и «Манфреде» находил бессмертный французский поэт Виктор Гюго прообразы своих романтических героев?

Ну, а актеры?

Кембл, самый знаменитый и самый сильный трагик во всей Англии, играл роль Гамлета, отрешенного от жизни. Свою роль он исполнял с такой жизненной правдой, что сам Гамлет не смог бы ни говорить, ни чувствовать с большей убедительностью.

Роль Офелии чудесно играла божественная Смитсон, чьи глаза отражали чистоту, мечтательность и нежную страсть.

Какое возбуждение среди романтиков! Они славят возрождение лиризма, задушенного после Малерба классической дисциплиной, и взывают к торжеству крылатого вдохновения над холодным разумом – ограниченным и скудным.

Гектор был без ума от гения Шекспира, а еще более от непорочной Офелии – создания из иного мира, со столь чистой душой и столь легким телом. Чем объяснить подобный пожар души? Он был профан в английском языке, но, может быть, у него был с собой точный перевод?

Так или иначе, но Гамлет сыграл в его судьбе важную роль.

«Шекспир, – писал он, – неожиданно обрушился на меня и потряс. Он молнией разверз для меня с величественным грохотом небо искусства, осветив его самые дальние бездны.

Я познал подлинное величие, подлинную красоту, подлинную драматическую правду. Я увидел… я понял… я ощутил, что жив, что должен подняться и действовать».

VIII

Пятнадцатого Гэрриет Смитсон выступила вновь в «Ромео и Джульетте» – столь же гениальном произведении, где трогательная нежность резко сменяется кровопролитиями.

В склепе, где вечным сном спят гордые Капулетти, на неостывший труп Ромео падает холодеющая Джульетта, воздушная и уже призрачная, чтобы вместе со своим любимым вознестись на небо, готовое их принять.

«Завидная участь так умереть!» – повторяет про себя Гектор.

Гэрриет Смитсон имела наибольший успех в драме «Джен Шор»; после агонии, повергшей всю публику в состояние леденящего ужаса, она сумела умереть с величием угасающего светила. Она появляется вновь в «Виргиниусе» Ноулса.

Всякий раз, увидев ее на подмостках, Гектор впадал в транс и в исступление. И тогда начинались безумные блуждания. Пропадал сон, вместо него он внезапно погружался в забытье: раз ночью на снопах в поле около Виль-Жюиф, как-то на лугу в окрестностях Со, еще раз за столиком кафе «Кардинал» на углу Итальянского бульвара и улицы Ришелье. Там он оставался пять часов, к великому ужасу официантов, которые не осмеливались к нему приблизиться. «Они боялись найти меня мертвым», – подумал он, придя в себя.

Случилось даже, что он забылся на берегу Сены в Нейи, при скорбных завываниях пронзительного ветра. И когда очнулся, выкрикнул в волнении: «Она будет моей женой!»

Право же, Дон-Кихот!

Любит он Гэрриет или Офелию, созданную по образу его романтической мечты, или, быть может, он просто ищет любви?

Гэрриет и вправду его потрясла, он грезит ею.

Ирландия, где родилась его Дульцинея, пленила и увлекла его настолько, что он вскоре переложил на музыку «Ирландские мелодии» Томаса Мура. Для него существуют только Ирландия и самое небесное создание из этой дальней страны!

Да здравствуют Ирландия и Офелия!

IX

Вскоре Гектор перестал довольствоваться одним только постоянным посещением представлений, где появлялась его «звезда» – роковая Гэрриет. Сердце его готово было остановиться.

Теперь он, одинокий, терзаемый тоской, бродил у театрального подъезда. И когда она показывалась, прислонялся к стене, чтобы удержаться на ногах. А она? Она проходила мимо, даже не взглянув на него, «рассеянная и безучастная к любовному шепоту, идущему за ней следом».

Однажды, мечтая о ней, он решает: «Пусть я буду голодать, если плата за жилье окажется слишком высокой, но я перееду поближе к гостинице, где она живет. Я выберу комнату, откуда смогу наблюдать за ней. Из окна я буду следить за ее жизнью, а если занавеси будут слишком плотными, я представлю себе ее».

Так он поступил, поселившись в доме 96 на улице Ришелье[23].

«Слегка свесившись из своего окна, он видел наискось меблированную гостиницу, где жила Офелия. Такая стратегия, впрочем, давала ему немного, хотя он и проводил в этом положении по нескольку часов утром и вечером. Каким ребячеством была эта роль глупого вздыхателя!»[24] «Что мне остается, – спрашивал себя Гектор, – умереть жалкой смертью, оставив ее в неведении о моем существовании, или совершить какой-нибудь подвиг, который сделает меня известным, изумит ее и заставит восхищаться?»

И тогда, как весь Париж млел в неистовом восторге от Офелии, Гэрриет ничего не слышала о Гекторе. Она и не подозревала о его существовании.

Но как добиться музыкального триумфа и произвести впечатление на любимую женщину?

X

Гектор работал со страстным увлечением, утоляя музыкой великую жажду любви. Музыка… Он стремится подчинить ее своей воле, чтобы покорить Гэрриет Смитсон, о которой мечтает. Он делает наброски «Тайных судей» и пишет увертюру «Веверлей». Но ничего еще не закончено. Поэтому он решил вернуть к жизни свою «Мессу» 1823 гада.

И вот в день святой Цецилии, 22 ноября 1827 года, он добился ее исполнения в церкви Сент-Эсташ, предварительно протрубив сбор своей партии.

Так он именовал шумливых приверженцев, друзей-клакеров в Одеоне, театре Буфф, Консерватории, Жимназ.

«Я дирижировал оркестром, – писал он своему неизменному почитателю Феррану, – но, представив себе зрелище Страшного суда (Et interum venturus est), воссозданное пением в унисон шестью первыми басами, грозный clangor tubarum, крики ужаса толпы, изображаемой хором, и все остальное, исполненное именно так, как я задумал, я ощутил конвульсивную дрожь, которую едва сдерживал до окончания фрагмента…»

Гектор высоко чтит гений Берлиоза. Он взволнован, он ликует. Может, и впрямь верное средство внушить восхищение другим – уверовать самому, что ты его достоин, и настойчиво утверждать это?

Но кто был восхищен?

Гэрриет ничего не видела и не слышала! Она не пришла в храм.

«Тысяча чертей!» – вырвалось у Гектора, который любил это выражение.

1828

I

У вулканического Гектора все должно быть доведено до накала. Обожая превосходную степень, он пренебрегает слишком заурядными, на его взгляд, глаголами «пленять, очаровывать, восхищать» и даже «восторгать». Он говорит – «потрясать».

Так вот, он повсюду трубит о том, что потрясен величайшим Бетховеном[25].

Воздадим ему должное – он умел выбрать того, кто его потрясал.

Весной дирижер Габенек, незадолго перед тем основавший Общество концертов консерватории, решился познакомить публику с симфониями некоего, дотоле неизвестного или почти неизвестного, Бетховена, умершего в прошлом году в Вене. Действительно, как не содрогнуться при мысли, что героический гений музыки, нищий, глухой гигант, великий, но непонятый, который, пока существует мир, будет доставлять людям высшее блаженство, что этот знаменитый композитор, ныне всемирно признанный бог музыки, во Франции мог еще оставаться неизвестным? Как может молния, падающая с небес на землю, оставаться невидимой для смертных? Безвестный и поруганный теми, кого вознесла судьба. Вот что пишет по этому поводу Ги де Пурталес:

«Знаменитости вели себя либо откровенно враждебно, либо насмешливо. Керубини утверждал, что от этой музыки он начинает чихать. Паэр, знавший Бетховена в Вене, рассказывал о нем забавные анекдоты, чтобы успокоить этих господ в отношении чудаковатого соперника. Скрипач Крейцер и не думал скрывать своего презрения к новой немецкой школе. Буальдье всегда был сторонником музыки, которая «услаждает «тух». Что до Лесюэра, то он осмотрительно воздерживался от посещения концертов, дабы не иметь повода судить об этом революционере».

Зато Гектор уже умел классифицировать ценности. Может быть, и вправду, чтобы открыть гения, требовалось самому быть одаренным гениальностью, готовой вот-вот раскрыться? Близкое родство душ, общие волнения, схожие взгляды. Но, высказывая это вслух, он растревоживал «бонз» из Института и Консерватории или, как он еще говорил, «взъерошивал старые парики».

– Не пригодится ли тебе если не благосклонность признанных богов, то по крайней мере их нейтралитет? – предостерегали, бывало, Гектора его длинноволосые единомышленники.

– Что за важность! – отрезал он тогда. – Я должен взывать к правде, которая, полагаю, на моей стороне. Бетховен высоко поднялся над современниками. Рядом с ним самые великие мне кажутся карликами.

– Остерегайся, Гектор, всех этих Керубини, которые могут тебя подслушать. Они, не задумываясь, покарают тебя за преступное оскорбление правоверности.

– Тысяча чертей! – восклицал Гектор. – Я все равно буду стоять на своем – вопреки всему!

И ничто не могло потушить пожар его чувств.

«– Маэстро, – дерзнул он однажды заявить Лесюэру, – можно ли с таким совершенным умом, как ваш, выносить суждение, не прослушав, не проверив, не изучив? Лишь раздадутся первые ноты, рожденные в мозгу титана, вы будете ослеплены, восхищены. Приходите же послушать Бетховена».

Нежелание. Настойчивость. И в конце концов Гектор утащил своего учителя в театр. Он усадил его в глубину ложи, а сам отправился на балкон, чтобы в одиночестве вкусить невыразимое наслаждение, которое он испытывал, слушая «Симфонию до минор». И когда божественная музыка умолкла, он поспешно спустился и встретил Лесюэра: тот был очень красен и расхаживал большими шагами по фойе.

– Ну как, маэстро?

– Уф! Я ухожу, мне не хватает воздуха! Это неслыханно! Это

чудесно! Это меня так взволновало, растревожило, потрясло, что когда, выходя из ложи, я захотел надеть шляпу, мне подумалось, что я не смогу найти своей головы.

То была искренняя реакция. Гектор торжествовал. Впрочем, на другой день старый композитор высказался помягче.

– Но все равно, – сказал он, – не следует сочинять слишком много такой музыки.

На что его ученик ответил:

– Не тревожьтесь, маэстро, такой музыки много и не сочинят»[27].

Чтобы судить о том возбуждении, какое сжигало Гектора после первого прослушивания симфонии Бетховена, достаточно прочитать в «Мемуарах» о наполнивших его чувствах, тщательно им анализируемых. Он пишет:

«Мне казалось, что жизненные силы раздвоились… Наступило странное возбуждение: неистовый стук крови в жилах, слезы… судорожное сжатие мышц, дрожание всех членов, полное онемение ног и рук, частичный паралич нервов, зрения, слуха… я ничего не видел, едва слышал… головокружение… полуобморочное состояние…»

Другой гений, который был десятью годами моложе Гектора, испытал сходное потрясение, подобный же восторг. В своих «Воспоминаниях» Рихард Вагнер рассказывает:

«Я не знаю, каковы были взгляды родителей на мою будущую карьеру. Но мне четко помнится, что, прослушав как-то вечером симфонию Бетховена, я испытал ночью приступ нервного возбуждения, от которого заболел, а оправившись, сделался музыкантом».

II

Но вот в Париже заговорили о романтическом Гекторе. «Его деятельность, бунтарские выходки на вечерах в Опере, молодость, рыжая взлохмаченная шевелюра, его «Месса», в которой громко прозвучал конец света, его отчаянная любовь к знаменитой и модной трагедийной актрисе, его безумные блуждания, его исчезновения – все это питало толки»[28].

Рассказывали, что однажды его товарищи из «Молодой Франции», взволнованные слишком долгим отсутствием Гектора (хотя его отлучки не были редкостью и завершались весьма театральными появлениями), решили после долгих бесплодных розысков отправиться в морг, дрожа от мысли найти там его труп. Мрачные, ужасные и бесплодные розыски…

В тот раз он объявился как герой после победы.

– Тысяча чертей! – бросил он им. – Вы не думаете, надеюсь, что я способен поддаться курносой, тогда как я собираюсь жениться на кроткой и нежной Офелии.

Друзья принялись поддразнивать своего вдохновенного, размечтавшегося главаря:

– Твоя Офелия? Вот бы она посмеялась, если б только услышала!

– Но она не удостоила тебя даже взглядом!

– Она и не ведает о твоей страсти, намерениях и самом твоем существовании.

– Ты и вправду не сомневаешься в успехе?!

И тогда Гектор после эффектной паузы полушутя-полунаставительно произнес:

– Ни в чем не сомневаться – в этом и есть секрет всякой удачи!

III

«Ни в чем не сомневаться!» – святой принцип для Гектора, который вновь вознамерился доказать, что никогда не изменяет этому принципу. И вот он требует для себя, себя одного (видал ли кто подобную дерзость?), зал Консерватории. Керубини, получив такое прошение, воскликнул, пожав плечами:

– Ха! В двадцать четыре года… никому не известный… Да он сумасшедший!

Тоном, каким говорят навязчивому человеку «подите вы к черту», он ответил: «Адресуйтесь к государственному секретарю изящных искусств», – и подумал при этом; «До такой наглости он не дойдет никогда».

Но вы ошиблись, важный и почтенный Керубини!

Гектор немедля написал всемогущему вельможе, что Керубини «разрешил попросить зал». Где здесь ложь? Просто искусно преподнесенная правда. И – о чудо! – министр, убежденный в согласии директора Консерватории, удовлетворяет просьбу. Дело, однако, чуть не расстроилось из-за того, что Гектор настаивает теперь на определенной дате. По поводу даты– следует письмо министра Керубини. И тут Керубини, выказав гнев оскорбленного бога, категорически заявил, что лично он не желает впутываться в столь безумную и опасную авантюру.

Ну, а Гектор? Может быть, он все же откажется от своего химерического предприятия? Не тут-то было! Ему нужен зал, нужен… вопреки всему!

И вот на что Гектор решается: еще удвоив дерзость, он направляет министру необычно смелую записку, стараясь в ней

задеть самолюбие всесильного сановника.

«Если мое письмо дойдет слишком поздно, – писал он, – и решение уже будет вами принято, то это будет означать, что ваши благие намерения в отношении меня были парализованы злой волей низшего чиновника».

Низший чиновник! И это о Керубини – директоре Консерватории, корифее музыки с мировой славой.

И что ж, удар попал в цель! Государственный, секретарь написал Керубини:

«Я не считаю возможным нарушить данное мной обещание».

Гектор торжествовал: «Ну, трепещите, старикашки!»

Но он не чувствует себя победителем, если поверженный враг не попран, и в анонсе, разосланном в парижские газеты, он ввернул словечко о том, что «молодой композитор одержал верх над всесильным властителем музыки». Получил, Керубини!

26 мая 1828 года в зале Консерватории, том священном зале, который могли занимать, и то ценой почти непреодолимых трудностей, лишь общепризнанные знаменитости, Гектор дал «большой концерт».

В программе только его собственные произведения: увертюра «Веверлей», «Пасторальная мелодия» из «Тайных судей», «Священный марш магов», «Resurrexit», увертюра к «Тайным судьям» и «Греческая революция».

Если верить Гектору, всегда безудержному в преувеличениях, успех был огромен: «Изумление в публике, восторг, среди артистов». Своему другу Феррану он писал: «Женщины, мужчины, хор – все аплодировали. Крики, топот».

Чтобы найти истину, восстановим обстановку.

Полупустой зал. Никакого стихийного восторга. Сомкнутый батальон вышколенных приверженцев Гектора усердно создает обстановку тепла и добрых чувств.

Но ради объективности признаем, что отзывы печати были благожелательными, даже хвалебными и более того – означающими признание. Нашелся критик, причем из самых крупных, заявивший, что этот «рано развившийся талант внушает живой интерес. Господин Берлиоз подает самые блестящие надежды». И критик добавляет, слушайте внимательно: «Он отмечен гениальностью…»

Вам не послышалось – гениальностью! Но кто же это изрек? Фетис – самый выдающийся музыкальный судья того времени!

Брошено великое – «гений»! Это волнующее слово, волшебный звук, уже произнесенный ранее Лесюэром – тонким знатоком музыки, – теперь твердо закреплено на бумаге пером Фетиса, чтобы оповестить и изумить мир.

Утверждение, видимо, было полностью оправдано.

Точное эхо жизни – яркой и страстной – звучало в произведениях молодого композитора, большого мастера музыкального колорита. И конечно, вдохновение, бушующее, как зачарованное море, убивало строгую теорию, почитаемую «старыми черепахами».

Не для того ли силился Гектор бежать от давящих, устарелых правил, чтобы выразить всего себя, без остатка, в музыке?

Гектор ликовал от этого «великого события». И все же одна тень омрачала его бурное ликование.

Он потратил столько душевного жара на организацию концерта – и все ради того, чтобы заявить о своем существовании, для того, чтобы бросить вызов. Храбрость мушкетера, шпаге которого не лежится в ножнах. Но не только: еще он надеялся увлечь и опьянить своей музыкой прелестную Офелию, которой Он вновь послал приглашение. Но Офелии и на этот раз не было в зале.

Что поделаешь, Гектор!

Ничтожный червь, влюбленный в звезду.

IV

Спешно созвав свой штаб и прочитав ему, четко чеканя слог, статью короля критики Фетиса, Гектор спросил себя: «Итак, я отмечен гением?» Нет, он даже не спросил, он это просто повторил.

Столь авторитетное мнение удесятерило его силы, воспламенило разум.

– А теперь, – прокричал он своим солдатам, застывшим в немом восхищении, – вы увидите, на что способен гений! Великий Керубини высохнет от укоров совести и лопнет от зависти.

Гектор, потрясенный Гете, необъятным Гете, чей «Фауст»[29] он прочитал не отрываясь, быть может, как раз тогда задумал сочинить и набросал в бурном темпе «Восемь сцен из «Фауста», составивших часть «Осуждения Фауста» – одного из его самых ярких шедевров. Но он недоволен. Не иметь всего, считает он, – значит не иметь ничего. Но что же такое все?

Ему мало, что его гений уже признан Лесюэром и Фетисом; кроме блестящего успеха, которого, по его мнению, он уже добился, ему нужна большая Римская премия. Она принесет ему славу, а значит, и Офелию. Гектор сгорает от любви к ней, как говорит он сам, искусно разделяя вздохи синкопами.

Какое постоянство!

В первый раз, когда он провалился на предварительном экзамене и жюри не сочло его достойным участвовать в конкурсе, Гектор воскликнул: «Тысяча чертей! Я добьюсь своего вопреки всему!»

Во второй раз, в 1827 году, он проходит предварительное испытание и, значит, допускается к конкурсу, но ему не удается добиться никакой награды.

«Тысяча чертей! – повторяет он. – Я добьюсь своего вопреки всему!»

Теперь мы подошли к третьей попытке. Будет ли она последней? Нет! Гектор в поражениях крепнет. Переведя дух, он заносчиво мерит препятствие взглядом, а затем со шпагой в руке упрямо стремится разрубить его, чтобы навсегда убрать со своего пути.

Его гордый призыв: «Смирение – вот подлинный враг».

И он смело вступает в трудное состязание. Разумеется, исполненный решимости, но с волнением в сердце.

«Какая наглость! – восклицает он. – Унизить меня до того, что вновь заставить состязаться! Старые подагрики, я напишу для вас маленький благонамеренный концертик, я не поскуплюсь на цветистость; и ежели мне будет присуждена премия, то клянусь, что, получив ее, немедля уничтожу написанное!»[30] Дела Гектора плачевны. И лишь он один закрывает глаза на действительное положение вещей.

Доктор Берлиоз вновь отказался ссудить деньги, требуемые государством, которое вовсе не намеревалось даром содержать претендентов на славу во время их заточения. И вновь добрый Лесюэр, твердо веривший в гений своего ученика, вносит нужную сумму. Но если Гектор и теперь не завоюет Большую премию, что с ним станет? Только Большая премия дает право на стипендию. Не придется ли Гектору, уже окруженному если не ореолом славы, то, во всяком случае, лестной известностью, снова добиваться места… хориста?

Остается лишь ждать. Посмотрим.

10 июля 1828 года Гектор входит в одиночную камеру.

Его страж, папаша Пенгар, трижды, словно в тюрьме, поворачивает в массивном замке увесистый ключ. Кажется, будто при характерных щелчках ключа – раз, два, три – он произносит: «Я запираю тебя наедине с собой. Ничто здесь не будет отвлекать тебя. Сосредоточься, дабы черпать в глубинах лучшее, что в тебе есть».

Итак, он остается один в своей камере на целых десять дней! Какая суровая обстановка! Ни позолоты, ни драпировок, ни картин, ни безделушек. Грубый стол, легкий стул и еще одинокое

высокое фортепьяно. Узкая и низкая кровать – скорее скамья.

Здесь царит дух отречения, повелевавший презреть мирскую роскошь во имя одного лишь святого искусства. Ну, а режим? Посещение строго контролируют из опасения помощи советом. Белье тщательно просматривают, письма проверяют, посылки вскрывают.

Словом, Гектор становится настоящим узником.

На этот раз испытание состояло в переложении на музыку стихов заурядного поэта Вьеяра, снискавших высокое расположение жюри потому, что они содержали строки о мужестве и благородстве, о грезах и неге. Таким образом, в своей комнате кандидат должен был сначала воплотить воинственность, а затем нежность.

Обжигающее пламя и размеренные вздохи.

Кто героиня? Это Эрминия, чью испепеляющую страсть и жестокое отчаяние воспел Тассо в своем бессмертном шедевре «Освобожденный Иерусалим». Тема такова: «Эрминия надевает доспехи Клоринды и бежит в Иерусалим, чтобы оказать помощь прекрасному, страдающему от ран Танкреду, помощь, на какую способна ее верная и несчастная любовь».

Дни тянутся в одиночестве и напряженной работе ума, озаряемой яркими вспышками находок. Гектор ни разу не снизошел до того, чтобы задать себе вопрос: «Мне ли достанется победа? Что со мной станет, если я потерплю неудачу?»

Время заключения истекло. Гектор, подписав с гордой уверенностью свое сочинение, передал его папаше Пенгару, тот открыл дверь, и узник вдохнул воздух свободы.

Гектор, как всегда, доволен собой. И если он в чем-то сомневается, так, разумеется, не в своих достоинствах, а в способности экзаменаторов его понять и оценить по заслугам. Если он и ловил себя на том, что начинает рассуждать, то тут же обрывал себя: «Баста!» И неизменно заключал: «Даже слух «старой черепахи» усладят радостные мелодии моей кантаты».

И он опьянен близким торжеством, в котором не сомневается.

Собралось жюри. По уставу оно состояло из верховных жрецов – толкователей музыкальной библии и двух членов из других секций Института: художника или скульптора, архитектора или гравера – их мнение, быть может, более беспристрастно и не так грешит доктринерством.

Каким образом этот ареопаг получал представление о заслугах кандидатов? Очень просто. Очень, даже слишком грубо.

Дежурный пианист проигрывал на фортепьяно каждое из представленных сочинений, и на том все кончалось.

Бедный Гектор! Он-то как раз был мастером оркестровки. Во

что превращались его поразительные, вдохновенные ансамбли? Где величие апофеозов? Они исчезли, потонули. Здесь выигрывал тот стиль, что избегал вершин горделивых гор, предпочитая нежный шепот и неподвижную гладь озер.

Наконец объявляют лауреатов.

О Гектор! Кто из твоих друзей, уверенных в тебе, мог бы предугадать результат?

Большая Римская премия не досталась нашему герою. Он получил лишь вторую премию, без стипендии и всех льгот, да и та была на волоске, потому что музыканты признали его сочинение неудовлетворительным, и оно получило одобрение лишь после того, как жюри было пополнено двумя членами-немузыкантами. Сами же музыканты высказались против вызывающе дерзкого отношения Гектора к фуге и контрапункту – против чудесных вольностей, лишающих их учение права на существование. Для них гениальность без строгой теории – сущая ерунда, лучше строгая теория без гениальности!

А ведь Гектор так поносил «непристойное невежество двух чужаков».

Теперь ты видишь, Гектор: не такие уж чужаки, раз не такие невежды. К тому же и достаточно беспристрастные, чтобы забыть твои выпады и склонить чашу весов в твою пользу. Доказательства налицо.

V

Сейчас, когда Гектор был лишен пенсии, поражение, хотя и почетное, было особенно драматично.

И вправду, много раз ее, эту спасительную пенсию, отбирали у него и вновь возвращали в зависимости от того, росло или падало влияние властной госпожи Берлиоз на доброе отцовское сердце. Что делать? Как быть?

«Придумал!» – воскликнул он однажды и написал главному инспектору изящных искусств прошение о пособии. Отказ – на подобные расходы не существует статьи. Тогда он направляет письмо министру внутренних дел господину де Мартиньяку, и великий Лесюэр, видевший в своем ученике радетеля и мученика музыкального искусства, подкрепляет письмо собственным ходатайством.

«Прошение господина Берлиоза, – пишет он, – основано на самых блестящих надеждах, какие он подает своим талантом, отмеченным гениальностью, который надлежит развивать, чтобы он приобрел свою полную силу. Я ручаюсь, что этот молодой человек, весьма образованный и во всех других науках, станет

великим композитором, который прославит Францию…» И выдающийся музыкант, чтобы придать больше веса поручительству, ставит рядом с подписью все свои почетные титулы: член Института, музыкальный директор Королевской капеллы, кавалер королевских орденов Михаила и Почетного легиона, профессор композиции Королевской музыкальной школы.

Тщетный крик о помощи. Ни гроша!

И однако, нужно есть и иметь над головой крышу. Но без денег как это сделать? Мучительная, неразрешимая проблема. Но Гектор и не думает впадать в отчаяние.

VI

Вот уже лето обдает громадный пустынный город раскаленным дыханием. Море и горы опустошили Париж. Уроки, концерты, лекции – все прервано. Каждый обновляет душу и укрепляет тело, чтобы смело встретиться с зимой.

Кому и чему может посвятить бурный Гектор свое сердце и свой разум? Офелия, чей идеальный образ озарял одиночную камеру кандидата на Большую премию, его кроткая и нежная Офелия в турне, в Руане. Его поклонники разъехались по провинциям.

Измотанный душевно, Гектор внезапно решает отправиться в Кот, чтобы, отстаивая свое призвание, убедить родителей, что он достигнет головокружительных высот и ничто не остановит его чудесного подъема.

VII

30 августа.

Он едет в родные края, возбужденный и уверенный в своих силах, – ведь он все же получил вторую премию!

И вправду, вторая премия сотворила чудо. Доктор Берлиоз, жаждавший поверить в Гектора, вновь пересмотрел свое решение. «Эта награда, – сказал он себе, – принесла нам официальное подтверждение его дарования. А раз так, то я больше не могу считать его мечты эфемерными. Я должен поддержать сына: по возвращении в Париж его пенсия будет восстановлена». Что до желчной матери, то честь, оказанная ее взрослому блудному сыну, льстила ей против воли. Свое упорство она считала проявлением собственного достоинства. В ее глазах музыканты по-прежнему оставались падшими существами, но для городка,

для общественного мнения его премия – «то, что надо», как она говорила, маскируя таким образом свое удовлетворение. Как бы то ни было, но она приняла блудного сына с благосклонностью, чуть ли не с любовью, но и не более. Решительный сдвиг, поскольку до того она только и делала, что поносила «осквернителя отцовского имени».

Нанси, Адель и Проспер встретили брата радостно, с нежностью и гордостью – ведь он возвратился из далекого, великого Парижа, увенчанный лаврами. «Почти что Большая Римская премия», – повторяли они. Это почти что «поделив первое и второе места». Весь Кот испытывал безграничную гордость. Жители городка уже видели своего земляка – первого в истории края! – в зеленой одежде, с ярко-красной лентой на груди. Они видели его и в белом мраморе на пьедестале в центре крохотного городского парка.

Теперь в кругу большой семьи, где мир был восстановлен, непрерывно устраивались всякие праздники и балы.

Гектор, успокоенный до наступления очередной бури, предается приятной лености[31], с удовольствием воскрешая в памяти события, предметы и людей – свидетелей его детства: церковь, первое причастие, духовную школу… близкий Мейлан и Эстеллу Дюбеф, впервые взволновавшую его беспокойное сердце. Впервые! И он думает о страсти, которая живет в нем теперь.

Офелия… Он вновь видит, как она, призрачная, опускается на труп Ромео, пережить которого не желает. Ибо по-настоящему любит лишь та, что готова умереть ради своего любимого.

«Где она сейчас, Офелия? – спрашивает он себя. – Поймет ли она? Согласится ли? Впрочем, все равно. Я сломлю ее сопротивление. Она должна стать моей женой!»

В эти минуты раздумий его романтизм пробуждается, и он вновь видит все гениальные произведения, в которых являлась ему Офелия, и он пишет своему другу Феррану: «Приезжайте скорее, прошу вас… Мы будем вместе читать «Гамлета» и «Фауста». О Шекспир и Гете – немые наперсники моих страданий, толкователи моей жизни».

VIII

Октябрь.

Деревья, такие ветвистые, теперь без листьев – голые скелеты. Непередаваемой грустью веет в природе. Романтическая пора, столь дорогая сердцам поэтов.

После месяца, проведенного в Дофине, Гектор возвратился в Париж.

Первое, что он сделал, – поспешил, в гостиницу, где живет его кумир. И по дороге его посетило чудесное видение.

Он видит великий день соединения их душ. Он входит, появляется Офелия. Он склоняет перед ней голову, отягченную любовью и гениальностью, и припадает к ее ногам.

«Поднимитесь, Гектор, – говорит она, – вы победили!»

Ее призрачное лицо обращено к нему, глаза тронуты поволокой, губы приоткрыты для поцелуя.

А Гектор? Он в нерешительности у порога высшего блаженства. Он боится потерять сознание. На какой-то миг все перед ним плывет, а потом он «срывает с ее губ цветок поцелуя». Их первый поцелуй, вкус которого не умрет никогда. А теперь – в церковь.

Сколь неземной кажется ему Офелия под белой фатой!

И, наконец, летят в таинственные дали голоса колоколов, и они оба, Гектор и Офелия, отправляются в волшебную сказку, которая будет длиться вечно…

Но вот Гектор с трепещущим сердцем входит в гостиницу. Он спрашивает:

– Мисс Гэрриет Смитсон у себя?

– Ее нет… Она уехала.

– Уехала, жестокая! Но куда?

– В Бордо, в турне.

IX

Как нескончаемо ожидание для сердца, терзаемого любовью!

Ища забвенья, Гектор лихорадочно творит музыку.

Его голову распирают «колоссальные» ритмы. Он набрасывается на работу. Музыка переполняет его. Ему заказывают ораторию. Он мгновенно сочиняет ее. Его просят вести музыкальную хронику в «Корреспондан». Он тотчас соглашается и впрягается в работу. Он соглашается также участвовать в отборе и замещении артистов в театре Жимназ лирик. Но более всего он занят своими «Восемью сценами», набросанными в Коте, которые он пишет с чудесным вдохновением. Он хочет, чтобы эти «Восемь сцен» взволновали мир и более того – покорили Офелию, которая, как он надеялся, от восхищения соскользнет к любви. В стремлении справиться с аккордами он то и дело поднимается со стула и мерит шагами крошечную комнатку, напоминая дикого зверя в клетке. Но почему он неустанно вновь и вновь прижимается лицом к стеклу окна? Чтобы узнать, не вернулась ли, наконец, Офелия. Двадцать, сто раз повторяет он свой маневр. Любовь заряжает его

музыкальным вдохновением.

1829

I

Январь.

Забудешь ты ее когда-нибудь, Гектор?

Как-то вечером, когда ты был на своем посту, в комнате, где жила твоя Дульцинея, зажегся свет. И тогда у тебя вырвался крик, долгий крик, пронзивший ночь. Отказываясь верить в чудо, ты громко спросил (кого, безумный? Ты был один):

«Она ли это, неужели она, а не мираж? Она, наконец, вернулась?!»

И ты сходил с ума от радости и не сводил глаз с ее окна до того мгновения, когда огонь угас и тень Офелии исчезла.

Во время бессонной ночи сколько раз ты звал ее! А потом, когда настало утро, ты решил:

«Я слишком долго ждал, слишком долго колебался, но теперь хочу действовать. Действовать немедленно!»

Вышколенные друзья Гектора становятся его послами. Но вполне ли правдивы их отчеты или они приукрашивают истину, щадя его?

Были они хотя бы приняты недоступным кумиром? Будем судить об этом с осторожностью.

Ну, а Гектор, чье воображение блуждает в стране химер, смеет предсказывать:

– Скоро она будет очарована и уступит.

– Очарована кем и чем, Гектор? – отважился спросить строй его верных солдат, желавших ему верить.

– «Восемью сценами из «Фауста». Вот увидите, они приведут ее в неистовый восторг, восторг от высшей красоты, какую они таят, и от волшебника, их сотворившего.

II

Февраль

Наш влюбленный романтик закончил свои «Восемь сцен» и на последней странице внизу смело поставил свою твердую подпись, в которой чувствовалась вся его непоколебимая вера в высокое назначение этого сочинения.

Надежда на близкую славу придает ему смелость, и вот он

пишет Офелии. Но Офелия не отвечает. На очень короткое время Гектора охватывают смущение и грусть, затем возрождается вера.

«Она будет моей женой… вопреки всему», – вновь невозмутимо повторяет он.

Вдруг – тревога: по Парижу прошел слух, что Офелия скоро уедет в Амстердам.

Что же вы медлите, издатель Шлезингер? Спешите, спешите! «Восемь сцен» должны появиться немедленно!

Шли дни… «Тысяча чертей!» – то и дело выкрикивал наш Гектор, сгорая от нетерпения. Но увы! 3 марта, до того, как «Восемь сцен» были отпечатаны, Офелия уехала из Парижа.

Накануне ее отъезда эмиссары Гектора будто бы «потребовали» от знаменитой артистки прямо ответить на единственный вопрос:

– Желаете ли вы выйти замуж за господина Гектора Берлиоза?

«Если им верить, то королева театра, носившая драгоценности, преподнесенные ей от имени Карла X и его двора, ответила полусогласием на матримониальные предложения молодого Гектора. «Если он действительно меня любит, – якобы сказала трагедийная актриса, – то несколько месяцев ожидания не смогут поколебать его постоянства». Почему бы Гэрриет не сказать этого? Она ничего не обещала. Ей предстояло уехать, и женщина, появляющаяся перед публикой и зависящая от прессы, вполне могла с осторожностью обойтись с пылким молодым человеком, о причудах которого ей рассказывали, еще и приукрашивая их»[32].

Однако многие биографы утверждают, что ее ответ был куда менее обнадеживающим. «Нет ничего более невозможного!» – твердо сказала она, подчеркнув сказанное улыбкой.

Но узнал ли об этом Гектор? Друзья тщательно просеивали правду, прежде чем ее высказать. Они приукрашивали ее, подправляли, досочиняли.

III

Вот, наконец, и завершены «Восемь сцен» – искры, брызнувшие в часы благодати, когда человек больше и лучше, чем он есть, когда возвеличивается его «я». Гектор ликует. Гектор намерен покорить мир, как скромно заявляет он своим поклонникам. И прежде всего он хочет потрясти Офелию.

«Моя любовь к Офелии, – писал он Эмберу Феррану, – удесятерила мои силы… Я собираюсь послать ей в Амстердам мою партитуру. Я подпишу ее лишь инициалами… Мое сердце

переполнено»[33].

Затем он написал великому Гете.

> «Монсеньер!
>
> Вот уже несколько лет как «Фауст» стал моей настольной книгой. Я постепенно постигал его (хотя и мог видеть его лишь сквозь туман перевода), пока, наконец, это удивительное произведение не околдовало меня; музыкальные образы теснились в моей голове вокруг ваших поэтических образов, и, хотя я твердо решил не пытаться соединять свои слабые аккорды с возвышенными звучаниями вашего творения, понемногу соблазн стал настолько большим, а очарование настолько властным, что музыка нескольких сцен получилась почти помимо моей воли.
>
> Я только что опубликовал партитуру, и как ни недостойна она быть вам представленной, я все же позволю себе вольность преподнести ее вам сегодня. Я уверен, что вы получили уже очень большое число всякого рода сочинений, вдохновленных чудесной поэмой, и потому имею основание опасаться, что, посылая ее после стольких других, буду лишь докучать вам. Но если в той атмосфере славы, где вы живете, вас не сможет тронуть голос безвестной похвалы, то, я надеюсь по крайней мере, что вы простите молодого композитора с сердцем и воображением, разожженным вашим гением, за то, что он не смог сдержать крика восторга.
>
> Имею честь, монсеньер, выразить глубочайшее почтение и быть вашим покорнейшим и преданнейшим слугой.
>
> Гектор Берлиоз
>
> Улица Ришелье, 98, Париж».

Гете почти подошел к концу своего долгого и трудного жизненного пути. Облаченный в величие, благородство и славу, маяк, чьи лучи ослепляли вселенную, он удостаивал людей своим существованием, подобно некоему богу, спустившемуся на землю.

Со всех концов света ежедневно стекались в Веймар, на его Олимп, музыкальные, поэтические, научные и философские труды. Жадный до знаний, он хотел все изучить, все постигнуть, обо всем иметь суждение. Можно было подумать, что он собирался унести с собой в могилу все человеческие проблемы.

Но не успевал охватить все. Разнообразные произведения, шедшие к нему лавиной, он отсылал на отзывы друзьям, с

которыми состоял в переписке (каждому в зависимости от его знаний), и музыкальные – своему другу Цельтеру, в Берлин.

Но Гете, этот совершенный гений, умел читать музыкальный почерк. Черные значки приобретали в его глазах особый смысл и отдавались звучаниями. Листки с нотами Берлиоза, казалось, гипнотизировали его.

«Берлиоз? Берлиоз? – повторял он, пытаясь припомнить это имя. – Нет, я не знаю его», – заключил он. Но он написал Цельтеру 28 апреля:

«Утоли любопытство, внушаемое мне видом этих нотных символов, они кажутся мне совершенно необычными, столь странными, столь чудесными».

И Цельтер с чувством самого тяжеловесного юмора, в котором грубость состязалась с несправедливостью, непристойно осмеял далекого Гектора. Этот наглец (дозволено ли сойти столь резкому слову с моего пера?) осмелился, да и то лишь 5 июля, так ответить прославленному поэту и мыслителю:

«Некоторые люди при всех случаях отмечают свое присутствие и сопричастность чему-либо лишь громким харканьем, чиханием, откашливанием и рвотой. Похоже, что г. Гектор Берлиоз относится к подобным людям. Запах серы вокруг Мефисто привлекает его, заставляет чихать и пыхтеть таким образом, что все инструменты в оркестре мечутся и безумствуют. Однако «Фаусту» это безразлично. Впрочем, благодарю за присылку. Наверняка рано или поздно представится случай использовать на каком-нибудь уроке это жалкое напоминание о выкидыше».

Это жестоко и вовсе неостроумно.

Это непристойно и несправедливо.

И однако, Цельтер, руководитель музыкальной жизни Берлина, не какой-то невежда, а «Восемь сцен» – подлинный шедевр. Искусство многогранно, его форм множество. Отменить, заклеймить очень часто означает предать. Композитор из далекой Франции имел намерение лишь принести дань поклонения Гете. Ведь ему всего двадцать шесть лет, и он мужественно и неутомимо борется с злопыхателями и скептиками, чтобы мог расцвести его врожденный гений. Но неужели, играя его бесподобное произведение, Цельтер не ощутил дуновения величия, освобожденного от догм, которые сковывают и порабощают? Неужели полет гения не увлек его на своих благородных крыльях?

«Харканье», «рвота», «выкидыш» – слова, оскорбляющие критику искусства. Грубость унижает лишь того, от кого она исходит.

Гете, разумеется, не ответил Гектору, но не стоит беспокоиться: ни молчание веймарского Юпитера, ни своеобразный анализ музыкального советника Цельтера ничуть не обескуражили нашего бесстрашного Гектора. Последний не удостоил Цельтера своим возмущением. Он, должно быть, насмешливо воскликнул:

«Бедняжка Цельтер! Там, где нужен Бетховен, служит некий Цельтер – несмышленый музыкант. Гете ничего не смог узнать, Цельтер ничего не смог понять. Тем хуже, тем хуже… разумеется, для них».

IV

В буйстве природы приходит июль. Кровь стучит в жилах Гектора. Приближается день, когда будет оспариваться Большая Римская премия. Неужели Гектор снова вступит в борьбу?

Вовсе не дерзать подняться на высокую гору или остановиться на полпути – и то и другое означает поражение. Победа в одном: завоевать вершину.

Гектор и не думал вступать в сделку со своим честолюбием. Ему нужна Большая премия – нужна несмотря ни на что, нужна вопреки всему. Поэтому, упрятав в тайники души гнев и отвращение, он решает в четвертый раз бросить вызов строгому жюри, которое, он знает, враждебно к нему самому, не приемлет его манеры сочинять.

Папаша Пенгар, всегда такой сдержанный и молчаливый, открывая дверь одиночной камеры, ставшей теперь для Гектора знакомой, не удержался и заметил:

– Видимо, для вас она и предназначена, господин Берлиоз.

– Предназначена?! – вздрогнул Гектор. – Что за слово?

Тот уклончиво ответил:

– При вашем мужестве никогда не оставляют надежды… Ваша настойчивость должна быть вознаграждена.

– О да, папаша Пенгар, на этом свете или на том. Честное слово, – добавил он затем более весело, – будь я властен в выборе, я предпочел бы на этом. Так-то оно вернее.

При этих словах папаша Пенгар перекрестился, и дверь камеры захлопнулась.

Тема новой кантаты: смерть Клеопатры. Волнующая тема для трепетного романтика.

Легендарная царица, чья история более удивительна, чем самая феерическая сказка, правительница страны роскоши и чудес – Египта. Цезарь, пришедший поработить Клеопатру, опьянен ее красотой и вздыхает у ее ног на берегу Нила – великой

зачарованной реки…

Непобедимый завоеватель возвращается в Рим ради триумфа. Он велит приехать туда и правительнице, зажегшей в нем пожар сладострастья, и в храме богини красоты Венеры ставят статую этой пленительной женщины. Неслыханная честь…

Цезарь, всемогущий властелин Рима, владычествующего над миром, вероломно убит в здании сената.

Теперь правление Востоком возложено на Антония. И Клеопатра тотчас решает обольстить его.

Галера с серебряными веслами рассекает изумруд волн; ласковый ветер раздувает золотые и пурпурные паруса. И на борту царица, томно возлежащая среди редкостных тканей, дорогих ковров и тысячи амфор, усыпанных драгоценными камнями. Кто же она, прекрасная, словно Венера, – создание неба или земли? Женщины – в одеждах нимф, юноши – амуров. Какая красочная картина! И Антоний не может устоять против чар, подобных самому сладостному, самому пьянящему вину.

Пиршество следует за пиршеством. Дождь из роз с блестящими лепестками и пьянящим ароматом. Клеопатра, жадная до неизведанных наслаждений, велит растворить в своем бокале с уксусом самые прекрасные жемчужины Востока и одним глотком выпивает этот напиток.

Опьяненный Антоний, весь во власти чар, забыл в конце концов, что он всего лишь простой посланец своей далекой родины. А Рим никогда не терпел слабостей, он ковал собственную мощь в непримиримости.

Рим посылает Октавиана, чтобы дать бой бунтовщику, победить и привезти его. Начинается война, и вскоре Антоний терпит жестокое поражение в битве при Акциуме.

Что же делает тогда Клеопатра? Трепеща при мысли о возвращении в Рим – на сей раз не для того, чтобы служить моделью статуи в храме Венеры, а чтобы прошествовать, как того требовал обычай, прикованной к триумфальной колеснице Октавиана, – она велит принести себе аспида, скрытого в корзине с винными ягодами. Укус змеи – и Клеопатра, сполна уплатив за роскошь и оргии, умирает в неописуемых страданиях. Ее погребли с Антонием, ее страстным возлюбленным, который еще раньше покончил с собой при ложной вести, что Клеопатра мертва.

Темой кантаты была смерть царицы. Наш Гектор ликовал. Патетический сюжет – здесь не может быть ласкающих слух, напомаженных слащавостей, – сюжет который он предпочитал какому-нибудь ритурнелю, походящему для дудочки.

Закончив сочинение, Гектор спокойно ожидает.

Объявляют результаты, и, увы, – катастрофа!

Гектор не продвинулся вперед, он не получил ничего. Он даже не был назван. Однако уточним: жюри, сочтя все представленные сочинения недостойными, совсем не присудило премии. И Гектор вновь начал исторгать проклятия на головы своих экзаменаторов, пораженных глухотой и тупоумием.

«Ах, горе-судьи, окостенелые умы, старые подагрики!

Все это вновь выкрикивал в мелодраматической манере неисправимый хулитель.

V

Берлиоз-отец, с которым сын посоветовался просто от хитрости, разрешил ему эту четвертую попытку. «Гектор, – полагал он, – может лишь идти вперед. Теперь он вернется к нам увенчанный лаврами». И убежденный в этом, он – такой скромный – решился публично предсказать это великое событие.

Какое разочарование!..

Госпожа Берлиоз немедленно возобновила нападки сына, требуя, чтобы доктор снова лишил его поддержки

– Но Гектор был настолько деликатен, – возразил отец, – что обратился ко мне за советом, и я позволил ему еще раз попытать счастье.

– Пойми же, он советовался с тобой, только чтобы впутать тебя в возможный провал.

– Но не могу же я… – попытался возражать доктор, однако госпожа Берлиоз резко оборвала его и, обращаясь на «вы», как делала всегда в торжественные минуты, и угрожающе тыча в него указательным пальцем, раздельно произнесла:

– Доктор Берлиоз, вы будете подлинным виновником, если ваш сын станет разбойником, достойным на этом свете тюрьмы, а на том – ада!

И что же?

Несчастный отец страдает, он в растерянности. В его мыслях смятение.

В конце концов ему приходится капитулировать.

VI

На другой день после провала Гектор встретил на бульваре Буальдье, не испытывавшего ни малейших угрызений совести.

– Боже мой, дитя мое, что вы натворили? – воскликнул преуспевающий композитор, протянув руку провалившемуся

кандидату. – Премия была в ваших руках, а вы швырнули ее наземь[34].

– Но я сделал лучшее, на что способен, уверяю вас.

– В этом-то как раз мы и усмотрели вашу вину. Вовсе и не надо было делать лучшее по-вашему. Ваше лучшее – враг действительно хорошего. Ну как я мог одобрить подобное, когда я превыше всего люблю музыку, которая услаждает слух?

– Однако довольно трудно, сударь, творить музыку, услаждающую слух, если египетская царица, терзаемая угрызениями совести и ужаленная змеей, умирает в неописуемых страданиях души и тела.

– О, вы умеете защищаться, я не сомневаюсь, но все это ровно ничего не доказывает. Можно всегда оставаться изящным.

– Да, античные гладиаторы умели умирать с изяществом. Но Клеопатра не была столь искусной, в ее положении этого не требовалось. А кроме того, она умирала не перед публикой.

– Вы преувеличиваете, мы вовсе не требовали от вас заставить ее напевать контрданс. И потом, что за нужда применять в вашей мольбе к фараонам такие необычные гармонии? Я, правда, не силен в гармонии и, признаться, в ваших загробных аккордах ровно ничего не понял… Да и к чему в вашем аккомпанементе ритм, которого никогда и нигде не слыхали?

– Я не думаю, сударь, что в композиции надо избегать новых форм, коль имеешь счастье их найти и если они на месте.

– Но, мой дорогой, госпожа Дабади, которая пела вашу кантату, – прекрасная певица, и тем не менее, видно было, что ей приходится, дабы не ошибиться, вкладывать в исполнение весь свой талант и напрягать все внимание.

– Признаться, – ответил Берлиоз, – я не знал, что назначение музыки в том, чтобы ее исполняли без таланта и без внимания.

– Хватит, хватит! Я знаю: вас не переговоришь. Прощайте и воспользуйтесь этим уроком для будущего года. А пока что заходите ко мне, поговорим. И я сражусь с вами, но как французский рыцарь. Кстати, – спросил он, прощаясь с Гектором, – что вы теперь собираетесь делать? Так или иначе, а жить надо.

– Провалившийся кандидат, которого, стало быть, сочли неспособным, будет обучать других.

И действительно, ему пришлось немедленно начать давать уроки игры на гитаре молодым девицам из Ортопедического института Добре (он писал д'Обре, чтобы выглядеть более респектабельным).

Величие и ничтожество! Автор уже почти знаменитого шедевра – и «музыкальный наставник» в пансионе.

Ничто не могло выбить Гектора из колеи. Когда он впервые

оспаривал Римскую премию, разве не был он простым хористом, или, как говорили, «горлодером»?

«Чтобы добиться цели, – повторял он про себя, – главное – не сдаваться, держаться вопреки всему».

VII

После нового пребывания в Коте в сентябре и октябре он возвратился в Париж, исполненный твердой решимости взять реванш за свое четвертое поражение в тяжелом конкурсе на Большую Римскую премию, Он горит как в лихорадке.

«Мое сердце, – писал он Феррану, – очаг громадного пожара, девственный лес, воспламененный молнией». И чтобы затушить огонь, чтобы унять жажду славы и борьбы, он организует второй концерт, который принес ему полный успех. На этот раз обошлось без убытков, – напротив, он получил 150 франков дохода, а к тому же награду от правительства 100 франков. Пресса откликается положительно, более того – хвалебно.

«Фигаро» отозвалась так: «Поговорим о г. Берлиозе. Он хочет преуспеть и преуспеет. Отсрочки, отказы, несправедливость, препятствия всякого рода, повсюду разбросанные на пути молодых талантов, – ничто не может остановить г. Берлиоза. Он должен либо добиться своего, либо свернуть себе шею. Ну что ж, посмотрим».

«Корсар»[35] заявила: «Видимо, настало время, когда власти должны сделать что-нибудь для артиста, которого влечет далеко в сторону от проторенных дорог. В наш век новаторский талант – большая редкость. Некоторые полагают, что со временем сок молодого дерева станет менее горьким. Да, если оно сможет развиваться свободно, и нет, если его росту будут мешать».

1830

I

Но чего стоит победа, раз нет Офелии? К чему стараться тенору хорошо петь, когда театр уже пуст?

В самом деле, где же сейчас она, Офелия? В Лондоне.

Гектор посылает туда сочиненные для нее «Восемь ирландских мелодий» – музыкальные жемчужины, которые, как он надеется, должны ее растрогать, очаровать и в конце концов покорить.

Но Офелия, до сих пор не ответившая ни на одно его письмо,

молчит.

Впрочем, неизвестно, дошли ли когда-нибудь эти мелодии до их вдохновительницы.

Вопреки всему и вся его мысли прикованы к нежной Офелии подобно тому, как мысли верующего устремлены к алтарю.

Он неустанно говорит с ней, говорит в мыслях – мыслях-мечтах:

«О суровая! С дрожью я пишу, что люблю тебя!.. Но поймешь ли ты когда-нибудь поэзию моей любви к тебе?

Ради тебя я хочу стать колоссом музыки».

«Колосс» – обиходное, излюбленное слово Гектора.

Ради нее он жаждет излить в звучных ритмах свою измученную душу – необыкновенную душу, в которую он жадно вслушивается, чтобы ее понять и уловить. Он хочет, чтобы струящиеся звуки, подобно чистому зеркалу, отразили все стороны его души, которая мыслит, борется, страдает и стремится к победе.

Его любовь, томление, мечты прозвучат в музыке, в ней прогремит и буря – буря против «непогрешимых богов» музыкального искусства, против тирании писаных правил. Гектор Берлиоз, весь Гектор Берлиоз выразит себя в музыке. И, слушая это совершенное сочинение, публика узнает его самого, и тогда по залу пройдет трепет и наступит полное признание.

«И так как эта симфония будет чужда установленным канонам и будет подчинена единственно капризам моего буйного нрава, я назову ее «фантастической», – решает Гектор. Именно так он ее и окрестил.

II

16 апреля

«Фантастическая симфония», в которую Гектор внес ослепительное пламя своего необузданного гения, была задумана, начата и закончена за три месяца.

16 апреля (1830 года) он писал Эмберу Феррану: «Мой дорогой друг! После моего последнего письма я испытал ужасные невзгоды, мой корабль получил страшную пробоину, но теперь, наконец, поднят со дна. Я только что закончил произведение, которое меня полностью удовлетворяет. Вот его содержание, оно будет изложено в программах, раздаваемых в зале в день концерта.

> «Эпизод из жизни артиста (большая фантастическая симфония в пяти частях).

Первая часть двойная, состоит из короткого адажио, непосредственно за которым следует аллегро (смятение страстей, бесцельные мечтания, исступление со всеми оттенками нежности, ревности, ярости, страха и т. д. и т. п.).

Вторая часть: «Сцена в полях» (адажио, мысли любви и надежды, прерываемые мрачными предчувствиями).

Третья часть: «Бал» (блестящая и призывная музыка).

Четвертая часть: «Шествие на казнь» (суровая, скорбная музыка).

Пятая часть: «Сон в ночь шабаша».

…А теперь, мой друг, послушайте, как я соткал мой роман, или, скорее, сказку. Ее героя вам нетрудно узнать. Я повествую о том, как художник, наделенный живым воображением и пребывающий в том душевном состоянии, какое Шатобриан так искусно нарисовал в «Рене», впервые видит женщину, в ком воплощен его идеал красоты и обаяния, женщину, которую уже давно призывает его сердце. Он влюбляется в нее без памяти. По странности образ любимой всегда предстает перед ним в сопровождении музыкальной мысли, исполненной того изящества и благородства, какое он приписывает предмету своей страсти. Эта двойная навязчивая идея преследует его непрестанно – ив этом причина постоянного появления во всех частях симфонии основной мелодии из первого аллегро (Э1).

После тысячи треволнений в нем утверждается надежда – он верит, что любим. Оказавшись однажды в деревне, он слышит вдали диалог двух пастухов – пастушескую мелодию, и этот пасторальный дуэт погружает его в дивные мечты (Э2). Мелодия вновь появляется на мгновение, проходя сквозь мотивы адажио.

Он присутствует на балу, но веселье праздника не в силах его рассеять, навязчивая идея снова тревожит, и милая его душе мелодия сверкающего вальса заставляет сильно стучать сердце (Э3).

В приступе отчаяния он принимает опиум, но наркотик, вместо того чтобы убить, вызывает страшное видение: ему чудится, будто он убил свою возлюбленную, приговорен к смерти и присутствует на собственной казни. Шествие на казнь: нескончаемый кортеж палачей, солдат, черни. В конце «мелодия» возникает еще раз – последняя мысль о любви, обрываемая смертельным ударом (Э4).

Он видит себя в окружении отвратительной толпы колдунов и чертей, собравшихся отпраздновать ночь шабаща. Они взывают к кому-то. И наконец, возникает мелодия, которая была все время

изящной, но теперь превратилась в пошлый, отвратительный напев – то явился на шабаш предмет его любви, чтобы следовать в шествии на погребение своей жертвы. И она уже не более чем куртизанка, достойная участвовать в такой оргии. Начинается обряд. Звонят колокола. Вся нечисть преисподней падает ниц. Хор исполняет заупокойное песнопение (Dies irae), два других хора повторяют его, Пародируя на шутовской манер, и, наконец, шабаш кружится в вихре хоровода. В самый разгар в него вливается мелодия Dies irae, и видение заканчивается (Э 5).

Вот, мой дорогой, осуществленный план этой огромной симфонии. Я только что написал в ней последнюю ноту».

III

21 мая

«Фигаро» оповещала в начале номера, что исполнение сочинения, полная программа которого была тут же приведена, состоится 30 мая. В Коте переполох, и Берлиоз-отец решает:

– Нужно, однако, все увидеть и услышать самому. Я хочу во всем разобраться. И потому еду в Париж…

– Чтобы возвратиться оттуда жестоко разочарованным, – ворчит желчная госпожа Берлиоз.

– Пусть так! Зато совесть будет спокойна.

Однако когда вещи уже были уложены, доктор получил от Гектора письмо, где тот сообщал о необходимости отложить концерт; в тот же вечер должны были состояться два других концерта; один организуемый немецким театром, другой – Консерваторией, которая по просьбе герцогини де Берри устраивала прослушивание симфоний Бетховена для неаполитанского короля. Два грозных соперника… И благоразумие требовало отказаться. Разумеется, лишь на время.

Да, он создал шедевр.

Но все эти мерцающие звезды на небе – для кого они? Их зажгла восторженная любовь, внушенная Офелией.

Офелия… Джульетта… Вечное воплощение изящества и неги. Офелия… Джульетта… в силу своей чистой красоты и нереальности она чужая на земле.

Но возможно ли? В Гекторе после неистовой страсти, разрывавшей сердце, наступает полная перемена. Полная перемена? Именно так.

IV

Полная перемена. Он ловит себя на том, что удивлен своим чувством: королева отрешена от власти и повержена молнией на землю.

А как же безумные блуждания по полям, чтобы унять жар? А твое ожидание у окна? Неужели все это напрасно? Возможно. И, однако, ты жил в ту суровую зиму при светильнике, который то зажигался от твоей надежды, то гас от твоего отчаяния.

К чему снова спрашивать тебя об этом?

В самом деле, Гектор, может быть, ты больше был увлечен не возлюбленной, а самой любовью?

Но откуда взялась новая Дульцинея? Это весьма пикантная история.

Однажды Фердинанд Гиллер привел Гектора на улицу Арле, что в квартале Марэ, и представил его госпоже Добре как учителя игры на гитаре. Гектор, принятый в качестве преподавателя, постоянно встречал там бойкую, жизнерадостную Камиллу Мок, дававшую в том же пансионе уроки игры на фортепьяно.

Камилла сияла юностью и очарованием. Ее глаза и пылающие губы сулили райское блаженство.

«Когда она, эта капризная хохотушка, шла своей легкой походкой, в вызывающе грациозном покачивании ее бедер и стана было «нечто гипнотическое». Прелестная, насмешливая кокетка, она любила со своеобразным, чисто парижским изяществом играть сердцами мужчин и делала это с такой же легкостью, с какой ее красивые пальцы порхали по клавиатуре… В образе юной девы скрывался искушенный опытом Керубино; она была падка на приятные и разнообразные ощущения, она была виртуозна и в игре на фортепьяно и в любовных приключениях»[36].

Камилла внушила Фердинанду Гиллеру сильную страсть. Она была, говаривал ее обожатель, его «ангелом», «тем серафимом, что открывает ему врата рая».

Опрометчивый Фердинанд, почему же именно Гектора ты избрал своим поверенным, своим «любовным гонцом», по твоему образному выражению?

Гектор легко воспламеняется, Гектор «вулканичен».

Весенняя песня в двадцатилетнем сердце.

Твои нежные послания, что он передавал Камилле, должны были жечь ему руки, затем глаза и, наконец, сердце.

Однако послушаем Фердинанда, который рассказывает о своей неприятности так, словно она случилась с его коллегой.

Но не ищите коллегу, это он сам.

«Один молодой немецкий музыкант, – рассказывает он в «Kunstlerleben», – находил самый дружеский прием у

очаровательной француженки, его коллеги; они вместе, на глазах ее матушки, играли музыкальные пьесы, и это происходило столь часто и столь вдохновенно, что у них возникло желание встречаться без матушки и без фортепьяно. Ничего не могло быть проще. Молодая пианистка отличалась не только красотой и обаянием, она обладала еще и талантом– – была одной из самых популярных преподавательниц. Скорее сопровождаемая, чем охраняемая снисходительной дуэньей, она ездила в отдаленные кварталы столицы, давая уроки дамам-аристократкам или молодым девицам из пансионов. Пользуясь этим, влюбленные встречались как можно дальше от ее дома и не спешили возвращаться. Но вот я познакомил моего соотечественника с Берлиозом, обучавшим игре на гитаре в том же пансионе, где возлюбленная немецкого музыканта давала уроки на фортепьяно. И тот имел наивность избрать Берлиоза поверенным в своих любовных делах и домогаться его добрых услуг как «любовного гонца».

Действительно, Фердинанд, зачем понадобился «любовный гонец», раз вам так просто было встречаться с ней «без матушки и без фортепьяно»?

Не уподобились ли вы султанам Востока; снедаемые ревностью, они все же выставляли на солнце, чтобы полнее насладиться, свои самые ценные сокровища – прекрасных женщин и ослепительные драгоценные камни.

Так или иначе, но Гектор загорелся: сменяли друг друга искусно модулированные вздохи, торжественные клятвы в вечной любви и театральные позы, призывающие в свидетели небо.

– Моя Камилла! – взывал он. – Рядом с моей Камиллой, когда она ударяет пальцами по клавишам, меркнут самые удивительные виртуозы.

И верно, Камилла обнаруживала выдающийся талант пианистки, но через призму любви, которая приукрашает, облагораживает, возвеличивает, Гектору казалось, что она гениальна.

«О, если бы вы слышали, – повторял он, – как исполняет она Вебера и Бетховена, вы потеряли бы голову…»

С ним так и случилось, он действительно потерял голову. А потом немедля пожелал жениться на Камилле – жениться или умереть вместе с нею.

Однажды, когда она, недомогая, объявила (чтобы внести романтическую нотку), что, возможно, заболела чахоткой – модной болезнью, воспеваемой поэтами, – он предложил ей тотчас же вместе с ней принести себя на алтарь невиданных страданий.

– О, – умолял он, – сольемся в объятиях и оставим прозаическую землю, слишком тесную для тебя!

Но Камилла – порхающий мотылек – стремилась лишь испытать всю гамму чувств, ее вовсе не увлекала поэзия подобной смерти. Она страстно любила жизнь и те волнения, которые ждала от нее и находила приятными.

И она умолила его соблаговолить продолжить свое существование на этом свете.

Гектор должен был покориться, но не пожелал остаться побежденным.

– Камилла, – торжественно сказал он ей, – стоит тебе захотеть, прикажи – и я умру вместе с тобой.

Тогда Камилла свободно вздохнула. Она-то хорошо знала, что никогда не будет расположена отдать подобное приказание. Это уж точно!

А что, Гектор, если бы Камилла приказала, что бы ты тогда придумал, как бы отступил? Ведь ты и не думал расстаться с жизнью, не так ли? Умереть, не удовлетворив честолюбивых замыслов, умереть отвергнутому, с неутоленной жаждой славы в сердце?

Ты бы подождал….

Подождал? Но чего же?

Завершающей победы, к которой стремился, и нового конкурса на Большую Римскую премию, так как тебе еще раз предстояло участвовать в состязании, которое ты поносил, и вновь предстать перед членами жюри, которых ты неустанно задевал своей заносчивостью.

V

15 июля Гектор снова поднялся в ложу. Пятая попытка.

Папаша Пенгар, открывая ему дверь камеры, воздержался от замечаний, которые могли бы показаться обидными. Гектор же обрадовался такой сдержанности и оценил выражение неприступности на лице стража: итак, он избежал всякого обмена мыслями, всякого подбадривания, уязвляющего его гордость.

Новый сюжет – Сарданапал.

Невозможно было выбрать тему, более близкую буйным порывам Гектора, где вольное обращение с правилами композиции столь же хорошо терялось бы в созвучиях, исполненных пафоса и величия. Судите сами.

В золоте и фимиаме, окруженный женами – тепличными цветами, чьи чудесные тела прислужницы любви украшают лепестками роз, в сладострастии и неге проводит свои дни царь

Сарданапал.

Но вот вспыхивает восстание, поднятое Арбаком, вознамерившимся свергнуть владыку, и Белисом – великим жрецом Вавилона. И тогда – о чудо! – изнеженный Сарданапал преображается в воина. Он становится героем. Трижды выходит он за ворота Ниневии, чтобы сразиться с четырьмястами тысячами солдат, пришедших из Мидии, Персии и Вавилона. И трижды он разбивает их. Но, увы, капризное счастье отворачивается от него – и вот уже победа висит на волоске. Сарданапал знает, что поражение для него означает смерть и бесчестье. Он запирается в неприступных и грозных стенах своей гордой столицы. Проходит год, два… Осаждающие устали, ими овладели, наконец, сомнения в победе. И они готовы отказаться от осады, возможно, даже сдаться, но тут Тигр, выйдя из берегов, разрушил своими разбушевавшимися водами гигантские крепостные стены, которым не страшны были самонадеянные люди. Чувствуя неминуемую гибель, Сарданапал велит солдатам на главной площади, возле своего сказочного дворца, более прекрасного, чем райские чертоги, разложить огромный костер.

Вместе с Миррой[37], любимой фавориткой, всегда будившей в нем смелость, вместе со всеми женами, которые никогда никому не будут принадлежать и познали на этом свете лишь его ласки, вместе с евнухами, которые денно и нощно охраняли усладу его плоти, вместе со сказочными сокровищами и неповторимыми жемчужинами, в которых отражаются тайны и великолепие недоступных морей, он идет, идет вперед; и вот уже со всей свитой, отважно последовавшей его примеру, он ступает меж языков пламени, застилающего все небо. Крики боли, прощание жен с великим Сарданапалом и с жизнью – и все кончено, кончено навсегда.

И когда вторгшиеся враги проникли на дымящееся кладбище, всемогущий царь, так ценивший радости жизни, его жены, столь горячо любимые им, чьи глаза, исполненные любовного томления и волнующих обещаний, заставляли великого возлюбленного владыку дрожать от желания, чьи губы только вчера дарили сладостные поцелуи, чьи тела расставались с жизнью, еще храня аромат благовоний, – все это уже обратилось в жалкую груду бесформенного праха и пепла.

И кое-где продолжал потрескивать огонь…

Героизм. Сражения. Падающие воины. Зловещая осада, подстерегающая опасность. Бесповоротная решимость принять смерть. Костер и его ужасающее величие. Пламя… Крики…

Sic transit gloria mundi[38].

В Сарданапале все было по душе Гектору – врагу мещанской

слащавости. И потому он, узник, запертый в своей камере, ждал результатов с непоколебимой верой в свой гений, в свою звезду.

VI

Когда Гектор, закончив сочинение, вновь обрел, наконец, свободу, Париж переживал исторические дни. Три Прославленных дня – 27, 28, 29 июля 1830 года – подходили к концу: падение короля Карла X, восшествие на престол Луи-Филиппа. Пушки, однако, еще дымились, а крики толпы еще звучали в воздухе.

И Гектор – Дон-Кихот, зараженный театральным геройством, – желает сражаться во что бы то ни стало. Не поздно ли?

Это ему безразлично.

«Мне нужны пистолеты и шпага», – решает он.

В поисках шпаги и пистолетов он колесит по всему Парижу, опьяненный кровью, которую никогда в жизни не прольет. И, наконец, ему удается раздобыть три длинноствольных пистолета. Но чем теперь их зарядить?

– Сбегайте в городскую ратушу, – посоветовали ему национальные гвардейцы.

Вот он на месте. Увы, патронов здесь нет. И вновь безумные гонки по ночному городу.

Пустив в ход мольбы и угрозы, он раздобыл все же пули и порох.

Но теперь над притихшим городом вот-вот займется безмятежная заря.

И когда Гектор, подобно разбойнику из Калабрии, эффектно вооружен для битвы, битва уже закончена. Кипящий Гектор так и не успел выпустить из своих пистолетов ни одной пули.

Осечка, Гектор. Твой выстрел, выстрел бравого мушкетера, услышав о котором, как ты выразился, прекрасная Камилла должна была «задохнуться от восхищения», не прозвучал[39].

VII

Победа! Победа!

21 августа Гектор был объявлен лауреатом Большой Римской премии, несмотря на несогласие нескольких членов жюри и, в частности, Керубини, припомнившего этому необычному кандидату его прежние выходки.

Как видно, напрасно ополчается судьба против тех, кто закален в жестокой борьбе. Они-то не склонят головы никогда!

Побежденная судьба сама вынуждена в конце концов сложить

оружие.

Ты прав был, Гектор, когда упрямо твердил: «Я добьюсь Большой премии… вопреки всему!»

VIII

И оттого что Большая премия была некоторым залогом успеха и давала ежегодную стипендию и другие блага, госпожа Мок, ранее враждебная каким бы то ни было планам союза Гектора и Камиллы, теперь несколько смягчилась. Не то чтобы она сразу согласилась, нет, но она в чем-то поколебалась, и это уже было шагом вперед.

Владелица бельевой лавки, она вынуждена была незадолго до того уступить за бесценок свое пришедшее в упадок дело и после краха жила на средства дочери. Поэтому она хотела уберечь свою «курочку, несущую золотые яйца», от опрометчивого брака. Преувеличивая достоинства своей Камиллы («подлинный ангел и самый яркий талант в Европе», – говорила она с гордостью), госпожа Мок желала для нее и самой лучшей партии. Делать ставку на Гектора означало для нее сыграть втемную, быть может, обречь себя на голодное существование.

При всей своей гордости Гектор ясно понимал, что для завоевания доверия этой заинтересованной дамы необходимо действовать решительно, добиться шумного успеха и стать в ряд музыкальных знаменитостей, которым уже не угрожает нищета.

Однажды наш влюбленный Гектор следил восхищенным, умиленным взором, как по зачарованным клавишам летают как бы выточенные из слоновой кости пальцы Камиллы. Камилла исполняла концерт Штейбельта «Гроза», и внезапно в голове Гектора зародилась мысль переложить на музыку жизненные тревоги. Он быстро написал «Бурю».

IX

После многих хлопот Гектор добился разрешения исполнить свою «Бурю» в Опере. Это произошло 7 ноября.

Волшебник Гектор, не слишком ли опрометчиво произносил ты свои заклинания? За пределами театра тоже разразилась буря. Какая гроза! Зловеще громыхал гром, зигзаги тысячи молний непрерывно прорезали огромное черное небо, свистел дождь, выл ветер. Его враги словно вошли в сговор с самим небом, вступившим, неизвестно почему, в их злобную игру. Кто мог выйти в такую погоду из дому? Лишь несколько музыкальных

фанатиков, ищущих нового, не испугались грозной стихии. Поэтому зал оставался почти пустым.

Огромная Опера безлюдна – впечатляющая и грозная пустота. Гектор, взбешенный тем, что природа и та выступила против него, разражался бранью и проклятиями, не в силах отвести взгляда от растерянного лица своей любимой Камиллы и от сухощавой госпожи Мок – дуэньи, всегда глухой к причудам сердца, зато прозорливой, когда речь шла о материальных выгодах. Обеих женщин грызли самые жестокие сомнения.

Как же так? И это концерт, где Гектор должен был проявить весь свой гений? И это обещанный триумф, о котором он столько трубил?

Где же сплоченные массы восторженных берлиозцев? Где поклонение народа музыкальному избраннику?

Казалось, госпожа Мок и Камилла были ошеломлены крушением честолюбивого замысла – ослепить и возвыситься. Теперь композитор перестал для них существовать. Но неустрашимый Гектор заявил как ни в чем не бывало:

«В более благоприятную погоду я возьму реванш. Я покорю Камиллу и ее матушку… вопреки всему!»

Госпожа Мок после недолгого смягчения теперь вновь держится твердо.

Ее Камилла, ее ангел с чудесным талантом, должна стремиться к лучшей партии, к безмятежному счастью, богатству и славе. А к чему можно прийти с буйным, безденежным Гектором?

– Нет, нет, дочь моя, – твердит она, – ты стоишь большего и лучшего.

И в который раз произносит свое излюбленное, обывательское изречение:

– Тебе не следует пускаться в путь на судне, предоставленном волнам и ветру, на судне, которое, неизвестно, достигнет ли когда-нибудь гавани.

Камилла молчала, не желая оспаривать мнение, которое полностью разделяла: с горячей головой она искала наслаждений, с холодным разумом – законного союза.

X

Теперь Гектора одолевал страх при мысли об Италии. А ведь ему предстояло через несколько недель отправиться в Рим. Иначе его лишили бы стипендии, присоединяемой к Большой премии, – тысячи экю в течение пяти лет, а также оплаты жилья в Риме и различных пособий. Но, уехав, он оставил бы госпожу Мок и

Камиллу под тягостным впечатлением своего недавнего провала в Опере.

– Нельзя терять ни единой минуты, – заявил он своим собратьям-романтикам. – Тысяча чертей! Мир должен узнать меня.

И вот новые беспокойные гонки по всему Парижу, новые настойчивые хлопоты здесь и там.

И 5 декабря[40], в два часа, в Консерватории звучит «Фантастическая». Напомним, что идет 1830-й – исторический год, когда романтическое возбуждение достигло высшей точки. Члены «Молодой Франции» – талантливые, гениальные, среди них нет незаметных – с ожесточением наперебой штурмовали вершину, соседствующую с небесами.

«Кто же, кто из нас станет богом?» – спрашивали они себя.

И они решили по этому случаю атаковать «старикашек». Разве после «Эрнани» (25 февраля) они не восторжествовали уже над «окостенелыми умами»?

«В тот день здесь собрались молодые поэты, скульпторы, музыканты – все артисты, вся «Молодая Франция» с пышными волосами и победным видом. И среди них ученик художника, юноша удивительной красоты – с матовым лицом, одетый в жилет из пурпурного атласа (знаменитый жилет, о котором столько говорили), в бледно-зеленые панталоны, отороченные полоской черного бархата, во фрак с широкими бархатными лацканами и в свободную серую накидку на подкладке из зеленого атласа. То был Теофиль Готье, «прекрасный Тео…».

«Теофиль Готье сорок раз подряд присутствовал на спектакле-сражении «Эрнани»[41].

Что это было за событие – премьера «Фантастической»! Адольф Бошо мастерски воскрешает его на страницах своей книги.

«Там собралась «Молодая Франция» – щеголи с длинными волосами, с бородами, идущими узкой полоской вокруг лица, или с бакенбардами (как у Берлиоза), или же с усами и эспаньолками; академики же, как и подобает, были лысы и бриты.

«Молодая Франция» была одета в сюртуки из зеленого или пунцового сукна, с бархатными воротниками, зауженные в талии и со свободно развевающимися широкими басками. От черного галстука, пузырящегося, подобного сгустку мрака, отходили два острых кончика белоснежного воротничка. Натянутые штрипками панталоны были коричневого, серого или синего цвета. Другие из «Молодой Франции» носили фраки не черные, но пепельного, красновато-бурого цвета или цвета «пыли руин»… В ту пору было модно иметь в руке трость с набалдашником.

Каждый давал волю фантазии в создании арабесок из лент, сутажа и шнура. Некоторые щеголи, словно на портретах Веласкеса, набрасывали на плечи широкий плащ цвета крепостной стены, которому они недавно рукоплескали на спектакле «Эрнани, или Кастильская честь», другие, как у Рубенса, искусно загибали кверху широкие поля фетровой шляпы. Но больше всего их радовало (и какая это была радость!), если им удавалось принять жестокий, удрученный вид – дантевский или байронический. Если бы их щеки, на которых проступала ярким румянцем кровь их отцов – филистеров и буржуа, наконец, могли стать желтыми, как кордовский сафьян, а морщины отражали бы гибельные страсти!

На женщинах шляпы необъятных размеров. Нет больше капоров, как при благочестивой Реставрации. Большие, словно ореол, береты взметали вверх длинные эгретки, а ниспадающие по-кастильски перья ласкали пушистыми опахалами непокрытые затылки. У иных на верху шляпы был пристроен пышный, величественный султан и широкие ленты с длинной золотой бахромой спускались, ослепительно сверкая, на плечи.

Мода была тонка, изящна, «сильфидна», неуловима, но изобиловала пышными украшениями.

Куда ни глянь – рукава с легко ниспадающими кружевами, широкие воротники, лифы в складках из муслина… Иногда на испанский манер белоснежные жабо из лент. А юбки на женщинах-сильфидах, на этих ариэлях – как они волнуют! Плотно облегая талии, они четко обрисовывают изгиб бедра. Затем мягко, слишком округло ниспадают, стирая линию… Однако юбки достаточно коротки, и видно, как переступают маленькие ножки в открытых туфлях и ажурных чулках. Прелестные моды – изысканные и дразнящие, они подчеркивают женскую красоту… То была чарующая фантазия… И все эти разнообразные наряды плыли и колыхались – живая декорация, воздушная феерия красок и линий, волшебный мир яркого цветка.

Перед этой публикой «Фантастическая» и другие сочинения Берлиоза имели бешеный, ошеломляющий успех.

В ту пору «Молодая Франция» пользовалась для выражения восхищения такими эпитетами, как фосфоресцирующий, сверкающий, изумительный, сокрушающий, колоссальный, совершеннейший. Было еще и немало других, среди которых сам Берлиоз любил «вавилонский и потрясающий, увлекательный, неотразимый, чудовищный и шекспировский, ниневийский, фараонский, дьявольский и вулканический «.

Итак, успех был «дьявольский, бешеный, ошеломляющий, страшный».

До конца ли поняла публика все величие «Фантастической»? Во всяком случае, она увидела в ней смелый разрыв с исчерпавшей себя рутиной.

И потому она, во главе с романтическим кланом, приняла «Фантастическую» с энтузиазмом.

«Фигаро» писала: «Эта «Фантастическая симфония» – плод самого чудовищного воображения, какой только можно себе представить…[42] Неоднократные взрывы аплодисментов компенсировали г. Берлиозу те бесчисленные шипы, которыми рутина утыкала первые шаги его карьеры».

Знаменитый критик Фетис выразился так: «Этот молодой музыкант инстинктивно движим по новому пути… «Фантастическая симфония» – сочинение совершенно необычайное. Дух новых веяний проявляется в нем с наибольшей очевидностью, а две части («Бал» и «Шествие на казнь») говорят о самом богатом воображении. Наконец, в симфонии ощущается выраженная индивидуальность, стоящая вне обычных форм искусства…»

Скупой на похвалы Шуман, тоже композитор и музыкальный критик, заявил: «Невозможно абсолютно ничего добавить или зачеркнуть, не отняв у мысли ее остроту и энергию, не повредив ее силе»[43].

Лист, присутствовавший на первом исполнении, не мог скрыть своего восхищения. Силой он увел Гектора с собой обедать, чтобы провести несколько часов с этим околдовавшим его волшебником[44].

XI

Успех всегда приносит друзей.

После триумфа «Фантастической» госпоже Мок, как и Камилле, «операция Берлиоз» показалась более заманчивой. Всякие «в конце концов» и «почему бы и нет?»… ознаменовали начало стратегического отступления дуэньи, которая под конец заявила, что Гектор с его неиссякаемой волей бесспорно достигнет славы. Эта святая особа с важностью изрекла: «Слава – неистощимая жила для тех, кто умеет ее разрабатывать».

Миг сосредоточенного молчания, а затем мысли, высказанные вслух:

– Впрочем, помолвку расторгнуть легче, чем женитьбу.

– Ну разумеется, – пробормотала Камилла, чтобы успокоить свою матушку или убедить самое себя.

И с того дня, опережая события, госпожа Мок стала называть Гектора «мой дорогой зять», а Камилла, пораженная шабашем

«Фантастической» (Гектор скромно говорил: «задыхаясь от восхищения»), начала обращаться к нему «мой дорогой Люцифер», «мой прекрасный Сатана». Атмосфера непринужденности и умиления.

Мораль: «Фантастическая», вдохновленная одной только Офелией, послужила для завоевания Камиллы.

XII

Быстро летели пленительные часы. Миг отъезда влюбленного Гектора был все ближе и ближе.

Расстаться с Камиллой, расстаться до пасхи будущего года! Ведь Гектор должен был прожить в Риме по крайней мере один долгий год. Какая сердечная рана! Останутся ли кристальная душа и любящее сердце Камиллы (как считал ее романтичный жених) такими же благородными, такими же чистыми?

Впервые у Гектора возникают сомнения. Впрочем, он спокоен, он твердо уверен в себе и в ней.

После долгих хлопот, так и не добившись разрешения остаться в Париже, сохранив за собой стипендию, Гектор вынужден был покориться. Итак, он отправится в Италию.

Дни романтических вздыханий, наслаждение страданием, слезы близкой разлуки, и вот

29 декабря

взволнованный и сумрачный композитор покидает столицу.

– До свидания, до свидания, Париж, я вернусь, чтобы покорить тебя! – И, словно сердце, вырванное из груди, он протянул Камилле свою медаль, которая символизировала его волю к успеху и неуемное стремление взломать дверь, слишком долго не открывающуюся, он протянул ей свою золотую медаль, выданную Институтом.

Куда же держит он путь?

Сначала в Кот, чтобы отпраздновать свой успех под восторженные крики земляков.

Часть вторая
1831-1840

На свете есть лишь два средства
преуспеть – величие и сила.

Гектор Берлиоз, 1831.

1831

I

3 января

Гектор приезжает в Кот.

Грандиозная встреча. Весь городок ликует.

Званые обеды во многих домах. Речи:

«…Кот испытывает законную гордость, принимая на родной земле самого славного из всех своих сынов… Завтра вся Франция, а может быть, и весь мир…»

Какой-нибудь ветеран, не искушенный в красноречии, произносит корявые фразы и подчас в конце торжественного выступления смахивает слезу, навернувшуюся от трепета перед величием гостя.

Доктор Берлиоз горько упрекал себя за то, что мог усомниться хоть на миг в гениальности своего чада, а сам герой с благоговением прикладывался к золотому обручальному кольцу на своем пальце.

Снег, снег… Природа погружена в сон под своей королевской мантией. Воет леденящий ветер. Но сердце Гектора – огнедышащий вулкан.

Проклятая разлука!

«Пусть вся Европа, – писал он, – обессилеет от яростных воплей, пусть наступит конец мира, пусть сгорит Париж, лишь бы мне остаться в Париже и, держа ее в объятиях, вместе с ней извиваться в пламени!» Вот это страсть!

О ком же говорит он с таким жаром?

Разумеется, о Камилле. Кому?

Гиллеру, которого он заменил возле этой красотки. Великолепно!

Гиллер был не по годам мудр. Оказавшись отвергнутым, он отрекся от своих прав, убежденный, что сам ход событий

отомстит за него.

Он наблюдал за этой идиллией с таким милым интересом, что еще немного – и роли бы переменились: он вызвался бы стать «любовным гонцом». Он явно собирался нанести удар, и не без его влияния Камилла охладела к Гектору, а затем и изменила ему. В Гекторе же Гиллер возбудил тревогу, а вскоре яростный гнев – и комичный и опасный. Реванш был взят.

Вот два письма Гектора «своему парижскому оку» – Гиллеру, который с наслаждением выискивал факты и, смакуя, хладнокровно сообщал их другу.

> «Черт вас побери! Что вам за корысть говорить, будто мне нравится пребывать в отчаянии, хотя за него меня и не поблагодарит никто, и особенно те люди, из-за которых я отчаиваюсь.
>
> Прежде всего я отчаиваюсь не из-за людей, а потом, замечу, что если у вас есть повод сурово осудить особу, из-за которой я действительно отчаиваюсь, так и у меня имеются основания заверить вас, что мне известен ее характер лучше, чем кому бы то ни было. Уж я-то отлично знаю, что она не отчаивается, и доказательство тому – что я здесь; если бы она настойчиво просила меня не уезжать, как неоднократно поступала раньше, я бы остался…
>
> Не давайте мне эпикурейских советов, они годятся мне меньше всего на свете. Это – средство заполучить мелкое счастьице, а мне оно совершенно не нужно. Большое счастье или смерть, поэма жизни или уничтожение. А поэтому не говорите мне о великолепной женщине и об участии, проявляемом или не проявляемом к моим горестям существами, которые мне дороги. Вам ничего об этом не известно. Кто мог вам сказать?..»

Потом, 31-го, из того же Кота:

> «Умоляю же вас написать, что вы разумеете под этой последней фразой вашего последнего письма: «Вы хотите принести жертву; уже давно опасаюсь и, к сожалению, имею много оснований полагать, что вы сделаете это когда-нибудь». Что вы хотите сказать? Заклинаю вас никогда не писать намеками, особенно о ней. Это меня мучит. Не забудьте дать мне искреннее объяснение».

Гиллер писал только правду, дальнейшие события это

доказали. Ветреная и корыстная Камилла забыла о помолвке и, не помышляя о свадьбе, назначенной на пасхальную неделю 1832 года, давала обширный материал для изобличений.

Однако он сообщал правду с сатанинской радостью и, без сомнения, сгущал краски.

II

Письма Гиллера причиняли Гектору страдания.

Перед сестрами Нанси и Аделью он прочувствованно раскрывал душу, выкладывал мысли, сравнивая свое сердце с раскаленной лавой.

«Ах, – восклицал он, – сердца из лавы тверды, лишь когда холодны, а мое доведено до красного каления и расплавлено». Между тем госпожа Берлиоз, умиротворенная атмосферой общего восхищения, делала вид, будто ничего не слышит, чтобы вопреки обыкновению не брюзжать.

Так проходили дни, отмеченные воздыханиями неистового поэта, который хотя и сгорал от нетерпения и тревоги, но и намеренно нагнетал свои страдания ради романтики. Поэт каждодневно поверял свои беды добрым соседям и дорожным камням. В конце концов практичная госпожа Берлиоз начала волноваться.

– Мне кажется, – сказала она сыну, – что ты не сможешь больше откладывать поездку в Рим, не рискуя потерять стипендию.

И затем, не в силах сдержаться, выпалила:

– Теперь ты большой, признанный музыкант, а потерял голову из-за какой-то дочери бельевщицы, неизвестно зачем приехавшей из Голландии да еще обанкротившейся в Париже.

Гектор сжал кулаки, чтобы не ответить.

– Не забывай, – добавила госпожа Берлиоз, – что ты принадлежишь к почтенной семье.

И в заключение сухо:

– Если она напишет тебе, хорошо, если не напишет – еще лучше!

От этих слов Гектору показалось, будто холодное острое лезвие кинжала пронзает его сердце.

И все же он хотел дождаться в Коте письма от Камиллы, письма, где «сильфидная»[45] невеста, несомненно, опровергла бы коварную клевету «грубого злодея» Гиллера. Но столь долгожданное правдивое письмо, которое пристыдило бы обманщика Гиллера и исцелило бы изболевшуюся душу, не

приходило, а он должен был спешить с отъездом.

III

9 февраля Гектор покидает Лион, и вот уже в порту Марселя он поднимается на борт старенького сардинского брига, казалось с непомерной дерзостью бросавшего вызов морю и опасным рифам.

Сколько патетики в борьбе с разъяренной стихией хрупкого суденышка, непрерывно издающего скрип и стоны!

«Море, – писал Гектор, – это величайшее чудовище». Однако неизвестно, нравилось оно ему больше в изображениях поэтов или таким, каким он увидел его воочию.

Одиннадцать дней плавания вместо четырех. Чудо, что жалкий кораблик, которому все время грозила гибель, не был все же проглочен пенящимися волнами.

Наконец земля!

Порт Ливорно, откуда Гектор, уже забыв о свирепых шквалах, взирает на заякоренные суда, что пришли со всех концов света, и, прищурив глаза, рисует образы зачарованных далей, бороздимых большими, надутыми ветром парусами.

1 марта

Он приезжает во Флоренцию.

И тут неприятность. Его жизнь изобилует ими. Нунций его святейшества отказывается визировать паспорт на въезд в папские владения. Что же донесли этому высокому прелату, преисполненному степенства и достоинства? Быть может, его уведомили о необычной язвительности Берлиоза? Как знать?..

Гектор растолковывает, объясняет, доказывает и, наконец, добивается своего.

А теперь, возница, трогай! Вперед – в Рим.

Счастливое время, когда жизнь не торопит и можно спокойно наблюдать, рассуждать, мечтать.

Постоянно сменяются сельские пейзажи, расстилаются, насколько видит глаз, изумрудные ковры томной, романтической Италии.

И 12 марта

прозрачным утром кучер весело сообщил Гектору:

– Signore! Signore, ecco Roma! (Синьор, синьор, вон Рим!) Рим! Дома-дворцы! Здесь все отмечено благородством и величием. Повсюду камни говорят о славе чудесного города, который искусство избрало своей родиной. Рим – вечный город!

Гектор восторженно смотрит широко открытыми глазами. Экипаж все едет и едет… Наконец остановка перед зданием со строгими и гармоничными линиями. Это вилла Медичи!

IV

Какой прием ожидает новичка на вилле Медичи? Как и во всех школах, новички были здесь мишенью для насмешек. Гектор не стал исключением. Тем более что все, наслышавшись о странностях и бурном нраве молодого композитора, ожидали его с нескрываемым нетерпением, чтобы усмирить и прибрать к рукам. Его сильно, хотя и без злобы высмеяли («У, Берлиоз! Ну и нос! Ну и шевелюра! А голова-то, а физиономия!»), и, поскольку у него был сумрачный вид уязвленного влюбленного, чья голова обременена сумрачными думами, его тотчас по антитезе наградили прозвищем «Весельчак». Чтобы избавиться от поддразниваний, ему надо было подделаться под тон шуток, представиться добрым малым и хохотать громче, чем сами насмешники, – то было единственное средство их обезоружить. Но нет, он уперся и, подобно оскорбленному монарху, захотел своим превосходством подавить зубоскалов. Неважное начало!

Гектор надеялся найти в Риме письмо от Камиллы. Но напрасно! Он не мог подыскать объяснения длительному молчанию, в преднамеренности которого не сомневался.

«Что делать, – беспрестанно спрашивал он себя, – молча ждать или протестовать и бранить?» Переживания усугубляли его настроение, выделявшееся мрачностью на фоне общего веселья. На вилле Медичи неизменно царили оптимизм и сердечность. Да и не удивительно. Этим святилищем искусства, которое Гектор с презрительной миной несправедливо называл «академической казармой», заведовал Орас Верна, в будущем прославившийся своей живописью.

Яркая кисть Ораса Вернэ выразительно запечатлевала сражения, хотя сам он был врагом битв и чтил доброту. То был самый кроткий человек на свете. Под его руководством, неизменно отмеченным мягкостью, стипендиаты Академии, забыв о славе, которая, возможно, когда-нибудь увенчает их чело, словно лицеисты, устраивали шествия и потасовки, и все ради удовольствия пошуметь, поразмяться, ради здорового веселья. Один лишь Гектор играл роль гения, не желающего себя скомпрометировать. Приняв недоступный вид, он держался поодаль в своем мрачном высокомерии, тогда как весь этот содом вызывал у директора Ораса Вернэ лишь улыбку: в таком

окружении ему легко было запечатлевать на полотнах бешеные скачки по равнине и жестокие баталии.

И такие приятные, вольные условия назвать «казармой»? Нет, Гектор, это ошибка! Не терзайся ты любовью к своей Камилле (еще увидишь, сколь мало она была твоей), ты наверняка испытывал бы удовольствие от пребывания среди своих сверстников, как и ты, преданных искусству.

Безумие так себя истязать! Потому что Камилла… Если бы ты мог знать, Гектор, что Камилла тем временем… Она и впрямь колебалась недолго… На другой же день после твоего отъезда…

Однако не будем опережать события. Расскажем все по порядку.

Однообразные и мрачные дни тянулись для Гектора в Риме. И все-таки мог ли он не ощущать, как близка его душе эта ласковая, романтическая земля, эта родина гармонии? Музыка царила в Италии; ничто здесь так не превозносили, как мелодичные звучания.

Говоря об этом увлечении, страстный и романтичный Стендаль приводит один пустячный, но характерный случай.

«В Брешии[46], – рассказывал Стендаль, – я познакомился с одним тамошним жителем, отличавшимся особой чувствительностью к музыке. Он был очень тих и крайне вежлив, но когда находился в концерте и музыка до известной степени нравилась ему, он, сам того не замечая, снимал туфли. А когда дело доходило до какого-нибудь прекрасного пассажа, он неизменно бросал туфли через плечо в зрителей».

Здесь царило возбуждение, созвучное бегу крови в жилах Гектора. И со всей Европы знаменитые музыканты стекались в эту страну музыки.

Душа Гектора хранила траур, хотя его жизнь и обогащало знакомство с гениальными собратьями – в частности, с Феликсом Мендельсоном[47].

Здесь стоит остановиться на отношениях между двумя музыкантами. Оба были молоды (Гектору тогда было двадцать восемь лет, Феликсу – двадцать два), вдохновенны, обоим была уготована слава.

Хотя это сближение было лишь эпизодом в жизни нашего героя, попробуем ответить, проявил ли немецкий композитор интерес к Гектору, понял ли его. Нет, этого не было. Не зависть ли питала его? Возможно. Чтобы уяснить их взаимные чувства, достаточно привести два письма. Вот что писал Берлиоз о Феликсе Мендельсоне Гиллеру, который все еще оставался его наперсником и другом:

«Это замечательный парень; его исполнительский талант так

же велик, как и музыкальный, а это, по правде говоря, что-нибудь да значит. Все его произведения меня восхитили; я твердо верю, что он один из самых высоких музыкальных талантов эпохи. Он-то и был моим чичероне. Каждое утро я заходил к нему. Он играл мне сонату Бетховена, мы пели «Армиду» Глюка, потом он вел меня осматривать знаменитые развалины… Это огромный, необычный талант – великолепный и чудесный. Из того, что я так говорю, не следует подозревать меня в товарищеском пристрастии. Он чистосердечно сказал, что ничего не понимает в моей музыке».

Пример нравственной чистоты и беспристрастности, говорящей в пользу Гектора[48].

А теперь посмотрим, как высказался Феликс о Гекторе и Монфоре – другом академике с виллы Медичи. Он сурово писал матери:

> «На страстной неделе… двое французов снова утащили меня «бродить». Видеть этих двух людей рядом друг с другом – и трагично и смешно, как угодно, Берлиоз, какой-то кривляка без тени таланта, ищет ощупью в потемках, почитая себя творцом нового мира… При этом пишет самые отвратительные вещи, и ко всему тщеславен беспредельно. Он с нескрываемым презрением относится к Моцарту и Гайдну, и потому весь его энтузиазм мне кажется крайне наигранным. Второй, Монфор, уже три месяца работает над маленьким рондо на португальскую тему, сочетая в работе скрупулезность, блеск и точность. Потом он намерен взяться за сочинение шести вальсов и умер бы от счастья, если бы я сыграл ему бесконечные венские вальсы… Мне хочется терзать Берлиоза до тех пор, пока он не станет вновь восхищаться Глюком. Тогда я буду с ним согласен. Я охотно прогуливаюсь с ними двумя, это выглядит прекомичным контрастом. Ты пишешь, дорогая матушка, что Х., должно быть, к чему-то стремится в искусстве. Тут я с тобой не согласен. Думаю, он хочет жениться, и он действительно хуже других, так как из всех самый неестественный. Я решительно не могу выносить его наигранный энтузиазм, эти разочарования, рассчитанные на дам, и гений, провозглашенный во всеуслышание».

Какая резкая противоположность! Точно так же восторженный Гектор, исполненный восхищения и почтения,

писал когда-то Гете, а Цельтер – наглый музыкант олимпийского бога – заявил: «Некоторые люди при всех случаях знаменуют свое присутствие и участие лишь громким харканьем, чиханием, откашливанием… Похоже, что Гектор относится к таким людям».

Касаясь отношений Гектора и Мендельсона, мы могли бы сказать: два музыканта, два гения, две натуры. Наш выбор между ними двумя сделан.

Может быть, немецкий музыкант считает своим долгом питать восхищение лишь к своей стране?

V

Симфонии, звучавшие с неба и земли, знакомства с великими маэстро не гасили и не смягчали разочарованности Гектора.

Он нес свою скорбь, причинявшую ему страдания, словно романтично наброшенный черный плащ.

– Я хочу вернуться во Францию, – повторял он доброму Орасу Вернэ. – Хочу знать, где она, что думает, что делает. Неведение гнетет и убивает меня.

– Имейте в виду, Берлиоз, что, потеряв стипендию, вы потеряете навсегда и право сюда возвратиться.

Однако совет и предупреждения оказались тщетными, и в страстную пятницу

1 апреля

Гектор покинул Рим. Любовь в его пламенной душе пересилила все другие чувства.

Вот он и во Флоренции.

Пожалеет ли Гектор о своем безумном бегстве? На восемь дней тяжелая ангина приковала его к постели, восемь дней он посылал проклятия на голову всему несправедливому человечеству – слепому и глухому к его бедам.

Наконец он спрыгивает со своего ложа и в неудержимой жажде поэзии отправляется на берег Арно, держа под мышкой излюбленное духовное яство – томик Шекспира.

Несколько дней кряду он приходит к реке читать, размышлять и мечтать под ласковый лепет доверчивых волн. Здесь он открыл страстно волнующего «Короля Лира», от которого, как он писал, «прямо-таки изошел восторгом».

Смерть, таинственная смерть – верная спутница отчаяния, – влечет и околдовывает его.

В вечерние часы, когда скорбно рыдают колокола, он любил проскользнуть в священную тишину церквей, где ладан будит в

мыслях далекие образы, а сумеречный полумрак таит сокровенную тайну.

Поэты романтизируют смерть за то мрачное величие, в какое она облачена, в смерти они черпают невыразимое наслаждение жизнью.

Находя приют в этих храмах, Гектор ловит себя на том, что испытывает удовольствие от непривычных мыслей о небытии.

И однажды вечером в соборе, расписанном Джотто, другом Данте, его мечта словно бы материализовалась: он увидал, как из ризницы вышла длинная процессия людей в белом. Они были совершенно белы и мертвенно бледны, будто привидения; впереди шли мальчики из хора певчих, затем – священники, бормочущие заупокойную молитву.

Какая скорбная картина! Факелы, зловещие факелы – дрожащее пламя во всепоглотившей ночи.

Смутные мысли проносятся в его голове: «Вот он, всепожирающий огонь…»

И глядя на свечи, оплывающие крупными каплями: «Так, в слезах, течет и жизнь».

Но за факелами и свечами появляются кресты, в их золоте мерцает свет надежды; и кажется, будто кресты говорят: «Мужайтесь! Мы здесь!»

Гектор вновь бросает взоры на процессию и содрогается, его душа холодеет. Он крестится. Может быть, Гектор внезапно вернулся в лоно религии?

– Что происходит? – спросил он у молодого ризничего, который задел его в темноте.

– Una mammina morta al mezzo giorno col suo bambino! (Молодая мать с младенцем умерли сегодня днем!) Милостивый боже!

Гектор, охваченный состраданием и влекомый страшным зрелищем, последовал за процессией. Он печально двигался за ней по одинаково темным улицам, примолкшим и пустынным. И чем дальше он шел, тем больше ему представлялось, будто он погружается в потусторонний мир…

Остановились у дверей морга. По обычаю оставили здесь тело; оно будет ждать до полуночи, а затем продолжит путь к месту вечного приюта, вырытого на кладбище в земле, которая равняет всех. Родные, священники, мальчики из хора удалились – покойная должна привыкнуть к вечному одиночеству, Но Гектор не ушел. Он остался наедине с хранителем священных останков.

Тот спросил:

– Господин желает взглянуть на бедняжку?

Гектор в подтверждение кивнул головой.

Тогда служитель благоговейно приподнял тяжелую, уже омытую слезами крышку гроба, где вечным сном Ц спала женщина, настигнутая смертью в свои двадцать два года.

…Боже, боже! Как она прекрасна в своем коленкоровом платье, завязанном под стопами ног. О, как несправедлива судьба!..

У Гектора в памяти всплывают Офелия, Джульетта…

Прозрачная бледность поэтизировала умершую.

Возможно ль, что она – такая неземная – была простой смертной? Ее веки с бахромой шелковых ресниц скрывают глаза, перед которыми, быть может, проходят высшие сновидения, неведомые на этом свете. Золотые волосы обрамляют ее мертвое лицо – лик мадонны. Из носа вытекла тонкая струйка желтоватой жидкости. Уловив немую мольбу Гектора, служитель вытер ее лицо; и тогда Гектор вновь ушел в свое исступленное восхищение, к которому примешивались дрожь перед непостижимым и страх перед богом – тот страх, что возникает в возвышенные минуты[49].

Но вот взгляд Гектора остановился на нежном создании, только что извлеченном из крошечного гроба, чтобы быть положенным рядом с матерью, которая умерла оттого, что хотела дать ему жизнь. К горлу Гектора подступили слезы и потекли из глаз крупными каплями.

Гектор схватил ее руку цвета слоновой кости и задумчиво погладил, с трудом подавляя желание склониться и запечатлеть на лбу этого ангела-мученика самый чистый из поцелуев.

Но, может быть, это небесное видение и долгие размышления над тяжестью судьбы и тщетой земных сует побудят Гектора хотя бы на время подумать о прекращении борьбы? Не тут-то было!

И, однако, он испытывает новое потрясение перед таинством смерти.

Пребывая в том же лихорадочном исступлении, он присутствует на другом похоронном обряде. «На этот раз хоронили Бонапарте, племянника великого императора и сына несчастной королевы Гортензии; за сорок лет до того она – веселая креолка – приехала со своей матерью Жозефиной из Сан-Доминго и танцевала негритянские танцы и пела для матросов карибские песни. Ныне приемная дочь самого великого человека нового времени приехала как беглянка, чтобы спасти одного из своих сыновей – будущего Наполеона III – «от топора реакции», оставив своего мужа во Флоренции, а младшего сына – погребенным в земле Данте и Микеланджело»[50].

Так призрак смерти, которую он желал постичь, проходил

перед ним снова и снова, не унимая, однако, бушующей в нем жажды жизни.

VI

14 апреля

Наконец пришло письмо, на которое он возлагал такие большие надежды.

Однако странно: адрес написан не Камиллой, а госпожой Мок. «Что произошло? Без сомнения, еще один фокус «бегемотихи»!» – воскликнул он.

Так, с беспредельной нежностью называл наш Ромео свою без пяти минут тещу.

Он нетерпеливо вскрывает конверт, где заключена его судьба. Читает… Но что это? Послушайте, он сам рассказывает об этом в «Мемуарах»:

«Ее достойная маменька обвиняла меня в том, что я внес смятение в семью, и сообщала о свадьбе своей дочери с господином П…»[51]. Слезы ярости брызнули у меня из глаз, и в тот же миг было решено: лечу в Париж и там без всякой пощады убиваю двух виновных и одного невиновного. Разумеется, что, свершив сие благое дело, мне предстояло убить и себя».

Кипя негодованием, Гектор мельком взглянул на кольцо, подаренное ему Камиллой в залог вечной любви, которое он всегда носил на пальце, и затем мелодраматичным тоном отчетливо произнес: «Я отомщу за себя, ты умрешь!»

Теперь наш великий мрачный влюбленный, осмеянный и поруганный, собирается совершить романтично обставленные убийства.

Вперед, к справедливому возмездию!

Гектор обдумывает тройное убийство.

В Париже надо появиться строго инкогнито. Узнав о моем возвращении, виновные встревожатся и поспешно сбегут из столицы, чтобы скрыться от неминуемого торжества мести. Это уж наверняка. А как застать всех троих вместе? Как?

И он решает:

«Я предстану перед ними около девяти часов вечера, в тот момент, когда семья собирается к чаю. Прикажу доложить обо мне, как о горничной графини М.., которой поручено передать срочный и важный пакет. Меня проведут в гостиную. Я отдам письмо и, пока они будут его читать, выхвачу из-за пазухи два двуствольных пистолета и пробью голову номеру один, номеру два, а потом схвачу за волосы номер три. Я дам ему себя узнать и,

невзирая на вопли, пошлю в него мое третье приветствие и затем, прежде чем этот вокально-инструментальный концерт привлечет любопытных, пущу себе в правый висок четвертый неопровержимый аргумент, а если пистолет даст осечку (это случается), поспешно прибегну к моим пузырькам!»[52] Вот так – как видите, очень просто.

И впрямь Дон-Кихот!

В его плане первое – нарядиться горничной. Но где найти одежду? Немедля он наводит справки и бросается на набережную Арно, в магазин модных нарядов.

Там он приказывает:

– Принесите мне платье.

– Для кого, сударь? Девушки или женщины? Из какого сословия?

– Вы чересчур любопытны, сударыня.

– Но это необходимо знать, сударь, чтобы угодить вам.

– Для горничной… – И, к удивлению женщин, добавил: – Да подберите шляпку с большой зеленой вуалью.

Молчаливые улыбки.

– Какого размера нужно платье, сударь?

– Вы можете примерить его прямо на меня.

Изумленные женщины в нерешительности – похоже, что он сумасшедший!

Однако Гектор продолжает:

– Я не намерен давать какие-либо объяснения, сударыня, но все же готов вам сообщить, что собираюсь лететь в Париж, покарать неверную невесту, ее мать – сообщницу в измене, и человека, узурпировавшего мое законное право на счастье.

Снова едва сдерживаемый смех.

– А при чем здесь платье, сударь?

На что тот уклончиво ответил:

– Я же говорю вам, что моя жажда мести будет утолена их кровью.

Тогда хозяйка и приказчицы, задыхаясь от смеха и уже не пытаясь что-либо понять, упаковали платье, шляпку и вуаль. Они больше не сомневались – перед ними помешанный.

Теперь живей в гостиницу! Здесь он зарядил по всем правилам свои двуствольные пистолеты, тщательно осмотрел и положил в карманы пузырьки «с прохладительными напитками» – лауданумом и стрихнином. Итак, если откажет оружие, сработает яд.

Герой, умеющий без колебаний умереть, решил:

«Мой чемодан, собственность семьи, вернется к отцу». И, старательно выписывая завещательную надпись, он бормотал

сквозь зубы: «Бедный отец, как он будет сокрушаться, когда получит чемодан! Ну, а музыка? Музыку я завещаю будущим поколениям и надеюсь, что они, более просвещенные и более справедливые, смогут восторгаться моим творением во всем его совершенстве». И он строчит наставление о том, как лучше понимать и исполнять его сочинения.

На партитуре недавно переработанной «Фантастической» перед началом сцены бала он написал:

«У меня нет времени закончить. Если Парижскому обществу концертов придет фантазия исполнить эту пьесу в отсутствие автора, я прошу Габенека дублировать в нижнюю октаву кларнетами и валторнами пассаж флейт в последнем повторе темы и написать полным оркестром последующие аккорды. Этого будет достаточно для заключения».

Таким образом, стоя на краю могилы, Гектор оставил свою последнюю волю музыканта, свое завещание.

Затем он спешит к дилижансу, который должен повезти его к месту справедливого возмездия. Отправление в шесть часов.

В пути он ничего не ел. Впрочем, не совсем. Он сам рассказывает, что за все время «не проглотил ничего, только пил апельсиновый сок». Однако свирепое выражение его лица и бешеный взгляд обеспокоили возницу, который заподозрил в нем опасного политического агитатора, возможно везущего с собой «адские машины».

Дилижанс едет и едет…

Но вдруг кандидат в убийцы разразился бранью.

– Гром и молния! (вариант). При пересадке в Пьетра-Санта я оставил в карете платье горничной! Из-за кучера, перевернувшего вверх дном все вещи. Разрази его гром! (вариант).

Полнейшее замешательство.

Не откажется ли он от своего замысла убийства?

Не тут-то было!

Прибыв в Геную, он, продолжая кипеть от ярости, приобретает у новой модистки другой набор: платье, шляпку и зеленую вуаль.

Но местная полиция, предупрежденная дорожными спутниками и кучером, отказывается выдать ему визу в Турин и, меняя маршрут, велит следовать через Ниццу.

– Не все ли равно! – вскричал Гектор. – Главное – попасть в Париж и чтобы пистолеты выстрелили по моей воле.

Он сидел в пузатом дилижансе, катившем по дороге, высеченной в скале, в ста метрах над морем, и мечтал…

Он мечтал, потому что была весна, счастливая весна, в которой, казалось, разлита божья благодать.

Временами Гектор возвращался к реальности.

«А я скоро умру, – повторял он про себя. – Ах, мне никогда более не слышать таких концертов, не вдыхать таких ароматов, не опьяняться волшебной ночью! И все из-за кого? Неверной и недостойной невесты! Из-за «проклятой ведьмы»! (другое деликатное имя, закрепленное за госпожой Мок). Возможно ли? Да, так надо! Карающий меч должен поразить виновных!»

Но по мере того, как он приближался к цели, решимость его все ослабевала.

«Умереть?! Отказаться от вершины, к которой так стремился? Не сразить всех, решительно всех недругов?! Уйти, не достигнув головокружительной славы, которая с нетерпением ожидает меня?

И ведь я сам, я один, навязал себе такую жестокую участь!

Однако возможно ли отступление? Мои пузырьки наполнены до краев, пистолеты заряжены, все упаковано… и это женское платье.

И снова на попятный. Как? Из-за ржавых пистолетов, из-за яда на десять су, из-за каких-то старых тряпок я должен распрощаться с миром, который в один прекрасный день будет у моих ног?»

Скоро Гектор принял другое решение: он не умрет и не убьет! Но тогда ради чего спешить в Париж? И терять стипендию, дарованную государством… Дело сводится теперь к тому, чтобы спасти свою репутацию. Но каким образом?

И тут вся комичная история достигает своей кульминации: мнимое самоубийство и трагическое погребение всех вещей.

Отъехав более ста километров от Генуи, экипаж остановился в сардинской деревушке Диано-Марино, чтобы переменить лошадей. Отсюда Гектор отправил письмо директору Орасу Вернэ:

> «18 апреля 1831 года
>
> Я пишу вам наспех… Гнусное преступление, то злоупотребление доверием, жертвой которого я стал, заставило меня безумствовать от ярости на всем пути от Флоренции до этого места. Я летел во Францию ради самого справедливого и самого страшного отмщения. В Генуе я на миг потерял голову, непостижимая слабость сломила мою волю, и я впал в мальчишеское отчаяние. Я отделался лишь тем, что хлебнул соленой воды; меня выудили, как рыбу, и я провалялся замертво с четверть часа на берегу, после чего меня целый час неистово рвало. Не знаю, кто меня вытащил; думали, что я

случайно упал с городской стены. Но в конце концов я остался жив и должен жить ради двух сестер, которых убил бы своей смертью, ради моего искусства.

И хотя меня до сих пор трясет, как нижнюю палубу корабля, ведущего стрельбу то с левого, то с правого борта, я только что поклялся вам честью, что не уеду из Италии; это единственное средство не осуществить мой проект.

Я надеюсь, что вы еще не написали во Францию и я не потерял мою стипендию.

Прощайте, сударь.

Еще предстоит страшная борьба между жизнью и смертью, но я сумею устоять на ногах, ведь я вам поклялся честью.

Гектор Берлиоз».

Ниже подписи приписка:

«Соблаговолите написать в Ниццу лишь одно слово, чтобы известить меня о судьбе стипендии».

В Ницце восторги чередуются с «вулканической», по его определению, тревогой. «Ах, если прекратится стипендия, – пишет Гектор, – я окажусь без крова, без места и без гроша в кармане».

Наконец от директора пришел ответ. Хвала Орасу Вернэ – человеку большого сердца! Известный художник, которому были вверены судьбы обитателей виллы Медичи, вполне успокоил буйного стипендиата. Нет, он не разоблачил беглеца, в Париже ничего не знают; стипендия будет сохранена, и все ожидают его в Риме с распростертыми объятиями.

– Браво, браво! – вскричал неудавшийся мститель. – Жизнь прекрасна! А теперь стоит ли так поспешно возвращаться в лоно Академии? – спросил он себя и с важностью ответил: – Благоразумие требует соблюдать меру, избегать злоупотреблений, даже самим благоразумием.

Забавно слышать подобное изречение из его уст. Разве мог он злоупотребить благоразумием?

В том раю Средиземноморья он задержался на полных три недели – самых безоблачных в его жизни. Безмятежная леность на солнце, купания в море, прелестная квартира, нанятая на время пребывания, где он мечтал, восторгался, сочинял увертюру к «Королю Лиру» и делал наброски увертюры «Роб-Рой Мак-Грегор». Утром, рассказывал Гектор, из окна своей комнаты, увитого

кустами роз, он наблюдал «гребни волн, набегавшие словно гривы белых коней», и, срывая свесившуюся розу, спрашивал себя, сколько нужно было капель росы и вечернего трепета, чтобы создать это совершенное творение из бархата, нежности и крови. И он ни разу не подумал, что именно в этот блаженный миг ему предстояло, по прежнему намерению, умертвить три человеческих существа и потом покончить с собой.

Но вот от 1050 франков, одолженных у Феррана, у него осталась лишь сумма, необходимая на возвращение. И потому нужно без промедления ехать. И, негодуя, он склоняется перед жестокой необходимостью пуститься в обратный путь[53].

Как встретят тебя товарищи, Гектор?

Ведь тебе предстояло умереть в Париже, как мушкетеру, умереть подле трех трупов, став жертвой любви и вершителем высшей справедливости. А ты отправляешься восвояси, бросив неизвестно где пузырьки с ядом, заряженные по всем правилам пистолеты и платье горничной, которое ты потерял и заменил новым. Ты избежал героической гибели и возвращаешься с цветущим лицом и легким сердцем после невероятной выдумки о самоубийстве в морских волнах. Какая буффонада!

Ну и Дон-Кихот!

VII

Самоубийство внушает своего рода уважение из-за того мужества, что заключено в добровольном расставании с жизнью. Впрочем, это мнение спорное. Неудавшееся самоубийство вызывает лишь сочувствие. Что до разыгранного самоубийства, то оно, по правде говоря, возбуждает одни лишь насмешки, автор его выглядит мрачным мистификатором.

Товарищи Гектора, не верившие, что он пытался найти смерть в морской пучине, встретили его, как и в первый приезд, шутовскими насмешками.

– Ох, ну и голова, ну и физиономия! (Знакомый мотив.) Но «воскресший» выдержал бурю; выпятив грудь, он то и дело повторял: «Я в самом деле хотел умереть. Эх вы, сердобольные души, все вы словно сожалеете, что меня вырвали у смерти!»

И он принимался поносить их за то, что они уподобились жестоким зрителям, которые, удобно устроившись в своих креслах, сожалеют о спасении воздушного гимнаста, упавшего с большой высоты; если бы циркач погиб, впечатление было бы острее. «Дикари, жаждущие крови», – твердил он, забывая, что сам намеревался пролить кровь трех жертв, а затем покуситься (способен ли он на это?) на собственную жизнь, Некоторое время

его комичное, вымышленное несчастье давало пищу насмешкам, служило темой пикантных куплетов, но потом буря издевок и смеха стихла – у студенческой братии короткая память. И Гектор вступил в нормальную жизнь.

Но подходит ли слово «нормальный» к этому врагу косности, фантазеру, бунтарю, чей гений сродни пламени пожара?

VIII

Подведем же итог тем восемнадцати месяцам, которые Гектор называл «лишением свободы», «интернированием».

Романтические прогулки в Колизее, среди покоя и безмолвия «гигантских развалин», с томиком Байрона в руке.

Беспрестанные выпады против итальянской музыки. «Да, да, их музыка – шлюха! – писал он, впадая в присущую ему крайность. – Издали ее манеры указывают на распутство, а вблизи ее пошлый язык выдает дурость»[54]. И он то и дело поносит эту школу, которая стремится только очаровывать, и клеймит ее цинично торжествующего представителя. Кого же? «Паяца Россини»! Так же, как он обрушивался во Франции на «музыку, услаждающую слух», милую для Буальдье и классических «старых черепах». Он – музыкант чувств с широко распластанными крыльями, а не разума с жалкими, тесными правилами; он признает лишь ту музыку, что волнует и возбуждает, и его не интересуют узаконенные теории. Его влечет любовь к приключениям и фантастике: блуждания в Абруццах среди разбойников, промышляющих в этом горном крае, и лаццарони, стоящих на низшей ступени неаполитанского общества, людей никчемных и способных на все. Ему приятно любоваться такой формой независимости и бунтарства против закона – его ненависть к ортодоксии проявляется и здесь.

Еще чаще – прогулки к крестьянам, близким одной лишь природе[55].

«Ничто не мило мне так, как прогулки по лесам и жизнь в скалах, – писал он Гиллеру, – как встречи с добродушными крестьянами, дневной сон на берегу реки, а вечерами сальтарелло с мужчинами и женщинами – завсегдатаями нашего кабачка. Они счастливы, когда я беру в руки гитару, до меня они танцевали под звуки бубна; они очарованы этим мелодичным инструментом. Я возвращаюсь туда, спасаясь от сплина, который меня здесь убивает. На несколько дней мне удавалось пересилить его благодаря охоте. В полночь я уезжал из Рима и к рассвету бывал на месте. Я доходил до изнеможения, умирал от жажды и голода, но зато не тосковал. В последний раз я подстрелил шестнадцать

перепелок, семь водяных птиц, большую змею и дикобраза» (8 сентября 1831 года)[56].

«Иногда, – рассказывает он в своей автобиографии, – пораженный окрестным пейзажем, гармонирующим с моими думами, я внезапно останавливался, и тогда всплывал с детства застрявший в памяти стих из «Энеиды», и, импровизируя причудливый речитатив на еще более причудливую мелодию, я пел для себя смерть Палласа, отчаяние доброго Эвандра, похороны молодого воина, которого сопровождал его конь Этон без сбруи, с повисшей гривой, проливающий крупные слезы; ужас славного короля Латинуса, осаду Лациума, по земле которого я ступал, печальный конец Аматы и жестокую смерть благородного суженого Лавинии.

Так под влиянием смеси воспоминаний, поэзии и музыки я доходил до невероятной экзальтации. Это тройное опьянение всегда выливалось в потоки слез и конвульсивные рыдания. И самое удивительное – это объяснение моих слез…»

Какой пожар чувств!

Одажды в отсутствие директора Гектор убежал в деревушку Тиволи.

«Водопады, облака водяной пыли, дымящиеся пропасти, извилистая река, оливковые рощи, горы, заслоняющие горизонт…» Отсюда на пролетке добрался до Субияко, где, как он писал, радушные женщины редкой красоты просили его: «Signore pigliate la chittara francese» («Сударь, сыграйте на французской гитаре»).

Бегство Гектора длилось три недели. Когда скудные денежные ресурсы подошли к концу, ему пришлось положить конец своему счастливому отдыху, и верхом на ослике он выехал из Субияко.

Так Дон-Кихот последовал примеру Санчо.

IX

Но даже эти побеги не могли развеять мрачной, тревожной душевной усталости. Пребывая в сплине, который Гектор силился развеять, он ощутил уже в начале своей жизни в Риме влечение к той религии, что освещала некогда его чистое детство.

Скульптор Этекс[57] уверяет, что мятущийся гений собирался даже постричься в монахи, чтобы обрести покой, мир и забвение.

«Берлиоз, – писал он, – которого я недавно встретил в Риме, был столь же печален и обескуражен, как и я, и посетил вместе со мной отцов-доминиканцев с тем же намерением, что и я, – посвятить себя религии в каком-нибудь францисканском

монастыре. Но «обстоятельства» вывели нас из удрученного состояния».

Что это были за «обстоятельства» для Гектора или, скорее, какое состояние души? Прежде всего, в то время он надеялся получить от Камиллы долгожданное письмо с ключами от земного счастья. Уйди он от мира за монастырские стены, ключи стали бы, увы, ненужными. Кроме того, он и не помышлял отречься от стремления добиться славы.

Не романтизм ли, усугубленный сплином, толкал его к религии, которую он считал угасшей? Поэты, почитающие себя неверующими, бережно хранят, однако, идею бога из-за ее поэтичности. Из любви к божественной идее они чтят самого бога.

Но Гектор недолго пребывал в смущении, в его голове бурлили неотвязные мысли о лаврах. Как раз в ту пору он писал Гиллеру: «Есть лишь два средства преуспеть – величие и сила».

Величие, пламя гениальности, способность возвыситься над всеми – он чувствует, что все это рвется из него наружу. А сила? Он уже побеждал, и все склоняет его к уверенности, что стоит вступить в борьбу, как он победит вновь, будет побеждать всегда.

Так прочь уныние, несмотря на ту обстановку, в которой он жил!

Гектор действительно описывал «лоно Академии» (как он говорил, «тюрьму») торжественно и мрачно. В самом же деле то была обитель искусства, где царили искреннее веселье и непринужденная простота.

Так, директор Орас Верна нарядился однажды капитаном гусар и разыграл одну из тех сцен, которые хорошо знал: как известно, он изображал на своих картинах лишь битвы, боевых коней и военных. Его дочь оделась в костюм неаполитанки, и все стипендиаты в маскарадных костюмах и масках приняли участие в празднике.

Но Гектору (простите, «Весельчаку») доставляло удовольствие одно – дуться и брюзжать[58].

Единственный проблеск в его дурном настроении наступал, когда товарищи, желая ему польстить и, разумеется, испытать миг изысканного наслаждения, уговаривали его импровизировать на гитаре. Тогда Гектор» довольный возможностью показать свой талант, охотно соглашался и как-то вечером пропел одну арию из «Ифигении в Тавриде» с такой виртуозностью и таким душевным волнением, что его слушатели рыдали.

Оазис, где он забывался.

Но месяц шел за месяцем, и близился час освобождения.

1832

I

Вот краткий обзор событий по датам.

17 февраля. Он заговаривает о возвращении.

«Я уеду отсюда в начале мая», – писал он своему другу Гуне[59].

Благодаря доброжелательности (а вскоре даже, «сообщничеству») кроткого Ораса Вернэ Гектор уехал из Италии за шесть месяцев до истечения двух лет, предписанных правилами.

12 мая. Флоренция, затем пребывание в Коте.

28 октября. В дилижансе. На пути к столице!

7 ноября. Париж!

И пока он въезжает в Париж, мы остановимся, чтобы кратко подвести итог творчества Гектора на земле музыкальной Италии.

Гектор добавил к своей «Фантастической» монодраму «Лелио, или Возвращение к жизни».

Однажды в Субияко он написал сверкающую мелодию на стихи Виктора Гюго «Пленница». В Ницце, в часы тревоги, правда быстро сменившиеся ликованием, он сочинил увертюру «Король Лир», набросал увертюру «Роб-Рой», также законченную в Субияко, и «Размышление» для шести голосов на стихотворение Мура «Весь мир – лишь мимолетная тень»[60].

Гектор отослал из Рима в Институт лишь экземпляр «Resurrexit» – отрывок из «Мессы Сен-Рош» и Quartetto e Coro dei Magi»[61].

И если в ту пору он сочинил немного, то позднее влияние Италии сильно сказалось на его творчестве. Оно очень глубоко ощущалось сначала в романтической симфонии «Гарольд в Италии», затем в опере «Бенвенуто Челлини», симфонии «Ромео и Джульетта» (программа ее была почти текстуально приведена в работе, напечатанной в журнале «Ревю Еропеен» за март – май 1832 года) и в «Реквиеме», на монументальную партитуру которого Берлиоза вдохновил собор святого Петра в Риме, или, по мнению Жоржа Нуффляра, собор во Флоренции.

II

Что же происходит подчас в тайных лабораториях памяти? Может быть, на Гектора вдруг нахлынуло прошлое? Едва ступив на парижский асфальт, он, словно погоняемый чужой волей и следуя, конечно, указанию судьбы, спешит прямо в гостиницу, где жила Офелия.

Как? Та самая Офелия, изгнанная из его сердца? Именно она – Гэрриет Смитсон.

– Комната, которую занимала она, свободна? – спрашивает он.

– Да, свободна.

И Гектор тотчас пожелал здесь обосноваться.

Что он увидел, переступив порог? «Кровать, где она спала и видела ангельские сновидения, в которых, возможно, иногда появлялся и я, лампу, лившую свой мягкий свет, когда я совсем близко отсюда наблюдал за отблесками ее жизни, и этот пол, по которому ступала ее маленькая ножка».

Так перед ним всплыло прошлое, нежное и жестокое; оно разрывало ему сердце, вовсе не исцеленное.

Уйдя в прошлое, он будет отныне жить, чтобы вновь и вновь воскрешать пережитые волнения.

Но что за цель ты преследуешь, экзальтированный романтик?

Что за цель? Кто бы мог это сказать?

Но вот он просит у генерального инспектора зал Консерватории, чтобы организовать в нем исполнение своих произведений[62]. Требует настойчиво, держась мнения, что добиваться робко – значит напрашиваться на отказ. Армии своих соратников, вновь созданной по его решительному слову, обладающему блестящим даром зажигать, Гектор объявляет:

– Теперь посмотрим, на что способен мой гений!

И действительно, каждый увидел.

III

Как и в недавнем прошлом, сколь это ни неожиданно и ни удивительно, он желал поразить и очаровать. Кого же? Офелию! В грязной гостинице «Конгре» на улице Риволи Офелия переживала трудные дни: стесненность в средствах, утрата благосклонности публики. С ней делили кров и хлеб, еще увеличивая ее нужду (зарабатывала на жизнь она одна), пассивная, как мебель, мать и горбатая сестра, безобразная карлица с душой, еще более уродливой, чем тело. Одна, отрешенная от мира, никогда не выражала своего мнения и беспрерывно вздыхала, словно

подавленная трагической судьбой; другая, безутешная в своем безобразии, не умолкая, бранилась и проклинала все живущее. От ее злобных, яростных слов казалось, будто у нее изо рта падают ядовитые змеи. Мать еще куда ни шло. Но сестра – эта отвратительная лилипутка – испытывала ли она по крайней мере признательность к доброй Офелии, которая ее терпела и кормила? Ничуть! Она беспредельно завидовала ее обаянию и красоте. Гэрриет и в самом деле никогда еще не была так хороша: высокого роста, с царственной осанкой, перламутровым цветом кожи, изящной линией рта, копной золотых волос, где слишком рано начали пробиваться серебряные нити, а в глазах, «ее прекрасных глазах цвета северного неба», – невыразимая неземная томность, совсем как у Джульетты и точно как у Офелии.

Благодаря своим первым успехам она, став директрисой труппы английских актеров, добилась счастливой возможности представлять шедевры Шекспира на сцене Итальянского театра. Но то была директриса, не имевшая энергии, опыта и влияния, необходимых, чтобы руководить. Пресса, которая еще недавно ее превозносила, теперь была жестока. Одна из газет писала:

«Труппа, привезенная мадемуазель Смитсон, никуда не годится, включая и упомянутую актрису, былой успех которой у нас был результатом отнюдь не ее таланта. Эта девица приезжала к нам в пору англомании, вызванной не только усилиями литературы, но еще и политикой…

В дело вмешался Романтик, и мадемуазель Смитсон, которую английские знатоки ставили весьма низко, имела в нашей столице бешеный успех. Ныне все слишком изменилось и слишком прояснилось, чтобы это могло вновь вызвать интерес…»

И поскольку, несмотря на широкое распределение в Париже бесплатных билетов, театр оставался отчаянно пустым, одна влиятельная газета выразила свое мнение такой хлесткой фразой: «Английским актерам вынесен приговор: пассажирский пароход! Погода великолепная!»

IV

Гектор с искренней грустью, окрашенной мушкетерским благородством, свойственным его характеру, узнал о бедственном положении прекрасной Офелии, приводившей его в такой восторг. Английская труппа вновь объявила «Ромео и Джульетту», где Гэрриет некогда умела умирать с такой патетической силой, что все провозглашали ее медленную агонию «истинным шедевром». И в то время, как Гэрриет пыталась пересилить

враждебную безучастность Парижа, Гектор задумал выправить положение своей «Фантастической». Но какое отношение имеет одно к другому? У него есть свой план,

V

9 декабря

в зале Меню (Консерватории) – большой день: исполняется переделанная и музыкально переработанная «Фантастическая».

Среди присутствующих король критики Жюль Жанен, Генрих Гейне, Эжен Сю, Легуве и немало других бессмертных имен. Гектор послал Гэрриет-Офелии билеты в литерную ложу, рядом с местом, занимаемым им самим.

Придет ли она? Сердце Гектора часто бьется от страха и надежды. Тянутся долгие, нескончаемые минуты. Гектор упорно оттягивает начало. Он ждет, ждет Офелию.

Но вдруг словно вспышка молнии. Она! И все взгляды устремились на нее, прикованные ее неземной красотой. Взмах дирижерской палочки – и брызнули первые звуки, подобные сверкающим жемчужинам.

Сосредоточенная тишина, энтузиазм, неистовая овация публики, и актер Бокаж отчетливо произносит:

«О, почему не могу я найти ту Джульетту, ту Офелию, которую призывало мое сердце?»

Возможно ли? Вначале Гэрриет охвачена сомнениями: приглашение… это место возле самой сцены (чтобы она лучше слышала) и возле самого Гектора (чтобы он мог лучше наблюдать за ней)… И эта страстная фраза, в которую вплетены две ее главные роли – Джульетты и Офелии. Нет, сомнения невозможны. Гэрриет побледнела: она поняла.

Но что она может сказать или сделать? Она смутилась и, смешавшись с толпой, незаметно исчезла из зала.

VI

Гектор одержал победу. Он ликовал[63].

Он писал своей сестре Нанси: «Поразительный успех… Зал рушился от аплодисментов; с тобой, добрая сестрица, случился бы нервный припадок!.. На улице, в театре меня приветствуют люди, которых я никогда не видел; шум и громкие фразы в салонах, Опере, кулуарах, за кулисами…»

Жюль Жанен, правда его друг, заявил: «Этот молодой человек – силища. Он доказал…» С того дня у него появилась тьма

поклонников. И теперь он вправе сказать: «Земля, по которой я ступаю, принадлежит мне»[64].

Не слава ли это? Нет, нет еще. И вообще придет ли когда-нибудь к нему настоящая слава?

В ожидании ее он вдыхал полной грудью тот фимиам, что ему курили, и хмелел от него настолько, что восклицал: «Я готов грызть зубами каленое железо!» Только и всего, сущий пустяк!

VII

Гектор, сознавая, что случай благоприятствует ему, просит у Гэрриет разрешения ей представиться (экзальтация Гектора тем более пикантна, что он не был даже знаком со своей героиней). Гэрриет, еще взволнованная, соглашается.

Но куда клонит Гектор? Скоро мы узнаем об этом.

Вот они остаются с глазу на глаз, удивленные своим уединением и сгорающие от любопытства.

«О чем я могу сейчас ее просить?» – спрашивал себя Гектор.

«Чего он от меня ждет?» – думала Офелия, надеясь, что бурный композитор навсегда похоронил свой безумный проект об их женитьбе, смутные слухи о котором когда-то до нее доходили.

Минута неловкого молчания. Оба не осмеливаются даже взглянуть друг на друга. Кто же из них двоих произнесет, наконец, первое слово? Впрочем, как это сделать? Она говорила на ломаном французском, он коверкает английский. Они должны чувствовать к тому же, что ничто их не роднит. Она приехала из своей туманной Ирландии, он – из солнечного Дофине. Он принадлежит к буржуазной семье с укоренившимися предрассудками, устойчивыми традициями, привязанной к родной земле. Она же – артистка, дитя свободы, странствий и фантазии. Итак, никаких точек соприкосновения – ни язык, ни происхождение, ни среда. В конце концов Гектор приподнятым тоном, который так близок его «вулканическому» романтизму, отваживается произнести:

– Я благословляю провидение, даровавшее мне эту минуту высшего восторга.

Что ответила она? Ничего достоверного об этом необычном разговоре не известно.

VIII

Так или иначе, но они увиделись вновь.

По всей вероятности, вначале она его терпела, потом

смирилась и, наконец, свыклась с этим примирением, граничащим с благосклонностью.

Он же с первого мгновения неистово запылал. Уж такой был его «фосфорический» нрав, как любил говорить он сам. Ради нее он мог бы, не задумываясь, пустить себе пулю в лоб – разумеется, в чисто романтическом пылу. Величие Вертера.

Ложась в постель, в то углубление, которое как бы хранило след тела Офелии, он поднимался до высших сфер блаженного забытья. Однако стоило ему открыть глаза, как начинало щемить сердце: он воскрешал в памяти сцены из спектаклей, где она целует не его, а другого, и осмеливается умереть не на его – на чужих руках.

– Нет, довольно! – восклицал он. – Она должна принадлежать мне безраздельно, мне одному!

IX

Теперь Гектор держится женихом, несмотря на явную враждебность горбуньи, этой страшной ведьмы, которая принимала насмешливо-угрожающий вид всякий раз, когда Гектор представал перед Офелией. Однажды она бросила ему в лицо:

– Будь у меня побольше сил, я вышвырнула бы вас в окно!

Из-за злобы обиженной природой сестры, из-за невыдержанности Гектора, из-за чередования волн то безрассудства, то благоразумия, захлестывавших Гэрриет, весь этот обычно усыпанный розами период безмятежного очарования, когда два существа, открывая друг друга, будто познают чудо и лишь стремятся слиться воедино, был для них беспокойным и облачным. Ссоры сменялись примирениями, приливы непрерывно следовали за отливами – то грозы, то ясное небо.

1833

I

30 лет.

Гектор решил: «Пора кончать!»

И написал отцу, что намерен жениться на ирландке Гэрриет Смитсон.

Гром ударил в бастион французской буржуазии; самый яркий роялист, ультрабелый доктор Берлиоз и строгая, набожная

госпожа Берлиоз поставлены в известность о брачной авантюре, в которую решил броситься бунтарь Гектор.

Старики в растерянности смотрят друг на друга: возможно ли? Потом госпожа Берлиоз по обыкновению разражается тирадой:

– Какая-то актриса, таскавшаяся из страны в страну по театральным подмосткам! (Госпожа Берлиоз всегда преувеличивала.) Чужой крови и чужих обычаев! Разорившаяся женщина, к тому же вся в долгах! Тогда как он принадлежит к семье судей и нотариусов. – И, не закрывая рта, продолжала: – Создание, о котором он сам после первого, быстро угасшего пожара заявил, что без призмы сцены и ореола Шекспира она ничего не стоит[65].

И театрально по всем правилам закончила: – Мой сын, я вас проклинаю!.. Вы унесете на тот свет грех за смерть вашей матери, которая всю свою жизнь была святой. Слышите ли вы меня? – добавила она еще торжественнее, словно Гектор находился поблизости. – Слышите?

Доктор под шквалами бури не в силах был вымолвить ни слова. Да и мог ли он что-нибудь сказать? Он никогда не осмеливался прерывать свою властную жену.

Наказать сына? Ни за что! Он страдал, не испытывая злобы. Защитить его? Тогда госпожа Берлиоз предала бы анафеме и его самого.

Так или иначе, но отец формально запретил сыну жениться.

– Таков мой долг, – просто сказал отец.

Но Гектор не сдается. Он утверждает, что в этом деле затронута его Честь (с преувеличенно большой буквы). Он боролся наперекор всем стихиям и

14 февраля

(к сожалению, во всяком случае, отца) он подписывает у парижского нотариуса Гюйо первую просьбу о разрешении родителей на вступление в брак.

Что теперь с ним станет? Отныне он в ссоре с семьей и берет в жены Офелию вместе с долгами, которые она наделала (четырнадцать тысяч франков – по тому времени крупная сумма). Ему это безразлично! Гектор – истинный мушкетер.

Но, увы, героизма и любви недостаточно, поскольку ими не будешь сыт. Сражаться со шпагой в руке благородно, но существует еще и голод.

Ползать по земле, когда имеешь крылья! Проклятые материальные заботы! Жизнь к Гектору жестока и несправедлива. Но ничто не заставит его отказаться от брачных уз, к которым он

стремится, от тех уз, что, возможно, еще усугубят его невзгоды.

Генриетта[66] должна быть всем обязана ему, ему одному; мало того, она должна принадлежать только ему, принадлежать безраздельно. И, страстно желая принести жертву, которая бы его возвысила, он предлагает ей полученную стипендию, столь необходимую ему самому. Плевать! Что ему стоит обходиться без обеда! Если потребуется, он отдаст ей всю свою кровь до последней капли.

Браво, Гектор, однако на что будет он жить со своей Генриеттой? У них за душой ни су.

Тогда он уходит с головой в устройство торжественного вечера – бенефиса, это должно было уменьшить пыл кредиторов, осаждающих его избранницу. Во всяком случае, так он надеется.

Гектор призывает, уговаривает, донимает своих верных товарищей. Каждый обязан сделать все возможное для бенефиса, хотя он и так обещает быть успешным.

«Но, но, не торопитесь!» – вскричала, должно быть, злая судьба. И несправедливая, глупая судьба еще раз усеяла путь шипами.

1 марта

Генриетта, выходя из кабриолета возле ведомства изящных искусств, поскользнулась и сломала ногу.

Какая трагедия!

«Перелом большой берцовой кости!» – уточнил доктор, поспешивший к несчастной женщине, которая мучилась и кричала. А рядом с ним у изголовья кровати Гектор, как всегда без меры, рыдал, клял, угрожал и взывал к уже давно забытому богу.

II

Но для чего все эти слезы, брань и проклятья? Чтобы разыграть трагедию скорби? О нет, Гектор не был, конечно, лишен экстравагантности, но у него было и доброе сердце. И он это доказал. Воздадим ему должное!

Он осмыслил случившееся несчастье и поклялся, что оно не остановит его. В голове Гектора ни на миг не промелькнула мысль отступить. Он сделался самой внимательной и самой нежной сиделкой. Несмотря на бессонные ночи, лишавшие его сил, он неустанно продолжал хлопотать, чтобы заработать немного денег, немедленно превращаемых в лекарства. И как только микстура оказывалась у него в руках, он спешил, спешил принести ее своей раненой горлице.

Однако Генриетта невольно оказывалась виновницей постигших его треволнений, нищеты и отверженности. Отверженности? Да, он стал парией.

Из всей семьи Гектора ему писала одна Адель, да и то тайком от мужа, судьи Паля, фанфарона и любителя громких фраз, который все знал, обо всем высказывался с апломбом, пересыпая речь афоризмами.

Безобразная карлица, бесчувственная к благородному самоотречению Гектора, опасаясь, как бы он своей преданностью не завоевал окончательно сердце Генриетты, продолжала осыпать его насмешками, поносить и осмелилась даже грубо выталкивать его.

Родные Генриетты, которые жили далеко за морем, считали Гектора эпилептиком.

Ну и пусть! Он весь ушел в самопожертвование.

«Видеть ее страдающей, несчастной и ничего не сделать для нее? Никогда! Чем сильнее будет ее горе, тем больше я буду привязан к ней», – заявлял он.

Он сказал Феррану:

«Если даже она будет покинута небом и землей, я все равно останусь подле нее, такой же пылкий и такой же верный в любви, как и в дни расцвета ее славы».

И Лист, добрый Лист, писал графине д'Агу, в которую с недавних пор был влюблен: «Бедный Берлиоз, как ясно иногда я узнаю себя в нем! Он только что был здесь подле меня. Он плакал навзрыд в моих объятиях».

Искренность его чувства нашла подтверждение в том, что вскоре он подписал вторую просьбу о разрешении на брак, чтобы навсегда связать свою жизнь, устремленную к вершинам, с этой

женщиной, которая опускалась все ниже.

2 апреля (в зале Фавар) состоялся бенефис Смитсон и Берлиоза.

Выручка – 6500 франков. После уплаты гонорара английским актерам и погашения нескольких неотложных долгов обоим бенефициантам остались лишь слезы утешения. И все же, хромая, страдающая женщина получила короткую передышку в денежных заботах.

5 июня

Третья просьба о разрешении на брак. Доктор Берлиоз отказывается принять этот документ, словно может таким образом что-то изменить. Уполномоченный министерский чиновник передает его горничной, открывшей дверь.

Гектор все так же постоянен. Но между ним и Генриеттой то и дело возникают шумные споры. Солнечное небо и согласие сменяются грозами и ссорами. А потом все начинается сначала.

1 августа уже казалось, что все кончено. Но и на сей раз между ними состоялось временное примирение[67].

Но уже в конце месяца, охваченный приступом отчаяния в разгаре новой ссоры, Гектор попытался в ее комнате покончить с собой. Жест, отмеченный романтикой, в которой он знал толк.

«Она упрекала меня в том, – писал он, – что я ее не люблю. В ответ, впав в отчаяние, я принял яд у нее на глазах. Душераздирающие крики Генриетты!.. Предел отчаяния!.. Мой жуткий смех!.. Желание вернуться к жизни при виде необыкновенных свидетельств ее любви!.. Рвотное… Ипекакуана!.. Меня выворачивало два часа! Осталось лишь два шарика опия… Два дня я был болен и выжил» (30 августа).

В самом деле, как могли они избежать столкновений? Они, такие разные даже в выражении нежности.

«Гром и молния! – писал в те дни Гектор. – Как мне сдержать себя? Мои ласки кажутся ей чересчур горячими… Я весь в огне и тем внушаю ей страх!.. Она ранит мое сердце, и меня охватывает ужас!..»

На гладь ледника извергалась бурная, огненная лава.

«Послушайте, – писал он в другой раз, – послушайте, что она ответила мне сегодня утром. «Not yet[68], Гектор, not yet, у меня еще слишком болит нога…» Но разве можно страдать, разве существует боль при опьянении страстью? Если в тот миг, когда она будет говорить о своей любви, мне всадят нож в самое сердце, я не почувствую удара!»

III

Жюль Жанен – верный друг Гектора – в конце концов встревожился. «Куда идет наш неистовый гений?» – спрашивал он себя; и как-то в присутствии их общих товарищей заявил, решительно подчеркивая слова ударами кулака по письменному столу: «Я спасу его, хочет он того или нет!»

И что же он сделал?

Он решил вышибить клин клином, изгнать любовь любовью. Но чтобы Гектор клюнул на приманку, требовалась любовь с ореолом романтики, где наш Дон-Кихот смог бы благородно приносить жертвы, или же любовь, где он играл бы роль спасителя и поборника справедливости; тут не годилась пошлая, обывательская интрижка без искры романтики.

И однажды Жюль Жанен представил Гектору девушку ослепительной красоты, но чем-то напоминающую несчастного, затравленного зверька. Она испуганно озиралась по сторонам, она боялась, что придут, схватят ее и вновь отвезут к истязателю. Ее история была печальна. Несчастное создание купил один старик, который обращался с ней, как с рабыней, и засадил в подвал, чтобы принудить поддаться его ласкам.

Но она – чистая и гордая девушка – ради спасения чести призывала смерть. История целиком в стиле Виктора Гюго того периода.

Узнав о подобной жестокости, Гектор плакал от жалости. Тогда Жюль Жанен предложил ему уехать с девушкой в Германию, где после Италии Гектору предстояло продолжить свое образование, – таково было обязательное требование, предъявляемое высшей администрацией при награждении Римской премией.

Точно неизвестно, проведала ли Генриетта об угрозе бегства своего возлюбленного. Возможно, что и так. Во всяком случае, она сказала, наконец, «да». Услышав об этом, Гектор едва не лишился чувств. А та, другая, мученица-спасительница исчезла.

Жюль Жанен щедро вознаградил «беглянку», согласившуюся добросовестно сыграть эту мелодраматическую роль, однако история ничего не говорит о том, узнал ли когда-нибудь Гектор об этом милосердном обмане.

IV

30 октября

Наконец свадьба. Протестантское бракосочетание в английском посольстве. Среди свидетелей – двадцатидвухлетний

красавец Лист, божественные пальцы которого будут околдовывать клавиатуру, сея восторженные чувства и вызывая преклонение по всей земле. Но никого из родных обоих супругов.

Товарищи Гектора в складчину оплатили расходы по свадьбе, а Тома Гоннэ одолжил своему дорогому другу 300 франков на первые семейные расходы.

Медовый месяц. Куда им уехать? В Грецию, где можно воскрешать в мыслях легендарное прошлое, бродя среди древних развалин, тревожащих душу? В Венецию, чтобы на ласковой лагуне, среди замков из лазури, мрамора и золота мечтать и грезить без конца?

Нет! Уединение было коротким и скромным – в Венсенне.

Чтобы открыться друг другу и понять друг друга, чтобы излить свою нежность и испытать блаженство, два человеческих существа стремятся к перемене места, уединению, покою. В безлюдном Венсенне, среди жалобного шепота теряющих листву высоких деревьев, Гектор и Генриетта нашли печальную, величественную и спокойную природу, гармонично сочетавшуюся с их новыми чувствами.

Осень в трепетной агонии разбрасывала свои таинственные меты по бесконечной ржавчине зыбких ковров. Все молчало, и все говорило.

Между влюбленными супругами ни тени диссонанса, полное слияние душ и тел. Вдали от непримиримой карлицы, от парижского шума и жестоких тревог Офелия расцвела. Теперь она наслаждалась, оценив сердце и гений Гектора. Они садились рядом на лужайке, еще покрытой изумрудной травой, и вечерними часами, когда все замирало в невыразимой неге, она нежно просила его напевать вальс из «Фантастической», чтобы вновь и вновь забыться и испытать восхищение.

И затем на берегу пруда или при луне, когда торжественная ночь, объявшая людей и предметы, изливала свою меланхолию, их настигал волнующий трепет.

«То был шедевр любви, – писал Феррану наш безумный романтик. – Разумеется, – добавлял он, – не много есть примеров столь необычного супружества, как наше…» «И такого счастливого», – мог бы он в то время добавить. Ему казалось, что все создано для его высшего счастья. Он восторгался оттого, что она добродетельно ждала, когда в ее жизнь войдет рыцарь, единственно достойный ее покорить.

Потому что эта женщина тридцати трех лет, актриса, которая, переезжая из города в город, часто встречала на своем пути искушения, сумела уберечь свое достоинство, свою чистоту. На следующий же день после свадьбы Гектор в порыве откровенности

сказал Феррану: «Она была девственна, самая что ни на есть девственная, идеал девственности… Это сама Офелия – нежная, кроткая и застенчивая».

Офелия, Джульетта, Гэрриет, отныне вы госпожа Гектор Берлиоз. Более классическая, более земная, более французская. Тысячи опасных препятствий вставали перед Гектором, одержимым дерзким замыслом, но он в героической борьбе смог, наконец, завоевать вас… вопреки всему.

Мытарства закончены. Будьте же счастливы, господин и госпожа Берлиоз.

Однако сумеете ли вы быть счастливыми? Ведь счастье – это искусство.

V

В конце октября Гектору пришлось возвратиться из Венсенна – кончились деньги. Проклятые деньги, прервавшие очарование и подрезавшие крылья его горлице, жаждущей пространства и полета!

Он обосновался со своей Генриеттой на улице Нев-Сен-Мар.

В Париже Гектор вновь ушел в работу – надо было жить и погасить самые срочные долги, еще увеличившиеся после займа новых сумм ради счастливых дней в Венсенне, на скромную мебель и всякие мелочи, необходимые для молодой четы.

Чтобы выбраться из долгов, Гектор добился нового бенефиса Смитсон – Берлиоз – 21 ноября 1833 года. Но, увы, какое разочарование! Какой холодный и равнодушный, если не враждебный, прием.

Офелия показалась публике тяжеловесной – более того, утратившей чувство меры в своих криках и жестах.

И тем не менее бенефицианты получили две тысячи франков прибыли![69].

Таким образом, он должен был ежедневно присутствовать на каком-нибудь спектакле и давать рецензии. Какая повинность! Сколько похищенных часов вдохновения и творчества, и все ради жалких грошей. Ну что ж! Primum vivere[71]. Суровый закон, который бьет и порабощает. Но никакая работа не смутит Гектора. Он боготворит свою Офелию и чувствует себя счастливым. Гектор понимает, что за счастье должен платить.

1834

Кочевая жизнь в погоне за сменой впечатлений, чтобы лучше расцвели чувства. И поскольку Венсенн оставил у них поэтическое воспоминание, обоих вновь влекло к природе.

Пожив недавно среди деревьев и водных источников, они теперь просто задыхались в одном из сотов, называемых квартирами, в мрачном чреве дома, как две капли воды похожего на все остальные постройки прозаической улицы.

И они устраиваются в кокетливом домике на Монмартре – в сельской местности, возвышающейся над гигантским городом, на самой вершине холма, откуда ночами ничто не мешает в тишине любоваться Парижем и упиваться звездами.

В весенней улыбке набирается поэзии их маленький сад, становясь волшебным от глициний, сирени цвета сумерек и прекрасного дерева, которое лето разукрасит драгоценными каплями крови – вишнями.

А вот колодец, и вдоль его мшистой стенки поднимается веревка, обвивающая скрипящий ворот, весь в сверкающих каплях воды. Разве это не пристанище для романтической души?

Именно здесь познал Гектор подлинное счастье, отсюда, смеясь над своим безденежьем, но работая до изнурения, чтобы его облегчить, он то и дело спускался в Париж и затем весело взбирался в свой рай.

И хотя он терпел поражения, хотя его чернили и не признавали, там был для Гектора единственный в его неспокойной жизни оазис, где он находил тепло и покой. Потому что Офелия полюбила его, полюбила всей своей разбуженной плотью, всем своим увлеченным разумом.

«Приезжайте, – писал он своим друзьям, – чтобы найти покой на природе, нигде так не успокаивающей, как здесь, приезжайте взглянуть на мое счастье, которое я смею считать образцовым».

Ах, как горько покидать это гнездышко, где пригрелась мечта, и погружаться в Париж, в водоворот его сплетен и шума!

Среди слухов, циркулировавших в редакциях, которые он посещал, была, впрочем, одна тема, интересовавшая, его и будившая воспоминания. Воспоминания без ненависти и желчи, еще более заострявшие нежность к Генриетте, его покорной, чувственной и страстно любящей Офелии. Эта тема – любовные терзания Камиллы Мок.

Коварная Камилла Мок, едва освободившись из объятий рыдающего Гектора, с искусным вздохом недоступной богини, сраженной, наконец, любовью, пала в объятия Плейеля.

Скромная, поспешная свадьба – боялись, не появился бы

Гектор; благоразумие требовало торопиться и проявлять осторожность.

Медовый месяц. Камилла под управлением опытной маменьки Мок, регулирующей и размеряющей волнения и порывы, – сама нежность.

…Уплыть на неведомые острова вечных грез… Умереть от избытка чувств… Лететь в пропасть блаженства… Уподобиться влюбленным, разрезавшим одним и тем же клинком руку и смешавшим свою кровь, чтобы освятить клятву.

Короче, она опустошила весь арсенал исступленного романтизма.

И затем без всякого пристойного перехода начались любовные приключения. Камилла, подхваченная головокружительным вихрем, скоро утратила всякую меру. Она могла вдруг щегольнуть связью с очередным поклонником. Называли ее торжествующих любовников, называли претендентов.

Среди победителей у всех на устах имя Альфреда де Мюссе. Перед этим двадцатитрехлетним гением, певцом романтических страданий, столь изысканно рыдавшим над своими горестями, Камилла быстро смирила свою покладистую добродетель. Однако расположение поэта было мимолетной прихотью, длившейся, быть может, всего одну ночь.

Со своей стороны, честный Плейель принадлежал к категории без памяти влюбленных мужей, которые слепы и глухи. Он ничего не видел и не слышал.

Но, к несчастью Камиллы, путь сладострастных утех скользок и извилист. Марион Делорм и Нинон де Ланкло в расцвете чувств всегда оставались изящными богинями прославляемой любви. Они никогда не унижали себя. Камилла же, с самого начала искавшая приключений, не замедлила впасть в пошлость.

А жаль! Ее талант и красота заслуживали большего.

В ту монотонную осень похождения госпожи Плейель, сдобренные пикантными подробностями, давали изрядную пищу сплетникам. Из рук в руки передавали номер «Газет де Трибюно», комментировавшей судебное решение о раздельном жительстве и разделе имущества супругов, которого недавно добился прозревший, наконец, муж. И все же, несмотря на скандальную распущенность жены, владелец знаменитой фортепьянной фабрики[72] Плейель, человек деликатный и благородный, обратился в суд неохотно и с большим тактом.

А ведь, приехав в Италию, ты, Гектор, еще дрожал от ее прощального поцелуя и плакал от воспоминаний.

А ведь ты из-за любви к ней замышлял убить себя, совершив перед тем тройное убийство.

Жертвой твоего израненного сердца должен был пасть и достойный Плейель, как и ты, обманутый ею.

Ты счастливо отделался, Гектор!

Но что уготовила тебе ставшая твоей женой «идеально чистая» Офелия, как ты о ней писал? Посмотрим. У вас слишком разные души, так поймете ли вы друг друга?

II

Теперь их кокетливый садик облагораживают своим посещением Эжен Сю и Эрнст Легуве, Альфред де Виньи, Шопен и многие другие признанные знаменитости. Зачастую сюда поднимается и Жанен, столь независимо высказывающийся о современных актерах и композиторах, сподвижник Гектора д'Ортиг и добрый Гуне, умевший безвозвратно ссужать деньги. Когда угасал день, Шопен садился за рояль и долго-долго играл, передавая самые тонкие чувства. Потом его сменял Лист – прекрасный Ференц, и крылатые, необыкновенные руки летали по клавиатуре, творя чудеса.

Наконец завязывался разговор, продолжавшийся и в разгар бархатной ночи. Мишенью нередко служил «паяц» Россини. Гектор – фанатичный поклонник величественного – еще и еще раз громил его за кружевные, «запудренные» мотивчики в румянах.

Генриетта же молча слушала, восторгаясь гением и энергией своего Гектора.

Ах этот сад! Воспоминания о нем Гектор сохранит до последнего вздоха.

III

Радостное событие – Генриетта ждет ребенка. Гектор в восторге, Генриетта счастлива.

Если зарождение человека – искра, вспыхнувшая от безумной любви, то какое это счастье и какая гордость для родителей, возрождающихся в ожившем чуде!

Само ожидание ткет узор сладостного очарования, отмеченного нетерпением и любопытством.

В часы покоя, когда на глаза Гектора навертываются слезы умиления, он вглядывается в эту женщину, от которой родится существо из их плоти и крови.

Гектор совершенно не думал о тяжелых расходах, которые

навалятся на него после рождения ребенка, хотя королевская стипендия и скудный, шаткий заработок журналиста – все, чем он располагал. Сейчас его воодушевляет и поглощает одна мысль: «Скоро я стану отцом!» И в этой атмосфере душевного подъема он работает, он творит. Что сейчас сочиняет композитор? Новую симфонию «Гарольд в Италии», где с точностью воспроизводит дух своих недавних волнений среди сказочных картин[73].

Май

«Гарольд» закончен. Но, завершая этот шедевр, Гектор с нетерпением ждал нового триумфа. Пресса настаивала на открытии перед ним дверей Королевской академии музыки. А. Геру писал в «Тан»: «Никто не сделал более блестящей заявки на будущее, чем Берлиоз. Было бы жестоко и в то же время смешно проявлять к его кандидатуре осмотрительность, отныне совершенно не оправданную».

Действительно, Опера оставалась для него закрытой. Гектору удалось лишь прочитать перед жюри Комической оперы либретто задуманной им большой оперы, которое он написал с одним своим другом-поэтом.

Единодушный приговор – отвергнуть. И д'Ортиг возмущался и негодовал! «Берлиоз борется подобно Бетховену, – писал он. – Ему преграждают дорогу в театр, ему стремятся запретить концерты в Консерватории. Какая вопиющая несправедливость! Берлиоз не только гениален, но и обладает мужеством. Под этим словом я разумею силу характера, энергичную и непоколебимую веру в себя, которая не исключает скромности и приводит к преодолению всех препятствий… Он будет вами повелевать, господа, и вы подчинитесь…»

Гектор сохраняет спокойствие, взволнованный мыслью об отцовстве и убежденный, что последнее слово останется за ним. Вопреки всему! Поэтому окончание «Гарольда» ничуть не пострадало от этих неудач. «Меня боятся, – заявил наш представитель «Молодой Франции». – Во мне видят подрывателя основ. Мне отказывают в слове, чтобы затем не пришлось одобрить музыку безумца…»

14 августа

Родился маленький Луи. Это произошло после двух дней и двух ночей жестоких мук, когда жизнь самой роженицы постоянно находилась под угрозой, словно скупая природа ради сохранения равновесия желала даровать одну жизнь, оборвав другую.

Запись акта гражданского состояния о рождении желанного

ребенка была произведена домовладельцем и лавочником, торгующим поблизости копченой селедкой.

В семье нежность и восторг: боготворимая мать, отец, сам ставший ребенком, чтобы полнее раствориться в своем чаде.

23 ноября

Первое исполнение «Гарольда в Италии».

Перед избранной публикой, где господствовала, правда, армия берлиозцев в полном составе, еще усиленная Сент-Бевом и Ламенне, «Гарольд» торжествует победу. «Гектора начинают называть «преемником Бетховена»[74].

Второе исполнение состоялось четырнадцатого, третье – двадцать восьмого.

Однако недруги волновались и перешептывались. Еще раз надо было унизить и победить смелого новатора.

На третьем исполнении «Гарольда» случился полный провал. Первую часть приняли довольно тепло, вторую («Шествие пилигримов») заставили повторить, однако сообщник заговорщиков Жирар, дирижировавший оркестром, настолько замедлил затем темп, что арфист растерялся, и пришлось перескочить сразу к последнему аккорду. То была катастрофа. На следующий день Гектор получил вместо утешения анонимное письмо, где после потока грубых ругательств его упрекали в том, что ему недостает мужества пустить себе пулю в лоб[75].

Пустить себе пулю в лоб! Так писать человеку, обогатившему человечество бесподобными творениями! Однако ни Гектора, ни любителей подлинной музыки этот злобный выпад не обезоружил и не лишил мужества.

В «Керубино» можно было прочитать: «Умение ждать – доблесть гения. Не стоит отчаиваться, Берлиоз…» А д'Ортиг вновь заявил: «Этот гениальный артист всей силой своего таланта и воли борется против зависти, ненависти и глупости…»

Не тревожьтесь, господин из «Керубино», Берлиоз не отчаивается никогда. Препятствие лишь стимулирует его, он знает, что сможет его преодолеть.

Между тем супружеская чета покинула цветущее гнездо, взгромоздившееся высоко на холм Монмартра, и обосновалась в доме 34 на улице Лондр. Новые расходы без новых средств. Как найти выход? Генриетта, не собиравшаяся покидать сцену и к тому же терзаемая желанием облегчить положение семьи, выступила 23 ноября, накануне первого исполнения «Гарольда», в только что основанном театре Нотик в пантомиме «Последний час приговоренного к смерти». Однако ни величественная осанка,

ни сила выразительности ее мимики не подкупили публику. Этому провалу суждено было навсегда увести из театра ту, чья великолепная игра некогда покоряла весь Париж.

1835

Денежные затруднения дошли до предела, но тут внезапно объявился спаситель. Им был господин Бертен, могущественный владелец газеты «Журналь де деба» – официоза Луи-Филиппа, газеты, наиболее читаемой во Франции и наиболее распространенной за ее пределами.

Этого могущественного человека называли «изготовителем министров», если не королей. Он мог бы сказать: «Мое кресло стоит трона»[76].

Через корифея критики Жюля Жанена, послужившего посредником, Гектор смог пробиться к этому творцу общественного мнения, чье влияние распространялось на весь двор и самого монарха. И когда в «Деба» освободилось место критика, Бертен предложил вести музыкальную хронику Гектору, ухватившемуся за такую исключительную возможность увеличить свой заработок и занять, по его выражению, «боевую позицию». Потому что он не собирался преподносить спокойные и безучастные очерки и о людях и о произведениях своего времени. О нет! Он был намерен вести тяжелый бой, мужественно, упорно и неустанно сражаться за независимость в музыкальном искусстве, беспрерывно клеймить мнимые, однообразные красивости, не выходящие за рамки тесных канонов.

Во время его долгой работы в «Деба»[77] кое-кто из верховных жрецов гармонии пытался, как принято говорить, образумить «бунтовщика». Не тут-то было! Ничто не могло изменить великого романтика и помешать его исступленному воображению преодолеть препятствия музыкального кодекса, чтобы раскрыть себя в феерических фантазиях. Подчиниться писаным правилам – этому не бывать!

В этом году Гектор уже почти добился места директора музыкальной гимназии, которое должно было приносить ему 12 тысяч франков в год, как он писал Феррану, или 6 тысяч франков, о которых в другом письме сообщал Листу. Но тут взбунтовались неумолимо злобные ненавистники Гектора. И, несмотря на влиятельность Бертена, прекрасный замок рухнул.

«Тьер, – писал Гектор Ференцу Листу, – поступает так, чтобы я потерял это место; он упрямо отказывается разрешить в гимназии класс пения. И в результате заведение, к которому я

намеревался присоединить школу хористов, сейчас пришло в упадок и закрыто. Там дают балы…»

Достоин и упоминания «большой драматический концерт», в котором участвовал Ференц Лист со 120 исполнителями. Неслыханная милость: Король Луи-Филипп забронировал ложу. Но, увы, успех был скромным. Публику как следует обработали интриганы.

1836

33 года.

Новые козни. Провал «Эсмеральды»[78] – произведения дочери властелина прессы мадемуазель Бертен – был злонамеренно поставлен в вину Гектору Берлиозу, совершенно неповинному и неспособному на создание подобной безвкусицы.

Чтобы ознакомиться с событиями, прочтем прежде всего статью, появившуюся в «Ревю де де монд» за подписью Гюстава Планша.

«Утверждают, будто г. Виктор Гюго страстно жаждет пэрства и что он стучится в дверь Академии, только чтобы войти в Люксембургский дворец. На пути к достижению этой двойной цели «Журналь де деба» отнюдь не кажется той поддержкой, которой стоит пренебречь. И отношение г. Бертена к другу дома не назовешь простой благосклонностью…»

Виктора Гюго, Бертена и в ту же кучу, без разбора, Гектора Берлиоза и мадемуазель Бертен. То была новая отравленная стрела, пущенная в композитора.

«Зсмеральда» была впервые поставлена 14 ноября. Нурри исполнял партию капитана Феба и сделал все, что мог, для успеха оперы. Однако, несмотря на то, что были собраны лучшие таланты – Нурри, Левассер, Массоль и мадемуазель Фалькон, – успех «Эсмеральды» был весьма скромен. Спустя месяц после постановки «Эсмеральда» еще подвергалась жестоким атакам. Сами друзья признали затянутость вещи. Сократив ее на один акт, на столько же сократили и скуку зрителей, а милый балет «Дочь Дуная» вознаградил их за неприятности. Но тем дело не кончилось: Нурри, отчаявшись в успехе, отказался от роли Феба. Как-то публика подняла оглушительный шум и не пожелала даже слушать последний акт…

Для клеветников хороши любые средства, и вот Гектор пригвожден к позорному столбу. Но, неизменно оставаясь мушкетером, он сумел промолчать. Разве мог он ответить: «Если опера и плоха, то при чем тут я? Я к ней даже не прикоснулся»?

Он был не способен проявить такую бестактность – дать

пощечину своему покровителю.

Но в письме другу Феррану Гектор написал:

«Я не причастен, абсолютно не причастен к сочинению мадемуазель Бертен, и тем не менее публика упорно считает меня автором арии Квазимодо. Суждения толпы отличаются ужасающим безрассудством».

Дону Базилио годилось все.

1837

I

Год «Реквиема», которым Гектор Берлиоз вновь заявил свой, патент на бессмертие.

Пэр Франции граф де Гаспарен, происходящий из древней, истинно гугенотской знати, имел тогда портфель министра внутренних дел. Он чтил религию, жил мыслями о боге и полагал, что его приход к власти послужит на пользу религии в час ее упадка. Поэтому он и учредил премию в три тысячи франков для ежегодного присуждения молодому композитору, которому поручалось сочинить духовное музыкальное произведение.

И на ком он остановил свой выбор? На Гекторе.

Но почему? Потому что он, тонкий любитель музыки, восхищался этим воинствующим гением, с живой симпатией следя за его упорной борьбой. Занимая ранее пост префекта Изеры, он был знаком с семьей Берлиоза, а один из его сыновей постоянно бывал в доме близкого друга Гектора.

Вот удача! Тем более что по положению о премии государство принимало на себя все расходы при первом исполнении произведения.

Исключительно лестный для Гектора выбор вынудил его с остервенением пробиваться сквозь тысячи препятствий, воздвигнутых ненавистью в союзе с завистью.

Прежде всего инцидент с его врагом номер один – могущественным Керубини. Высший жрец и сам автор реквиема вовсе не намеревался уступить дорогу молодому «фантазеру», пренебрегавшему священными музыкальными канонами.

Он клеветал, плел интриги, заговоры. Напрасный труд! Благодаря «Деба» и г. Бертену молодой Берлиоз (о, чудо!) одержал верх над знаменитым Керубини. Шуму было на весь Париж!

Потом он натолкнулся на враждебность департамента изящных искусств и прежде всего его директора – господина Каве,

заядлого керубиниста, который, не убоясь своего министра, упрямо воздерживался от подготовки решения. Гектор тщетно хлопочет, наконец взрывается и подает жалобу самому господину де Гаспарену. Тот требует, чтобы официальный документ был немедленно же представлен ему на подпись. Волей-неволей пришлось так и поступить.

Теперь все?

Не тут-то было!

Но прежде чем продолжить, укажем на одну черту Гектора, достойную быть упомянутой, – безобидную мстительность, просто ради внешнего эффекта.

Уже оказавшись победителем, Гектор притворился, что верит, будто Керубини сам забрал назад свое произведение – из такта и уважения к молодому сопернику. Комизм положения состоял в полной неправдоподобности. Спесивый Керубини, ныне посвятивший себя духовной Музыке, никогда никому не уступал, будь то царь царей, а кроме того, он смертельно ненавидел Гектора. Последний же самым красивым почерком написал музыкальному властелину:

> «Сударь!
>
> Я глубоко тронут благородным самоотречением, которое толкнуло вас на отказ представить замечательный реквием для церемонии в Доме инвалидов. Примите уверения в моей глубокой признательности. Однако я намерен настоятельно просить вас не думать больше обо мне и не лишать правительство и ваших поклонников шедевра, который придал бы столько блеска торжеству. С глубоким уважением, сударь, преданный вам
>
> Г. Берлиоз»

Разумеется, необычное послание ходило по всем редакциям и среди оторопевших берлиозцев. Гектор ничего не умел делать без шума.

Вполне понятно, почему у него было столько врагов. Вместо того чтобы осторожно нейтрализовать их, он рисовался храбростью и бретерски насмехался над ними.

А Керубини, против которого главным образом и были направлены его атаки, воплощал в себе наисвятейшее, официальное искусство.

Выходец из Флоренции, он двадцати лет поставил в Александрии свою первую оперу «Квинт Фабий», а затем обосновался в «Париже и, приняв французское подданство, поднялся до самых высоких должностей: главного инспектора

музыки, руководителя королевской капеллы, директора Консерватории.

Этот человек мог гордиться своим участием в формировании бессмертных композиторов Галеви, Обера и Буальдье – фанатичного защитника музыки, услаждающей слух, непримиримого врага музыки сильной и поражающей, звучащей разбушевавшейся бурей и смятением страстей. Он резко оспаривал, если не презирал, творения самого Бетховена. Этот спесивый человек держал в своей сильной руке скипетр «здоровой» музыки, музыки «подлинной», пренебрежительно относясь ко всякому признаку фантазии, казавшейся ему мятежной и, следовательно, еретической. Талант, считал он, повелевает быть правоверным. И вот с этим чрезвычайно ограниченным сиятельным сановником ежедневно осмеливался мериться силами безрассудный Гектор. Но последуем за событиями.

II

Гектор понял, что настал ответственный час в его жизни. Он с вдохновением работает. «В первые дни, – писал он своей сестре Адели, – эта поэзия заупокойного гимна опьяняла и возбуждала меня до такой степени, что на ум не пришло ни одной ясной мысли; голова моя кипела, все кружилось перед глазами. Сегодня извержение уже усмирено, лава прорыла себе русло, и теперь с божьей помощью все пойдет хорошо. А это – самое главное!»

Произведение закончено.

Музыка, устремленная ввысь, грандиозна и патетична. Картины фантастических видений. Чудесное произведение должно быть событием века.

«Человеческий род стонет, предчувствуя рассвет судного дня. Внезапно звучат трубы, возвещающие воскрешение, несметные сонмы мертвецов восстают из вековых могил; взывают к Христу души в чистилище, томящиеся в кровянистой грязи дантевских топей; в небе лучистые голоса, божественное сияние, песнь света…»[79].

Начались репетиции. Триста, может быть, четыреста исполнителей. Вскоре, по выражению Гектора, «все настроено как рояль Эрара». И вдруг – проклятие! Тысяча чертей! Выходит министерское постановление об отмене мессы в Доме инвалидов и замене ее обычной службой в нескольких парижских церквах.

Как решился Распарен пойти на подобное вероломство?

Нет, Гаспарен тут ни при чем, он уже не у власти.

Министерство Моле – Гизо пало, и совет министров сам принял такое решение.

Чтобы войти в курс этой «министерской подлости», как назвал это Гектор, стоит прочитать его письмо отцу, с которым он теперь охотно переписывался.

«Господин де Монталиве[80] велел спросить меня, как он может возместить убытки, единственной причиной которых, как он заявил, были политические соображения. Я ответил, что в деле подобного рода невозможно возместить убытки иначе, как исполнением моего произведения.

«Журналь де деба» была раздражена. Арман Бертен направил Монталиве гневное письмо, которое я видел и лично передал. Но все без толку, все те же заявления: «таково решение совета министров и т. д.» и другие фарсы в подобном же вкусе.

Но это еще не все, мне следовало возместить расходы. Господин Монталиве признает их и не намерен отказываться от уплаты. Прежде всего четыре тысячи франков причитаются мне, затем три тысячи восемьсот за переписку нот и, кроме того, расходы за три репетиции хоров по частям. Ведь я готовился, и все шло как нельзя лучше – наслаждение было наблюдать за воодушевлением вокальных масс. К сожалению, мне не удалось дойти до генеральной репетиции, и поэтому я не смог даже ознакомить артистов с грандиозной партитурой, столь сильно возбуждавшей их любопытство. Такое поведение правительства я попросту называю кражей. У меня, крадут мое настоящее и будущее, потому что это исполнение имело бы для меня большие последствия. Ни один министр не осмелился бы во времена Империи вести себя подобным образом, а поступи он так, я думаю, что Наполеон отчитал бы его. Ибо, я вновь повторяю, – это явная кража.

За мной посылают, спрашивают, не пожелаю ли я написать это произведение. Я предъявляю условия (музыкальные), их принимают. Письменно дают обязательство организовать исполнение 28 июля. Я заканчиваю музыку, все готово, но дальше дело не пошло. Правительство считает возможным отречься от важной статьи заключенного со мной договора. Это же злоупотребление доверием, злоупотребление властью, подлость, мошенничество, грабеж.

Теперь я остался с самым крупным из когда-либо мной написанных музыкальных произведений, словно Робинзон со своей шлюпкой: отправить его в плавание невозможно – нужны большой собор и четыреста музыкантов…»

Если бы только против ненависти должен был бороться

Гектор, это еще куда ни шло! Но была и глупость, которую ему нередко приходилось на себе испытывать. Вот деталь, достойная упоминания.

За свой замечательный «Реквием» Гектор получил медвежью похвалу от бравого генерала Лобо, воскликнувшего с искренним восхищением: «Боже мой! Как этот Берлиоз талантлив! И самое великолепное в его музыке – барабаны!» Барабаны! Разве барабан подтверждает гениальность? Несчастный генерал! Остается пожелать, чтобы в военной стратегии он разбирался лучше.

Так обрушилось огромное здание, а с ним развеялась и великая мечта.

III

Шли месяцы. Гектор был раздражен, но чужд разочарованности и уныния. Он не падал духом никогда. Впрочем, однажды тяжелая, мрачная завеса окутала его душу: в покое и славе умер добрый учитель Лесюэр.

В смятение и ярость на время вкрались тяжкие раздумья и скорбь.

Депеша из Тулона сообщила (22 октября), что Константина взята, но генерал Данремон[81] с несколькими солдатами «пал героический смертью» при взятии города». Король приказал захоронить останки генерала в Доме инвалидов и провести траурную церемонию.

Теперь вновь предоставим слово Гектору.

> «Я начал уже терять терпение, – писал он, – когда однажды вечером, выходя из кабинета господина Х, после оживленной дискуссии с ним по поводу моего «Реквиема», я услыхал выстрел пушки Дома инвалидов, возвестившей о взятии Константины. Спустя два часа за мной прислали с просьбой спешно вернуться к министру. Господин Х. нашел способ отделаться от меня. По крайней мере он так думал… Торжественная служба должна была состояться в соборе Дома инвалидов. Церемонией распоряжалось военное министерство, и генерал Бернар, возглавлявший его в то время, согласился на исполнение моего «Реквиема». Такова была неожиданная новость, которую я узнал, придя к господину Х.».

Гром небесный!

«На сей раз я должен победить! – воскликнул Гектор перед своей гвардией, собравшейся на высший военный совет. – Сомневаться означает отступить; отступить – значит не оправдать надежд. Вперед! Наши враги будут повержены в прах!» И после этой воинственной тирады он до изнеможения хлопочет и готовит сообщения для печати, чтобы создать благоприятную почву и попытаться убедить Париж, что совершится чудо[82].

IV

4 декабря – генеральная репетиция, а на следующий день – публичное исполнение.

«В четверть первого дня, наконец, началась церемония. Принцы – сыновья короля, дипломатический корпус, палата пэров и палата депутатов, кассационный суд и сводный корпус из всех родов войск, штаб Национальной гвардии – пестрая разряженная толпа, сверкающая золотом среди огромных черных драпировок. Тут и там, желая быть на виду, сверкают драгоценностями, суетятся и шуршат нарядами модные парижанки. «Панихида, – писали газеты, – привлекла весь Париж – Париж Оперы, Итальянского театра, скачек, балов г. Дюпена и раутов господина Ротшильда»[85]. Собравшиеся не сводили глаз с герцогов – Орлеанского, д'Омаля и де Монпансье.

«Реквием» – эта великая месса, способная пробудить мертвых», – был настоящим шедевром, сотворенным гением.

Первые же звуки предвещали успех, и Гектор думал: «Победа! Победа принадлежит мне!» Однако не торопись, Гектор! Чтобы вынести приговор, ты должен дождаться конца! И действительно, поступок редкого вероломства внезапно поставил под угрозу весь огромный успех. К счастью, Гектор бдительно следил за исполнением, готовый броситься в оркестр. Кто виноват? Сам дирижер Габенек, фанатичный поклонник Керубини.

Гектор писал в «Мемуарах»:

«Когда должна была прозвучать «Tuba mirum»[86] – в тот кульминационный момент, когда руководство дирижера абсолютно необходимо, – Габенек опускает палочку, спокойно достает табакерку и собирается взять понюшку табаку. Я непрерывно поглядывал в его сторону; в тот же миг я быстро повернулся и, оказавшись перед ним, протянул руку и обозначил четыре такта нового темпа. Оркестранты идут за мной, все приходит в порядок, я веду эту часть до конца, и тот эффект, о котором я мечтал, достигнут. Когда при последних словах хора Габенек увидел, что «Tuba mirum» спасена, он сказал мне:

– Я весь покрылся холодным потом. Без вас мы бы пропали.

– Да, мне это хорошо известно, – ответил я, пристально глядя на него.

Я не добавил больше ни слова. Сделал ли он это с умыслом? Возможно ли, чтобы этот человек сообща с господином Х., который меня ненавидел, и с друзьями Керубини посмел замыслить и попытался совершить столь низкое злодейство? Я не желал бы этого думать, хотя и не могу сомневаться. Да простит мне бог, если я к нему несправедлив».

Очевидно, что заговорщики не останавливались ни перед какими преступлениями. И все же «Реквием» имел триумфальный успех; несмотря на все происки, его исполнение завершилось в атмосфере всеобщего восторга. После этого кюре собора Дома инвалидов совершил богослужение, а парижский архиепископ дал отпущение грехов.

Так, несмотря на все трудности, интриги и злодеяния, Гектор заставил исполнить свой «Реквием». Вопреки всему!

Огромное большинство газет признало, что сочинение превосходно.

«Исполнение в целом замечательно, – писала «Монд драматик». – Это произведение ставит Берлиоза в первый ряд среди композиторов духовной музыки, перед таким сочинением врагам Берлиоза остается молчать и восхищаться».

В «Котидьен» д'Ортиг писал: «Гектор Берлиоз усвоил не только духовный колорит, но и традиции христианского искусства.

«Реквием» можно рассматривать как исторический итог музыкальных традиций».

Вот мнение Ги де Пурталеса о «Реквиеме»:

«Крушение мира», «музыкальный катаклизм», где этот безбожник сумел изобразить видения неба и шекспировского, дантова ада… Человек здесь выглядит атомом во вселенной. «Requiem» и «Kyrie», «Dies Irae"и «Tuba mirum» – скульптурные фризы, оркестрованный «страшный суд» и как бы призыв того последнего дня мира, когда должна дрожать земля, рушиться цивилизация, женщины-рабыни протягивать с мольбой руки к тирану до тех пор, пока не явится Спаситель рода человеческого. После «Дароприношения» – «Sanctus»: подъем из глубин на свежий воздух под лазурное небо и к золоту рая, где в окружении ангелов правит всевышний. И в заключение «Agnus Dei» – вечное блаженство…

Не то чтобы Берлиоз прославлял здесь веру, которая ему чужда. Для него это было просто выражением «красоты христианской религии», к которой Берлиоз, как художник, всегда

был горячо восприимчив…»

И вот, наконец, что писал сам Гектор в письме Феррану:

«Люди с самыми противоположными вкусами и привычками были под потрясающим впечатлением. Кюре собора Дома инвалидов после церемонии четверть часа прорыдал в алтаре; продолжая рыдать, он обнимал меня в ризнице. При звуках «страшного суда» ужас был неописуем; с одним из хористов случился нервный припадок. То было воистину устрашающее величие».

Морель в «Журналь де Пари» также без оговорок восхвалял это чудесное произведение. И наконец, самая высокая похвали – от военного министра, сделавшего Берлиозу заказ:

> «6 декабря 1837 года
>
> Сударь!
>
> Я спешу засвидетельствовать вам полное удовлетворение, полученное мною от исполнения «Реквиема», автором которого вы являетесь, только что пропетого на заупокойном богослужении по генералу Дамремону.
>
> Успех этого прекрасного и строгого сочинения достойно отвечал торжественности случая, и я доволен, что смог дать вам эту новую возможность блеснуть талантом, ставящим вас в первый ряд наших композиторов духовной музыки.
>
> Примите, сударь, уверение в моем совершенном почтении.
>
> Пэр Франции, военный министр Бернар».

И наконец, завершающее звено: объявляют, что правительство попросило Шлезингера изготовить партитуру для государства. Таким образом, «Реквием» будет «национальным достоянием». Объявляют также о предстоящем возведении Гектора в титул кавалера ордена Почетного легиона.

Но это не все!

Гектору обещают еще место профессора Консерватории и пенсию в четыре с половиной тысячи франков из фонда изящных искусств.

– Следовало бы в Королевском парке воздвигнуть статую Берлиоза из благородного металла, – иронизировали его враги, в которых ненависть бурлила, словно раскаленная лава.

Другие спрашивали:

– Почему бы не причислить его к лику святых? Но все добавляли:

– Подождем. Посмотрим, что будет дальше! Хулители,

раздираемые завистью, не считали себя побежденными.

«Конститюсьонель» сравнивала Берлиоза с Виктором Гюго:

«Он сочинил симфонии, где можно найти все, что угодно: паломников, колдунов, разбойничьи оргии, хороводы, шабаши, сцены на Гревской площади, наслаждения сельской природой, радости чувствительной и целомудренной души, благодеяния, библейские добродетели, пространство, бесконечность, геометрию и алгебру – одним словом, все, исключая музыку».

«От Бетховена до Берлиоза, – утверждала «Шаривари», – столь же далеко, как от хаоса до сотворения мира».

Газета «Корсар» писала: «Церемония в Доме инвалидов обошлась в семьдесят тысяч франков. Мы надеемся, однако, что на сей раз за слезы не была дана взятка».

«Вчера в Доме инвалидов, – заявила «Шаривари», – «Реквием» уплывал в воздух одновременно с нашими бедными денежками».

«У нас была весьма любопытная штука, – писал Адан своему берлинскому корреспонденту Спикеру 11 декабря, – погребальная месса Берлиоза… Участвовало четыреста музыкантов, и на это ему выделили двадцать восемь тысяч франков. Вы не можете себе представить ничего подобного этой музыке; к большому оркестру были присоединены двадцать тромбонов, десять труб и четырнадцать литавр.

Так вот, все это не производило ни малейшего эффекта; и тем не менее вы увидите, что все газеты, за небольшим исключением, провозгласят эту мессу шедевром. И все оттого, что сам Берлиоз – журналист; он пишет в самой влиятельной из всех газет – «Журналь де деба», а все журналисты поддерживают друг друга».

И вскоре сказалась вся сила контратаки, предпринятой недругами Гектора.

Управление изящных искусств восприняло удивительный успех «Реквиема» как пощечину и попыталось отомстить, сыграв на постоянной стесненности Гектора в средствах:

«И вот я покамест ничего не получил, – писал он отцу. – Военный министр (честный и достойный человек) передал мне десять тысяч франков, предназначенных для уплаты за исполнение моего произведения, так что сейчас уже всем заплачено, *за исключением меня*, потому что, к несчастью, я имею дело с министром внутренних дел. Вчера я отправился в управление, чтобы устроить там сцену, какой я думаю, никогда не видывали в подобном месте. Я велел сказать господину де Монталиве через его начальника отделения, что мне было бы стыдно так обращаться с моим сапожником, как он вел себя со мной, и что если мне не заплатят в самый короткий срок, то я расскажу обо всех подлых махинациях, проделанных со мной в

министерстве, с тем чтобы дать газетам оппозиции обширный материал для скандала. Очевидно, перед исполнением «Реквиема» хотел*и аннулировать решение господина де Распарена и потому «распорядились» моими четырьмя тысячами франков, а попросту говоря, украли их. Тысяча пятьсот франков вознаграждения исчезли из памяти начальников управления изящных искусств, сейчас они говорят, что это было «недоразумением». Никогда еще не видывали шайки более законченных воров и прохвостов. Но мне заплатят, тут нечего волноваться, это всего лишь задержка. Они слишком боятся прессы. Мне говорили об ордене к королевскому празднику в мае. Посмотрим, устроят ли еще одну мистификацию. Впрочем, это меня заботит меньше всего».

«Корсар» же поместил иронический рассказ под заглавием «Четверть часа Раблэ, или цена похоронной мессы».

В нем участвуют министр и композитор. Первый по принуждению приносит поздравления. Тогда второй представляет свой счет:

«За изготовленную и поставленную мною, Гектором Берлиозом, мессу со ста пятьюдесятью литаврами, сорока рожками, шестьюдесятью турецкими колокольчиками, ста валторнами, восемьюдесятью барабанами и тремястами трубами (общим весом две тысячи фунтов меди), включая поставку, по твердой цене, наличными, считая без скидки, причитается 18 000 франков.

– Восемнадцать тысяч франков?! Да вы шутите, мой дорогой! – вскричал министр.

– Я не способен на это, монсеньер.

– Восемнадцать тысяч франков – за вашу кухонную утварь?!

И поскольку министр отказывался уплатить по счету, композитор сказал:

– Тогда не сочтите за обиду, что я выскажусь в фельетоне в «Деба» о том способе, каким вы поддерживаете искусство!

– Милый друг! Что вы, что вы? Успокойтесь! Вам нужно именно тридцать шесть тысяч франков? Вот чек на Жерена. Мы возьмем эти деньги из сумм, предназначенных на одеяла для бедных, которые собирались раздавать зимой. Ох уж это искусство!!!»

18 февраля скончалась мать Гектора.

После бесконечных хлопот и угроз вознаграждение все же было выплачено; Керубини и служившее ему ведомство были повержены. Однако с тех пор во всем Париже шла подготовка к бою. Были призваны в ополчение злобные ненавистники, задетые «Деба»: завистники и весь этот жалкий мир жил лишь ради

блестящего реванша, жестокого и беспощадного. Все они вербовали сторонников, словно в выборной кампании, и распространяли желчь, как распределяют хлеб или молоко.

Пора было покончить с «самозванцам». – Не объединились ли все эти ядовитые змеи? Гектор не получил ни ордена Почетного легиона, ни места профессора в Консерватории, ни пенсии в 4500 франков из фонда изящных искусств.

Ничего, ровно ничего!

Дон Базилио снова торжествует.

V

Гектор хорошо понимал, ясно осязал ту коварную кампанию, что проводили против него и днем и ночью, но она не пугала его. Он видел в ней подтверждение своей выдающейся роли в музыкальном мире, и потому его лишь развлекали подобные выпады злопыхателей.

– Вы предрекаете самое худшее, – бросал он своим желчным врагам, удваивая их ненависть. – А мне это безразлично! Я поднимусь выше всех, и мои заслуги только увеличатся, если вместо пистолетов вы отныне возьметесь за пушки! – Пауза для большего эффекта, а затем раздельно: – Запомните хорошенько: на своем пути я сломаю любое сопротивление.

И если некоторые керубинисты осмеливались возражать ему: «Не играйте с огнем, вы можете скоро об этом пожалеть», – то Гектор пренебрежительно пожимал плечами.

Но, увы, готовилось большое, жестокое поражение, подлинный разгром, который позже назовут исторической несправедливостью. Ряды врагов Гектора росли. Милая публика, приведенная в смятение и обманутая, та публика, что властна определять успех или поражение, еще продемонстрирует свою враждебность к буйному Гектору – его считают одним из прислужников Бертена, повсюду посаженных их вожаком. Борьба не на жизнь, а на смерть – жажда победы, пусть даже ценой гибели гения.

«Довольно их наглости и своеволья! Хватит высокомерия и бахвальства! Долой Берлиоза и его Бертена!»

Посмотрим, добьются ли они своего.

1838

Год «Бенвенуто Челлини»[88] по либретто Огюста Барбье и Леона де Войн (последний заменил Альфреда де Виньи). Первые неприятности: в мае Гектор получил высокую должность в

Итальянском театре, который пользовался хорошей репутацией и привлекал много парижской публики.

Враждебная пресса немедля начала утверждать, будто Гектор испросил подобную милость для того лишь, чтобы ставить на этой сцене оперы мадемуазель Бертен, столь плачевно провалившейся со своей «Эсмеральдой».

Проберлиозовская «Газет мюзикаль» немедленно парировала:

«Руководство Итальянским театром только что предоставлено на пятнадцать лет нашему сотруднику г. Берлиозу. Одна четкая статья категорически запрещает исполнение на сцене Итальянского театра произведений французских авторов. И потому некоторые газеты лишь для красного словца обвиняли министра в предоставлении сей привилегии мадемуазель Бертен, поскольку дочь владельца «Журналь де деба» никак не сможет написать оперу для этого театра в течение всего времени руководства г. Берлиоза».

Так или иначе, но Артур Кокар, сведущий биограф Берлиоза, не мог поручиться, что последний оставался у власти хотя бы пятнадцать дней и, во всяком случае, что он имел время составить акт о принятии директорства.

Почему? Клевета приносила плоды.

Второе разочарование было мучительным; оно останавливало взлет творческой мысли Гектора, хуже того – сеяло у композитора сомнение в собственном таланте.

Гений неповторим, талант приспосабливается к обстоятельствам. Итак, гений – свободный полет, талант – оковы. Итак, гений – безумен, талант – мудр. Но, увы, часто даже посредственный талант опережает гения; первый слепо подчиняется канонам и традициям, тогда как второй, сознавая свое превосходство, стремится возвыситься над ними.

Гектор насмехался над талантом. От таланта, считает он, слишком несет свечкой. Он ощущал себя существом исключительным, стоящим выше музыкальных законов, подобных цифрам, которые складывают для получения точного итога; он презирал своды тех правил, что обуздывают вдохновение – райскую птицу, порхающую в краях, ведомых ей одной, И вдруг мучительный провал поколебал его уверенность.

Настал злосчастный день 10 сентября: зал Оперы напоминает поле битвы э час, когда воины готовятся к бою. Словно восемь лет назад на великой премьере «Эрнани», зрители, заняв свои места, едва открылись двери, обмениваются взглядами; одни бросают вызывающе: «Посмотрим, посмотрим!», другие спрашивают: «Триумф или же полный крах?»

Равнодушных нет. Ведь уже в течение многих недель

ежедневно разжигают страсти статьи, которые либо курят Гектору фимиам, либо смешивают его с грязью.

По Парижу ходит гнусный памфлет на Гектора, подписанный Жозефом Мензе, а Фредерик Сулье в «Деба» вещает о том, что Гектор должен занять место в ряду гениев музыки.

Уже недели имя Гектора у всех на устах. Знаменитый Дантан[89] только что написал его портрет в «Кругу современных знаменитостей», среди самых великих людей: Бальзака, Паганини, Галеви, Александра Дюма, Виктора Гюго. Этот портрет-шарж был выставлен на всеобщее обозрение.

Торжественный, патетический момент: спектакль начинается, все взгляды прикованы к поднятой дирижерской палочке. Несется несколько чарующих звуков, затем поднимается занавес. Увертюра вызывает восторг публики – и та разражается долгими аплодисментами.

Заволновавшиеся керубинисты спрашивают друг друга: «Неужели сюжет настолько вдохновил Гектора Берлиоза, что увеличил его возможности и преобразил саму его природу?»

Неужели пропадет даром вся поднятая шумиха?

В самом деле, как странна и противоречива личность Бенвенуто, панского ювелира! Весьма подходящая фигура, чтобы воспламенить трепетный романтизм Гектора. Бенвенуто весь пронизан героизмом, искусством и гениальностью, мятежным духом против установленных правил и любовью к смелым странствиям. Всю жизнь между преступлениями он лепил и высекал скульптуры. Так же, кая Франсуа Вийон между двумя злодеяниями, сулившими ему виселицу, сочинял стихи, где мелодично сочетались нежность и скорбь.

После поры убийств, разгула и поразительных подвигов Бенвенуто был заключен в форт Санто-Анджело за кражу золота и драгоценностей из папской казны во время осады Рима бурбонским коннетаблем. И, однако, в суровые часы нападения врага он покрыл себя славой, защищая родину.

И вот благодаря кардиналу де Ферраре я покровительству Франциска I он выпущен на волю.

Этот король-артист, друг Леонардо да Винчи, приглашает его во Францию, где вскоре щедро осыпает необычайными милостями, предоставив ему годовую пенсию в 900 золотых экю, пожаловав гражданство, почетный титул сеньора дю Пети-Нель и в пожизненное владение замок того же имени. И это вору и убийце – завидная судьба!

Но, вечно живя в состоянии возбуждения, Бенвенуто так и не сумел снискать доброго расположения герцогини д'Этамн, в конце концов объявившей ему войну. И он должен был уступить дорогу

Приматиччо. Но не стоит печалиться о нем, так как по возвращении во Флоренцию он немедля получил достойную компенсацию: покровительство герцога Козимо Медичи, для которого он создал в числе других свою знаменитую бронзовую статую Персея. Все сильные мира умели входить в сделки с гением, вселившимся в этого разбойника. На склоне лет он написал «Мемуары», где цинично выставил напоказ свои причуды, пороки и преступления, и читателя потрясает такое повествование – неисчерпаемый источник для писателя и композитора.

Но возвратимся в театр.

У смутьянов беспокойство сменяется тревогой, потому что публика продолжает внимательно слушать и аплодировать.

Но нет, вы не проиграли этой партии. Повремените, господа заговорщики.

«Продолжение плачевно… Посредственные декорации, затем первая, тривиальная сцена, изобилующая разговорными выражениями: «Моя трость и моя шляпа…», «Я буду словно леопард…» – короче, плохое впечатление, потому что подобная фамильярность в Академии музыки не допускалась. Первые протестующие выкрики. Изысканная публика необъяснимо застенчива. Я вспоминаю, как на премьере «Намуны» деликатных зрителей возмутила картина праздничной ярмарки. В тот момент, когда трубы выдували сверкающие звуки, раздался общий вопль негодования. Я и сейчас еще слышу, как чрезвычайно элегантный молодой человек из первой ложи, которую я мог бы указать, в конце первого акта выкрикнул пронзительным голосом этакую презрительную фразу, долетевшую до половины партера: «Интересно бы знать, в Опере мы или на ярмарке в Сен-Клу?»[90] Да, публика 1838 года не принимала трости и шляпы папского золотых дел мастера. Опера началась неудачно. А можно утверждать, что в девяти с половиной случаях из десяти, если начало спектакля проходит плохо, то он бесповоротно провалится. Публика – существо в высшей степени нервное и впечатлительное, ее трудно повернуть вспять. Прежде чем окончилась первая картина (всего их было четыре), поэма была обречена.

Что музыка? Если терпит крах либретто, оно тянет за собой и партитуру. Одним словом, топанье, свист… Потом вдруг вопли, звериный пой, шутовские выкрики… все вплоть до чревовещания[91]. Сам Дюпре пел неуверенно, его товарищи были этим деморализованы…

Словом, битва была проиграна! Похороны по первому разряду[92].

В действительности основным виновником этого невероятного провала был Дюпре, о чьих подозрительных связях с врагами Гектора стало известно задним числом.

Согласимся, что либретто, может быть, и содержало слишком много реалистических деталей. Обычай требовал, чтобы опера была отмечееа благородством, а тут говорилось о будничных вещах. Произведение запятнали простолюдины и тривиальность. Слишком материально, слишком весомо, чересчур точно. Беллини справедливо говорил: «Текст оперы хорош, только если он лишен точного смысла».

Но разве музыка своей красотой не сглаживала такой недостаток?

Каковы бы ни были причины, результатом была полная катастрофа!

Бесконечные для Берлиоза часы… Крики, смех, редкие аплодисменты во враждебно настроенном зале… Вся его жизнь внезапно разбита… Пятнадцать лет борьбы, труда, таланта – ив завершение шумное, страшное падение. Конец всему…

После спектакля принято объявлять имя автора. Объявлять ли? Его друзья смело требуют этого. Протесты, свист… Имя Берлиоза тонет в общем шуме»[93].

– Неужели их сообщник… – Но богохульство застряло у него в горле.

Хотя Гектор и похвалялся своим безбожием, в нем неосознанно жила вера.

Послушаем, однако, что говорила пресса. На сей раз воздадим ей должное. Огромное большинство газет протестовало против этой чудовищной несправедливости. Оставив в стороне посредственное либретто, печать славила достоинства страстной, яркой, проникновенной музыки, мощной оркестровки. И, несмотря на провал, осмелилась утверждать: «Это шедевр!»

В «Журналь де Пари» Огюст Морель заявил, что музыка, которой он восхищался, подавляла посредственное либретто «всем весом своего огромного превосходства».

Морель в «Котидьен» писал, что опера «Бенвенуто» стоит того, чтобы публика принимала ее всерьез, судила о ней вдумчиво и не выносила ей приговора после первого исполнения».

Теофиль Готье высказался так: «Большая предвзятость едва ли возможна».

Лист утверждал, что эта музыка была явно лучше тех произведений, что имели блестящий успех в ту же пору[94].

О чем кричали враги, авантюристы пера?

«Шаривари» писала, что опера «Бенвенуто» была навязана дирекции нашего первого музыкального театра приказом управления внутренних дел и канцелярией его величества короля Бертена I».

В «Карикатюр провизуар» литография Рубо изображала автора «Мальвенуто Челлини»[95].

Театральная газета «Псише» взамен отчета посвятила опере лишь одно слово: «Увы!»

«Королевская академия музыки
«БЕНВЕНУТО ЧЕЛЛИНИ»
Увы!»

Но если дилетанты – россинисты или керубинисты – ликовали при чтении этих пасквилей, то защитники Гектора неослабно продолжали восхищаться «Венвенуто».

Гектор впервые почувствовал себя обиженным жизнью, он считал этот провал совершенно незаслуженным.

Он писал Феррану: «Описать те происки, интриги, распри, споры, битвы, брань, которые родило мое произведение, невозможно».

И верно, никогда еще разгул низких страстей не достигал такой силы, справедливость была забыта.

Нужно уметь сносить несправедливости, Гектор, до того дня, покуда не станешь достаточно сильным, чтобы чинить их самому, а потом нужно быть достаточно благородным, чтобы их не допускать.

Утешься, Гектор, в былое время, когда был исполнен в Опере «Демофон», твой торжествующий ныне недруг Керубини испытал столь же большой провал (хотя против него и не чинили козней)[97]. А с тех пор…

Однако нужно ли призывать Гектора к мужеству? Он повержен, на миг смущен, но вое равно непоколебим, он никогда не отречется от борьбы, он никогда не согласится стать на колени.

Некоторые только и мечтали его извести, уповая на то, что он бросит сочинять музыку. О, как мало они его знали! Музыка – это он весь, весь безраздельно.

И в самом деле, вскоре, собравшись с силами, он воскликнул:

– Тысяча чертей! Вам меня не одолеть! Я еще поборюсь! И я восторжествую… вопреки всему!

И вот.

16 декабря,

как бы бросая вызов, он снова дал концерт, где были

исполнены «Гарольд» и «Фантастическая». Разумеется, чтобы отвести удар, он должен был мобилизовать боевой строй поэтов – своих постоянных приверженцев, готовых защищать и атаковать, но факт остается фактом – он добился весьма убедительного успеха.

Во время «Гарольда» публика сосредоточенно внимала пилигримам, и казалось, будто раздаются их ритмичные шаги по земле; паломники в нежных сумерках пели вечернюю молитву, а потом пифферари[98] наигрывали серенаду, от которой таяли сердца; публику восторгал бурный финал, где разгулявшиеся разбойники искали в оргжях смелости и забвения. Публика тепло аплодировала ритмичным фантазиям «Фантастической симфонии», богатству мелодий, переполнявших Гектора, тем находкам оркестровки, что несли печать их гениального ваятеля.

Но что это вдруг произошло?

Раскаялась ли судьба, устыдившись своего злодеяния?

Случилось событие, которое действительно имело в жизни Гектора решающее значение, поскольку принесло ему одновременно и значительную материальную поддержку и музыкальный приговор ни с чем не сравнимой ценности. Спасение у самого края пропасти.

Когда, окончив дирижировать, под защитой своей «старой гвардии», полной решимости контратаковать, он положил палочку и закрыл партитуру, внезапно какой-то мрачный человек, расчистив себе проход среди музыкантов и инструментов, бросился к нему: «Эй, что там еще придумали?» «Старая гвардия» приготовилась ринуться вперед. Но тут призрак попытался произнести замогильным голосом:

– Это чудо! Чудо!..

Все вытаращили глаза, затем раздался крик:

– Паганини! Паганини!

То действительно был он. Взяв Берлиоза за руку, он увлек его для большей торжественности на сцену и перед музыкантами и теми, кто еще оставался в зале, стал на колено и, сделав огромное усилие, заявил великому французскому композитору:

– Я переполнен волнением и энтузиазмом. Вы пошли дальше, чем Бетховен.

Величественный момент, когда гений склоняется и опускается на колени перед гением. Берлиоз не верит своим глазам. Перед «старой гвардией», перед его музыкантами, обменивающимися удивленными взглядами… Какой достойный реванш за злословие, ненависть и необоснованное пристрастие!

Мог ли кто сказать, что Паганини невежда в музыке или

расточитель фимиама. Он не слыл ни тем, ни другим, но был музыкальным авторитетом, скупым на похвалы. Паганини, впрочем, не пожелал ограничить этим выражение своего восхищения.

На следующий день Берлиоз в письме к отцу так рассказал о том, что произошло дальше:

«Это не все. Только сейчас, пять минут назад, его сын Ахилл, очаровательный мальчик, пришел ко мне и передал от своего отца письмо и подарок – двадцать тысяч франков…»

В письме говорилось:

> «Мой дорогой друг, Бетховен умер, и только Берлиоз может его воскресить. Насладившись вашими божественными произведениями, достойными такого гения, как вы, я считаю своим долгом просить вас принять в знак моего уважения двадцать тысяч франков, которые будут выданы вам господином бароном Ротшильдом незамедлительно по предъявлении приложенного документа.
>
> Прошу вас считать меня вашим преданнейшим другом.
>
> Никколо Паганини
>
> Париж, 18 декабря 1838 г.».

«Я привожу факт, и только», – писал Берлиоз в своих «Мемуарах». Потом, не в силах сдержать желание с кем-нибудь поделиться, он описал сестре свое посещение благодетеля.

«Я нашел его одного в большом холле Нео-Терм, где он живет. Ты, очевидно, знаешь, что вот уже год, как он совсем потерял голос, и без посредничества сына его очень трудно понимать.

Когда он меня увидел, его глаза заволокло слезами (признаться, у меня тоже готовы были политься слезы). Этот свирепый людоед, женоубийца, отпущенный на свободу каторжник – как говорили о нем сотни раз – заплакал, он плакал горючими слезами, обнимая меня.

– Ни слова больше об этом, – сказал он мне, – я здесь ни при чем. То была самая глубокая радость, самое полное удовлетворение, какое я испытал в жизни; вы вызвали во мне эмоции, о которых я не подозревал, вы продвинули вперед великое искусство Бетховена.

Затем, вытерев глаза и стукнув рукой по столу со странным взрывом смеха, он начал что-то говорить скороговоркой, но, поскольку я его больше не понимал, он пошел за своим сыном, чтобы тот переводил. И с помощью маленького Ахилла я понял.

Он говорил:

– О, я счастлив, меня переполняет радость при мысли, что весь тот сброд, пером и словом выступавший против вас, присмиреет, так как не сможет сказать, что я ничего в этом не смыслю, да и слыву я человеком, которого нелегко пленить».

Удивительная щедрость Паганини к Берлиозу вызвала всеобщее изумление. Сначала она питала газетные хроники, затем ее отзвуки облетели всю Францию и, наконец, распространились по Европе.

Свершилось чудо! Жюль Жанен, самый ярый враг Никколо, публично принес повинную. Под его пером в «Деба» дифирамбы пришли на смену памфлетам.

«Кто бы мог подумать, – писал он, – что именно этот человек даст вам великий пример щедрости и справедливости?! В этот час в Париже Паганини – единственный, кто сохранил благородные традиции Франциска I». Вслед за ним многие пересмотрели свое суждение о скупости и эгоизме итальянского чародея. Завоюет ли, наконец, Паганини растроганные, восхищенные сердца, охваченные раскаянием? Нет, потому что вскоре зашипела в воздухе змея сомнения и подозрения, несущая смертоносное жало.

Сомнение: «А был ли сделан дар? Разумеется, басня. Да и может ли быть иначе? С чего бы демон внезапно превратился в ангела? К тому же почему это подношение было совершено с такой скромностью, почти тайно? Почему этот жест был сделан в присутствии небольшого числа музыкантов и служащих, а не несколькими минутами раньше, перед людным собранием парижской публики – свидетеля неопровержимого из-за своей многочисленности. Из деликатности? Чтобы оградить достоинство получившего дар? Паганини никогда не поднимался до столь высоких сфер тонких чувств».

Подозрение: «Каким побудительным мотивом руководствовался неожиданный меценат?» Некоторые полагали, что заносчивый Никколо, издевавшийся над общественным мнением и оскорблявший его, якобы сделал свой подарок, как платят тяжелую, подневольную подать, чтобы заручиться благосклонностью великого города.

Лист, окруженный за высокие моральные качества ореолом всеобщего уважения и восхищения, держался этого мнения. Однако Паганини после этого нашумевшего дара никогда более не выступал в Париже. Значит, это предположение следует отвергнуть.

И тем не менее враги Берлиоза и преследователи Паганини приняли именно этот тезис. Поэтому они направляли свои

ядовитые стрелы против выдающегося критика из «Деба». И поскольку его антипатию к Паганини ранее можно было сравнить лишь с религиозным фанатизмом, в эволюции Жюля Жанена они усматривали отступничество.

«Quantum mutatus ab illo[99], – воскликнул один неумный негодующий журналист и, чтобы дискредитировать Жюля Жанена, поместил рядом с новой похвалой «свежеобращенного» литератора хлесткий отрывок из статьи, вышедшей из-под пера того же Жюля Жанена и появившейся несколькими годами раньше в той же «Журналь де деба».

«Этот человек, – писал знаменитый хроникер, – не имеет права увозить из Франции столько денег, пока во Франции так велика нищета, так много нуждающихся в помощи!.. Пусть осуществятся наши угрозы! Пускай господин Паганини убирается, унося с собой всеобщее презрение.

Пусть каждый поможет ему в пути, чтобы у него не отняли дорогих ему денег! Пусть трактирщики берут с него меньшую мзду. Пусть он платит в дилижансах за полместа, как ребенок младше семи лет; пусть кучера остерегаются просить у него чаевые; пусть его путешествие будет счастливым, как он того желает; но пусть в пути никто не захочет ни увидеть его, ни услышать, пускай его скрипка, звучащая, лишь когда она полна золота, будет проклята и обречена на безмолвие! Пусть этот человек пройдет незаметно, как последний разносчик фальшивых вин или уцененных книг. Такова будет его кара».

И вновь ничто не трогает Паганини, он так и не вышел из себя.

По другой, не менее правдоподобной версии он был лишь подставным лицом щедрого человека, восхищавшегося композитором и желавшего выказать тому свою признательность; называли имя Бертена, владельца «Деба», чья дочь сочинила для Оперы «Эсмеральду», поставленную Берлиозом в 1836 году. Кроме того, в записке Ротшильду, написанной во вторник восемнадцатого с распоряжением кассиру «выдать предъявителю сего г. Гектору Берлиозу 20000 франков – вклад, внесенный мной вчера», не позволяет ли слово «вчера» заподозрить, что семнадцатого Жюль Жанен, Бертен и Паганини подготовили сенсацию завтрашнего дня? Grammatici certant[100].

Тайна осталась неразгаданной.

Некоторые рассуждали так:

Паганини, безучастный к людям, испытал, однако, притягательную силу Берлиоза, как и он, грозового музыкального гения, которого также осаждали враги, обливая грязью. И тот и другой остались самими собой и за чертой смерти. Когда Берлиоз

умер и его бренные останки везли на кладбище, чтобы впервые он вкусил покой, забывшись вечным сном, лошади понесли, и его гроб натолкнулся на находящуюся рядом могилу, как бы предупреждая своего вечного соседа, что возле него угасающая молния обращается в мрамор.

Однако могла ли одна только притягательная сила объяснить такой порыв Паганини? Берлиоз никогда не слышал игры Паганини и, стало быть, не мог высказать ему своего восторга и тем растрогать виртуоза. Паганини же до этого видел Гектора Берлиоза лишь дважды. Вот в подтверждение выдержки из «Мемуаров» самого Берлиоза, где он затрагивает эти два обстоятельства.

«К сожалению, я знаю только понаслышке о безмерной музыкальной силе Паганини. По роковому стечению обстоятельств он никогда не выступал во Франции, когда я там был, и должен с огорчением признаться, что, несмотря на тесные связи, которые я имел счастье с ним поддерживать в последние годы его жизни, я никогда не слышал его игры. После моего возвращения из Италии он играл в Опере единственный раз, но, прикованный к постели тяжелым недугом, я не смог присутствовать на этом концерте, последнем, если я не ошибаюсь, из всех, что он дал».

Таким образом, по первому поводу никаких сомнений. По второму Берлиоз высказался так:

«Фантастическая симфония» снова была включена в программу, она вызвала бурные аплодисменты всего зала. Успех был полным, честь была восстановлена. Мои музыканты сияли от радости, покидая сцену.

Наконец, в довершение моего счастья, когда разошлась публика, длинноволосый человек с пронзительным взором, странным и изможденным лицом, одержимый гением, колосс меж великанов, которого я никогда раньше не видал, но глубоко взволновавший меня с первого же взгляда, ждал меня в опустевшем зале; он остановил меня в проходе, чтобы пожать мне руку и осыпать горячими похвалами, воспламенившими мне сердце и голову. То был Паганини.

…Спустя несколько недель после реабилитировавшего меня концерта, о котором я только что говорил (22 декабря 1833 года), Паганини пришел ко мне:

– У меня есть чудесный альт, – сказал он, – великолепный инструмент Страдивариуса, и я хотел бы выступать с ним перед публикой. Но у меня нет музыки ad hoc[101]. Не смогли бы вы написать соло для альта? Такую работу я могу доверить только вам…

И чтобы сделать великому виртуозу приятное, я попытался написать соло для альта, но соло, сочетавшееся с оркестром таким образом, чтобы ничуть не урезать его воздействия на инструментальную массу… При виде пауз альта в аллегро Паганини сказал:

– Это не то, я слишком долго молчу!

Через несколько дней, уже страдая недугом, он уехал в Ниццу, откуда вернулся лишь спустя три года.

Признав, что мой план сочинения ему не подходил, я задумал написать для оркестра ряд сцен, где альт соло включался бы как более или менее активный персонаж, сохраняющий постоянно собственный характер; я хотел, вставляя альт в поэтические воспоминания о скитаниях в Абруццах, сделать из него как бы меланхолического мечтателя в духе байроновского Чайльда Гарольда. Отсюда и название симфонии: «Гарольд в Италии».

Всего две эти встречи.

Но независимо от объяснений, оплошность Паганини низвела его великолепный жест до уровня корыстного расчета. Действительно, Никколо заявил:

«Я сделал это ради Берлиоза и ради себя. Ради Берлиоза, так как видел гениального молодого человека, чьи сила и мужество, наверное, разбились бы в конце концов, в той ожесточенной борьбе, какую ему приходилось каждодневно вести против завистливой бездарности и невежественного безразличия, и я сказал себе: «Нужно прийти ему на помощь!» Ради себя, потому что позднее мне воздадут за это должное и когда станут перечислять мои права на музыкальную славу, то не самым последним будет то, что я первым сумел распознать гения и вызвать к нему всеобщее восхищение».

Однако оставим в покое скрытые мотивы.

«Эти двадцать тысяч франков обеспечили Берлиозу три года беззаботного творчества, свободы, счастья и создание нового шедевра – симфонии «Ромео и Джульетта»[102].

Берлиоз, который вел жестокую борьбу против предвзятости и зависти и против одолевавшей его нужды, испытывал, по-видимому, искреннюю признательность к своему благодетелю. Однако он уклонялся от разговоров о спасшей его щедрости, наделавшей столько шума. В своих «Мемуарах» он сдержанно высказался по поводу этого события, столь важного в его жизни.

«Очень часто и настойчиво, – писал он, – меня просили рассказать во всех подробностях эпизод из жизни Паганини, ставшего моим добрым гением. Различные случаи, далеко выходящие за пределы обычных путей жизни артистов, которые

предшествовали главному факту и последовали за ним, ныне всем известны, но скажи я о них, они вызвали бы, видимо, живой интерес. Однако легко понять то смущение, какое я испытал бы при таком рассказе, и вы простите мое умолчание.

Я не считаю даже нужным опровергать те нелепые намеки, глупые недомолвки и ложные утверждения, вызванные благородным поведением Паганини при обстоятельствах, о которых я говорю».

Однако, несмотря на такой лаконизм, о признательности Берлиоза свидетельствуют та сердечность и то терпение, которые он – всегда такой нетерпеливый – проявлял по отношению к Паганини, необратимо потерявшему голос. Гектор сопровождал его в поездках по столице, постоянно оказывая ему много внимания. Впрочем, послушаем его самого:

«Горловая чахотка настолько прогрессировала, что он совсем потерял голос, и с этих пор вынужден был почти полностью отказаться от всякого общения с людьми. Только приблизив ухо к его рту, можно было с трудом разобрать некоторые слова. И если мне случалось прогуливаться с ним по Парижу в солнечные дни, когда у него появлялось на то желание, я брал с собой альбом и карандаш. Паганини несколькими словами записывал тему для разговора, и я развивал ее насколько был способен, а он, время от времени беря карандаш, прерывал меня, записывал мысли, часто очень оригинальные в своем лаконизме. Как глухой Бетховен пользовался альбомом, чтобы воспринимать мысли друзей, так и немой Паганини употреблял его, чтобы передавать собственные»[103].

Будем справедливы. Берлиоз защищал Паганини со всем своим природным пылом, однако и он сам тоже не был защищен от ударов. Кроме того, он чувствовал себя неловко.

1839
Год «Ромео и Джульетты»

I

Благодаря щедрому дару внезапно объявившегося защитника справедливости чародея Паганини Гектор, освобожденный от материальных забот, дотоле его не щадивших, смог спокойно посвятить себя сочинению музыки. Он мог внимательней вслушиваться в свою душу, чтобы лучше и полнее ее раскрыть, и он создал бесценную жемчужину – «Ромео и Джульетту».

Произведение по духу было близко его душевному состоянию

того времени – менее бурное, более мечтательное. В нем вдруг появилась склонность к созерцательности; перед мысленным взором, словно тени прошлого, проходили осаждавшие его трудности, причинявшие ему страдания, подло «зарезанный» «Бенвенуто». Он видел безвременно умершую мать; а ему так хотелось, чтобы она рано или поздно стала свидетельницей его окончательного торжества. Потом он вспомнил своего юного брата Проспера, восемнадцати лет приехавшего в Париж и недавно угасшего в семейном пансионе на улице Нотр-Дам-де-Шан, куда Гектор его устроил. Бедняжка Проспер покинул землю, как и прожил, – без борьбы, без шума, не оставив ни малейшего следа, словно дуновение ветерка. То был очаровательный юноша, которого Гектор почти не знал. Проспер горячо восхищался своим великим братом, «подобным льву». Как-то, возвратившись в Кот, он исполнил наизусть на рояле большие фрагменты основных тем из «Бенвенуто», он защищал оперу со всей неистовой страстностью своей хрупкой натуры.

Образ брата, возникая, будил в Гекторе благоговейные и нежные воспоминания. Так, в мыслях вновь преходила перед ним вся жизнь.

В апреле

Адель Берлиоз вышла замуж за нотариуса, господина Марка Сюа, который пописывал милые стишки. В противоположность судье Палю он искренне восхищался Гектором.

Бедный доктор Берлиоз! Его жена умерла, Гектор давно уехал, не стало милого Проспера, столь способного к музыке и математике, обе дочери вышли замуж. Он одиноко жил в своем доме, казавшемся ему более просторным и более суровым, чем монастырь, более мрачным, чем кладбище. Ночами среди ставших привычными призраков он погружался в горестные воспоминания.

Гектор думал и об этом достойном старике – подлинно образцовом отце.

Наконец, Гектора печалили каждодневные мелкие драмы в его семейной жизни.

Гэрриет, терзаемая теперь мрачной ревностью, непрерывно его пытала. По правде говоря, он редко покидал дом, целиком уйдя в свое новое произведение. И тем не менее стоило ему вернуться, как на него градом сыпались вопросы:

– Откуда ты идешь? Кого ты встретил? Что она тебе сказала?

– Но я ее вовсе не видел…

– Ты от меня скрываешь…

И Гэрриет испытующе изучала одежду и непокорную

шевелюру мужа, готовая ринуться на него, если какой-нибудь незнакомый запах духов изобличит его неверность.

Лишенная опьяняющего успеха на сцене и прикованная к дому из-за ребенка, который требовал постоянного ухода, она становилась неуживчивой. И вскоре начала искать забвение в вине.

II

Пожелало ли правительство возместить Гектору ущерб и блестяще возвысить его перед теми, кто, оставаясь слепым и глухим к его гению, неустанно, днем и ночью, сгорая от зависти, порочил его со свирепой ненавистью?

Без сомнения, здесь угадывалась рука его величества Бертена.

10 мая

Гектор, которому не минуло еще и тридцати шести лет, получил орден Почетного легиона. Для штатского в таком возрасте и в такое время это было событие из ряда вон выходящее! Награда выглядела как урок врагам; Гектор немедля надел широкую ленту и, радостный, вызывающе воскликнул:

– Еще посмотрим кто кого!

III

Между тем работа над «Ромео и Джульеттой» продвигалась. Гектор изливал свое поклонение Шекспиру, романтический пыл, смятение и бесконечное волнение, которое вызывала в его восторженном сердце не раздражительная супруга, а та божественная Офелия, что когда-то в «Ромео и Джульетте» умела умереть с таким патетическим величием.

24 ноября, два часа дня.

В зале Консерватории премьера «Ромео и Джульетты». Дирижирует сам Гектор.

Как поведет себя милая публика?

Насытив ненависть провалом «Бенвенуто», противники Гектора не пожелали начать атаку во время «Гарольда» и «Фантастической» – произведений не новых и не заслуживающих боя.

Они, по-видимому, думали, что суровое осуждение «Бенвенуто» не позволит «потрясенному» композитору так быстро опомниться и создать «Ромео и Джульетту». Они презрительно

пожимали плечами, а Гектор в это время сплачивал свой ударный отряд, чтобы призвать его к мужественной схватке.

– Если понадобится, будет пролита кровь! – заявил молодой берлиозец, преисполненный воинственным жаром.

– И коль суждено, так пусть это будет кровь несправедливых, а не наша! – воскликнул другой.

– Что ж, смелый умирает единожды, трус – тысячу раз! Вперед! – пылко произнес Гектор.

Успех обозначился при первом же исполнении; в королевской ложе, драпированной красным бархатом с золотой бахромой, присутствовали два сына его величества Луи-Филиппа: герцоги д'Омаль и де Монпансье. Должна была прибыть сама королева, но в последний момент ее задержали.

При втором исполнении произведение было «превознесено до небес», при третьем печать единодушно провозгласила его несравненным шедевром.

Три концерта принесли Гектору 1200 франков дохода. Вспомним о тех современных «звездах», что выкрикивают свои бездарные, глупые песенки и чьи баснословные гонорары свидетельствуют, как видно, о прискорбном упадке искусства.

Еще раз посмотрим прессу.

«Котидьен», касаясь финала в стиле Мейербера, назвала его «самым величественным, быть может, самым красивым из существующих – настолько он драматичен».

Т. Меррюо лестно отозвался о широте и высоком вдохновении автора. Жюль Жанен в «Деба» выразил неистовый восторг. Спехт в «Артисте» заявил, восхваляя композитора, что тот создал новую симфоническую форму.

«Журналь де Пари» сделала вывод: «В итоге это сочинение зачеркивает то поражение, которое потерпел господин Берлиоз с «Бенвенуто Челлини».

Паганини писал Гектору в Ниццу: «Теперь все сделано для того, чтобы зависть умолкла»[104].

Итак, 1839 год завершился славой, тысячами теплых писем и обилием цветов, которые скорее раздражали, чем радовали подозрительную Офелию.

Пришла ли, наконец, к тебе слава, Гектор? Нет! О злобная судьба, желающая, чтобы молния сломала ветвистое, полное сока, покрытое пышной листвой дерево! Прекратит ли когда-нибудь судьба преследовать тебя? Нет, не сейчас. А может быть, и никогда.

1840

I

Год «Траурно-триумфальной симфонии», написанной к десятой годовщине Трех Прославленных Дней (27, 28, 29 июля 1830 года).

Народ не любил Луи-Филиппа, и Луи-Филипп если в не страдал, то, во всяком случае, был этим обеспокоен. И потому в угоду своим подданным он пожелал отметить ослепительной роскошью празднества в память тех героических дней, когда люди гибли за свободу.

Программа празднества включала открытие на площади Бастилии высокой и величественной Июльской колонны, увенчанной позолоченной статуей Свободы, и захоронение у ее подножья священного праха героических жертв того исторического часа.

Вспомним факты.

Карл X распустил палату депутатов, однако оппозиция, усилив свою деятельность, одержала верх на последовавших затем выборах. Тогда появились подлые ордонансы 26 июля, которые предусматривали отмену свободы печати, роспуск только что избранной новой палаты, изменение избирательной системы в пользу самых богатых, назначение выборов на сентябрь.

Перед лицом этой циничной попытки диктатуры разразилась революция. 26-го Тьер пишет манифест протеста. 27-го Париж покрывается баррикадами, а трехцветное знамя реет, призывая к бою. Проходят два дня (28 и 29 июля) борьбы, и восставшие становятся в конце концов хозяевами Парижа. Лафайет тотчас же обосновывается в городской ратуше. Теперь народ мог бы диктовать свои законы, однако он не осмеливается провозгласить республику; и в то время как Карл X бежит в Англию, Луи-Филиппа, разыгрывающего из себя демократа, провозглашают наместником королевства, поднимая его на первую ступень верховной власти. Ради него лилась кровь. Так не подобает ли ему почтить память тех борцов, чьи трупы послужили ступенями к королевскому трону, и продемонстрировать таким образом перед лицом народа свою приверженность к демократическим идеалам?

Организовать эти грандиозные траурные церемонии было поручено министру внутренних дел господину де Ремюза, который возложил музыкальную часть на Гектора Берлиоза, убежденный, что гениальный маэстро сотворит чудо.

Вторник 28 июля. В девять часов началась заупокойная служба в Сен-Жермен-Локзерруа, о которой Париж был оповещен

оглушительными артиллерийскими залпами. Вслед за службой был исполнен под руководством Габенека «Реквием» Керубини (таким путем хотели утолить боль его свежей раны).

«Затем на огромные похоронные дроги, ломившиеся от крепа и траурных украшений, возложили пятьдесят гробов. И когда настал момент отправляться в путь (около одиннадцати часов), этот «Левиафан погребальных колесниц», несмотря на двадцать четыре впряженные в него лошади, не смог стронуться с места. Наконец, после долгих потуг и ухищрений кортеж тронулся.

Дроги, проследовав шагов двести, на углу набережной налетают на изгородь и едва не опрокидываются на толпу… Ужас, паника, крики, водоворот зрителей, прорвавших оцепление солдат, беспокойство двадцати четырех лошадей, впряженных в колесницу, приказы, контрприказы, хлопанье кнутами… Наконец, огромные дроги приведены в порядок и следуют дальше. Кортеж на набережной достигает площади Согласия.

Во время этих происшествий Берлиоз в первый раз начинает исполнять свою симфонию. Но разве можно что-нибудь услышать?»[105] Одиннадцать часов. Образуется процессия, которая вытягивается по набережным, площади Согласия, улице Руаяль, бульварам, до площади Бастилии – центра демонстрации.

Сколько величия, сколько торжественности! Впереди и позади «музыкальный корпус под управлением г. Берлиоза», батальоны четвертого легиона Национальной гвардии, по бокам погребальной колесницы – кавалеристы муниципальной гвардии.

Симфония зазвучала, едва тронулись от церкви.

Двести семь музыкантов! Какая редкая возможность вызвать восхищение народа, он будет покорен и не посмеет отныне уходить с его концертов. Но увы! Под открытым небом, при гуле толпы и маневрах Национальной гвардии чудесные музыкальные фразы, вместо того чтобы выделяться, растворялись в шуме и терялись. Между тем по рукам ходил изданный «Шаривари» памфлет, отпечатанный белыми буквами по темной бумаге, испещренной изображениями могил, охраняемых ангелами смерти. После нескольких стрел, пущенных в г. Эмберлификоса, было написано: «Похоронная процессия свобод, погибших за граждан, под стать погребальному шествию граждан, погибших за свободу» (известно, что в ту пору народ требовал избирательной реформы).

Однако где же сам маэстро?

Где-то там, потерявшийся в рядах своих музыкантов.

А что он держит в руке?

Еще одна фантазия: всегда очень воинственный, эмоциональный и романтичный, он захотел вписаться в

героическую атмосферу. Долой обывательскую и миролюбивую дирижерскую палочку! Чтобы управлять этими музыкантами, воспевающими храбрость великих усопших, он избрал… длинную саблю.

Пожелав отойти от священных правил, ты, Гектор, снова поступил дерзко, но нашел плохое решение. Потому что именно твое фанфаронство и вызывает вражду.

Однако продолжим наш рассказ.

Кортеж проходит перед Лувром. И тогда Луи-Филипп, по чьему приказу все было организовано, но который нигде ранее не появлялся, боясь «адских машин», с осторожностью вышел на балкон дворца, кратко приветствовал народ и исчез. Окружавшие его принцы и председатель совета министров Тьер скрылись столь же поспешно.

Несколько робких возгласов подкупленных бродяг «Да здравствует король!» тут же потонули в воплях «Да здравствует реформа!», во всю силу легких выкрикиваемых сторонниками освобождения масс.

Полуденный зной, беспощадное солнце.

Половина второго. Наконец, площадь Бастилии.

Вверху колонны, откуда ниспадает огромный, трепещущий на ветру креп, сверкает свежей позолотой гений Свободы. На сбитом из досок амфитеатре разместились четыре тысячи зрителей: министры, сановники, сводный корпус, различные депутации, группа патриотов, раненых и награжденных в тот июль, а также семьи жертв-героев.

Похоронные дроги – огромный кенотаф из черного бархата, везомый вереницей лошадей с траурными попонами до самых копыт, – вызвали горячие приветствия толпы. Медленно опускают в склепы у подножья колонны пятьдесят гробов. Затем со ступеней импровизированного алтаря священнослужители совершают богослужение.

И тогда Берлиоз взмахивает своей саблей, и раздаются звуки симфонии. Хвала господу, сейчас ее услышат! Теперь он может управлять своими двумястами музыкантов, собранных на ступенях амфитеатра, и они могут, наконец, видеть, как сверкает его выразительная «дирижерская палочка». Уже около трех часов.

С восьми утра девятый легион национальных гвардейцев, построенный в боевой порядок, стоял на самом пекле на площади Бастилии, при полном снаряжении, в больших киверах с султанами. Легионеры хотели лишь как можно быстрее пройти торжественным маршем и разойтись. Наконец, под бой барабанов легион пришел в движение. О, какое впечатляющее зрелище эти шестьдесят тысяч национальных гвардейцев, дефилирующих в

течение двух часов!

Но кто из присутствующих мог среди оглушительного шума, криков «Долой Тьера!» и «Да здравствует реформа!» услышать хоть один звук чудесной симфонии?!

– Не уцелело ни ноты! – воскликнул Гектор.

Остановимся ненадолго, чтобы подвести итог дня.

Неудачи вновь неумолимо преследовали гениального и смелого композитора, создавшего замечательную симфонию. Когда Гектор, опасаясь, что на ветру симфонию не услышат, исполнил ее 26-го на генеральной репетиции, бушующий в ней ураган и льющиеся слезы растрогали и восхитили публику. И Рихард Вагнер – прекрасный судья, – прослушав ее, писал:

«Она велика от первого до последнего звука. Эта симфония будет жить и пробуждать храбрость, покуда будет существовать государство, именуемое Францией».

И в своем энтузиазме, изменив мнение, он заявил, что теперь безгранично восторгается этим человеком. Такова сила гения![106] Так Гектор, которого столько позорили, поносили, уничтожали, уже покорил (ему еще не было тогда тридцати семи лет) таких маэстро, как Роберт Шуман, Ференц Лист, Никколо Паганини и Рихард Вагнер. Однако слава еще не пришла. Слава опаздывает. Будем ждать и надеяться!

II

Октябрь

Леон Пилле только что сменил Дюпоншеля на посту директора Оперы. Под влиянием Бертена он поручил Гектору дирижировать в зале этой национальной академии большим концертом-фестивалем, назначенным на 1 ноября.

Директор гарантировал ему вознаграждение в 500 франков и оставлял за ним полную свободу в составлении программы[107].

Минуют ли его на сей раз козни недругов, добьется ли Гектор успеха соразмерно своему гению? Он надеется, так как в твердой решимости достигнуть удачи учел все, даже отстранил от дирижерского пюпитра «предателя Габенека – человека с табакеркой», удивив своей смелостью Пилле.

Гектор, сам намеревавшийся руководить оркестром, лично проверил все инструменты, поскольку был предупрежден анонимными письмами о новом замышляемом против него заговоре.

Намеченный день настал. Зал набит битком, в оркестре шестьсот музыкантов.

Фрагменты из «Реквиема» проходят под оживленные

аплодисменты. Доброе начало.

Затем из партера доносится несколько выкриков: «Марсельезу»!, «Марсельезу»! Без сомнения, то были заговорщики, намеревавшиеся вызвать публику на громкий скандал и нарушить распорядок вечера.

Однако Гектор, полный решимости бороться, закричал во всю силу своего голоса:

– Мы не будем исполнять «Марсельезу»! Мы здесь не для этого!

Может быть, смутьяны были плохо вышколены? Во всяком случае, тишина была восстановлена, хотя, увы, ненадолго. Вскоре из одной ложи завопили пронзительным голосом:

– Убивают! Какая подлость! Держите его!

И вся публика в беспорядке поднялась со своих мест. Но кто же убийца? Гектор Берлиоз? Оказывается, нет. Завязалась драка; один из дерущихся, господин де Жирарден, директор газеты «Пресс», получил звонкую пощечину от некоего господина Бержерона, редактора «Шаривари»[108]. И, разумеется, пощечина, а не музыка вызвала вопли: «На помощь! На помощь!» Испуганная, растрепанная госпожа де Жирарден (поэтесса Дельфиния Гей) металась по своей ложе, словно паяц. И поскольку все зрители, сидевшие рядом, равно как и в противоположном конце зала, приняли участие в шумной интермедии, успех концерта оказался под угрозой. Но чудом он все же возобновился и, несмотря на скандал, закончился, но… в полупустом зале.

Какое, однако, невезение!

Но Гектор считал так: «То не было поражение, поскольку я смог до конца дирижировать перед публикой, которая в конце концов была покорена музыкой, обвивавшей ее, словно звучащая шаль».

Снова остановимся. Время перевести дыхание. Наш неистовый маэстро изучает обстановку, дает ей оценку, затем подводит итог. В этом деле он большой мастер, и выводы неизменно бывают лестными и ободряющими, даже если должна пострадать истина.

– Все идет хорошо! – воскликнул он. – Я должен лишь стоять на своем.

Книга вторая
Конец и слава

Часть первая
Скитания в погоне за славой
1841-1853

Злейший враг – смирение.

Гектор Берлиоз

1841

Бесплодный год. Ни единого концерта. Строит ли маэстро планы, собирается ли с силами, словно накануне боя? Вовсе нет!

Он ограничивается тем, что дирижирует в Опере «Фрейшютцем» великого Вебера, который вместе с Бетховеном озарял его юность и формировал музыкальный вкус. И хоти Гектор отдыхает от мук творчества, все же он не ведает безмятежного отдыха, умиротворяющего Душу.

Месяц за месяцем проходят в изнурительной борьбе против… Офелии, той Офелии, которой он еще недавно поклонялся. Семейный очаг превратился для него в сущий ад.

Эрнест Легуве красочно, с присущим ему блеском повествует[109]:

«Когда Берлиоз женился на мисс Смитсон, то любил ее как безумный; ее «очень люблю», этакая белокурая нежность, повергала его в ярость. Мало-помалу совместная жизнь приучила Генриетту к бешеному неистовству ее льва; постепенно она нашла в нем прелесть и, наконец, необычайный склад его ума, то привлекательное, что было в его фантазии, и заразительность чувств настолько захватили холодную невесту, что она стала пылкой женой и перешла от нежности к любви, от любви к страсти и от страсти к ревности. К сожалению, часто случается, что муж и жена – как бы две чаши одних весов, которые редко находятся в равновесии: когда поднимается одна, опускается другая. Так произошло и в этой молодой семье. Чем горячее становилась Смитсон, тем больше остывал Берлиоз. Его чувства к ней превратились в добрую дружбу, учтивую и спокойную, тогда как с уст жены то и дело срывались властные требования и бурные упреки, к сожалению, вполне законные. Дирижирование своими произведениями и положение музыкального критика ставили Берлиоза в гущу театральной жизни, где ему представлялись случаи поддаться слабости, что вскружило бы голову и покрепче, чем у него. Кроме того, слава великого

непризнанного артиста имела свое очарование, легко превращавшее исполнительниц в утешительниц. Госпожа Берлиоз пыталась найти в фельетонах мужа следы его измен; она искала их повсюду: отдельные фразы из перехваченных писем, перерывание ящиков позволяли ей делать частичные разоблачения, достаточные, чтобы вывести ее из себя, но лишь наполовину вводящие в курс событий. Ее ревность постоянно запаздывала. Сердце Берлиоза порхало так быстро, что она не могла за ним поспеть: когда она обнаруживала предмет страсти своего мужа, страсть эта была в прошлом, он уже увлекся другой и поэтому легко мог доказать свою невиновность в эту минуту, тогда как бедная женщина оказывалась в растерянности, словно собака-ищейка, которая, пробежав полчаса по следу, достигает гнезда, когда птица уже улетела. Случалось, правда, что другие открытия вскоре вновь заставляли ее пускаться в розыски, и отсюда – ужасные семейные сцены. Мисс Смитсон, выходя замуж за Берлиоза, была уже слишком стара для него. Душевные волнения ускорили разрушительную работу времени; вместо того чтобы стареть год от году, она старилась день ото дня. И, к несчастью, чем больше старилась она лицом, тем больше молодела сердцем, тем больше росла ее любовь, превращаясь в жестокую пытку для нее и для него. Однажды ночью маленький Луи, спавший в их комнате, был разбужен столь ужасными воплями и проклятиями, что соскочил со своей кровати и бросился с криком к матери:

– Мама, мама, не делай, как госпожа Лафарж![110]

1842

I

За кулисами и в литерных ложах мушкетер Гектор без устали завлекал красоток, расточая им мадригалы. Душа его искала родственную душу для долгой идиллии или хотя бы на день, на час.

Но вскоре это взбалмошное, капризное сердце перестало кочевать. Для любви, восторгов и новых впечатлений он избрал некую молодую певицу, чью посредственность приукрашивал сверкающими красками пылкого воображения.

А ведь когда-то он едва не покончил с собой из-за Офелии, к которой воспылал страстью, зажженной гениальными творениями Шекспира. Он предлагал свою жизнь и предавшей его Камилле Мок, кого, если отбросить талант, так напоминала новая Дульцинея.

Но кто эта фаворитка? Мария Ресио.

Подобно Камилле, она содержала мать, вместе с которой жила, женщину очень прозорливую, но всегда слепую, когда того требовали обстоятельства. Слепота, необходимая для программы, намеченной двумя компаньонками, поскольку юное создание обращало в деньги не столько свой весьма бледный талант, сколько свою весьма яркую красоту.

Хотя и рожденная в прозаическом парижском пригороде Шатене, Мария Мартин носила иностранное имя своей матери, по происхождению испанки, велевшей напыщенно именовать себя сеньорой Мартин Состера де Вильяс Ресио. То было время, когда иностранцы были редкостью. Ее муж Мартин, командовавший батальоном, рано умер. В дополнение к чужеземному имени Мария имела вид смуглой одалиски и как бы воплощала некую экзотическую тайну. Взгляд, исполненный тропического жара, копна темных волос, змеевидное тело, выражающее неудержимую жажду страсти. Искусная в своевременных обмороках от избытка чувств, в сладострастии, где было меньше нежности, нежели похоти, она «воспламенила тело Гектора всеми огнями ада»[111].

И Гектор вновь расправил свои вечно трепещущие крылья для полета к страсти.

II

Благодаря своему влиянию Гектор сразу же ввел Марию Ресио в Оперу и добился для нее не просто положения хористки, что было в меру ее способностей, но даже небольшой роли. Однако, затерявшись среди настоящих артистов, она осталась, увы, совершенно незамеченной. Гектор проявил упорство – любовь надевает на глаза повязку. Он видел ее такой, какую сам создал. Он неизменно представлял себе небесное, воздушное создание, а затем искал земное тело, чтобы это создание в него втиснуть.

Пока он опьянялся любовью, произошло важное событие.

III

15 марта 1842 года скончался едва не причисленный к лику святых в силу своего престижа и славы великий и, именитый Керубини, который очистил, таким образом, музыкальный горизонт.

Казалось, будто, ослабленный старостью, он рухнул под тяжестью титулов, почестей и должностей. Непримиримый враг Гектора, он ненавидел в нем человека, его мировоззрение

художника и безудержную смелость. Великодушный Гектор написал в память о нем большую, взволнованную статью, ни словом не упомянув об их жестокой, упорной вражде[112].

Несмотря на резкую критику, ранее сходившую со страниц «Деба», несмотря на свою долгую борьбу с диктатором музыки, он сумел с большим тактом воздать должное покойному, что оценил весь Париж. Людям нравится, когда смерти платят дань почтения. Многим из эгоизма, потому что они знают, что придется повстречать ее однажды на собственном пути.

Исполнив свой долг, Гектор решил немедля стать преемником Керубини в Институте, находя пикантным заменить там своего противника номер один[113].

IV

Между тем в сентябре Гектор вместе с непременной Марией Ресио бежит в Брюссель. Его встречают там как победителя; печать, сообщая о его прибытии, приветствует в нем «романтичного музыканта».

Во время двух фестивалей он дирижировал фрагментами из «Гарольда», «Ромео» и «Фантастической».

Высокая честь: его принял с восхищением и благожелательностью бельгийский король.

Но, увы, оказалось, что заработок не соответствовал такому весомому моральному удовлетворению. А жаль, потому что теперь приходилось содержать Марию Ресио и ее матушку. Какая обуза! Мария Ресио, занятая в Опере просто на выходных ролях, получала всего семь франков за участие в спектакле. Устав от милостыни, оскорблявшей ее гордую красоту, она попросила с 8 сентября отпуск, чтобы обдумать свое положение и что-то решить. Но администрация, довольная возможностью избавиться от подобной опеки, немедля удовлетворила ее просьбу, уточнив, что отпуск может длиться до 8 октября, и его дальнейшее продолжение будет означать окончание срока ангажемента.

Бедный Гектор! По твоему выражению, ты «влип в историю».

V

Гроза – возвращение к семейному очагу!

Гэрриет только что узнала из газет, что Гектор ездил в Брюссель с Марией Ресио.

Это письменное подтверждение, словно кинжал, пронзило ее сердце, ненасытно жаждущее Гектора. Так, значит, напрасно она

наблюдает и выслеживает, напрасно следует мыслью за каждым его шагом. Она взбешена. Кроткая Офелия, тихая и добродетельная, чьи чувства столь долго дремали, обратилась разъяренной мегерой, раздираемой безмерной страстью. Она беспрестанно требует уплаты дани от своего победителя, но Гектор отказывается погасить пожирающий ее огонь, который он сам зажег.

VI

19 ноября Академия изящных искусств приступила к выборам нового члена для занятия вакантного места.

В начале списка она представила на равных основаниях Онслова и Адольфа Адана, во второй строке некоего совсем забытого Баттона, в третьей – Амбруаза Тома, позднее ставшего знаменитым. В списке представлений Гектор даже не фигурировал[114].

«Мы хотим верить, – писала «Газет мюзикаль», – что Институт не пожелает стать посмешищем, заменив знаменитого Керубини сочинителем «Почтальона из Лонжюмо» Адажом». Академиком был объявлен Онслов, собравший десять голосов. По словам Адана, острого на язык, Галеви, узнав результат выборов, якобы воскликнул: «Это отвратительно! Ноги моей больше здесь не будет!»

Получил ли Гектор, вовсе не представленный в списке, хотя бы один голос? История об этом умалчивает.

Может быть, важные члены ареопага припомнили Гектору те любезности, какими он с давних пор их осыпал? Известная песня: «Подагрики!», «Окостенелые умы!» Нет! Скорее, думается, что их шокировала тогда музыкальная манера Гектора.

Гектор мужественно перенес это поражение. Его утешением была Мария Ресио, в любви к которой растрачивал себя этот неистовый. Было и убеждение, что он ничего не завоюет на этом свете без жестокой борьбы. Было, наконец, и поражение Адана – бездарного сочинителя комической оперы «Почтальон из Лоужюмо», ни на минуту не прекращавшего низких нападок. Гектор пожимал плечами и в который раз повторял:

– Я вернусь. Будь я для вас сладенькая микстура или горькая пилюля, вы проглотите меня… – И отчетливо добавил: – Вопреки всему! Вопреки всему!..

1843

Гектору сорок лет

I

Январь

Когда жены и маленького Луи не было дома, Гектор покинул семью. Он оставил Генриетте на видном месте письмо, где выражал сожаление по поводу отъезда на короткое, как он надеется, время и где объяснял, что его вынуждают к тому дела, связанные с карьерой.

И вот с конца января вместе с Марией Ресио он в Германии[115].

Ему нужно услышать мнение этой музыкальной страны о своей музыке.

Он едет туда не как безвестный музыкант. Из выдающегося музыкального центра Веймара, где ему как раз предстояло выступить, в 1837 году камерный музыкант Лобе направил ему открытое письмо, появившееся в газете Роберта Шумана. Последний, всегда столь внимательный к другим талантам, в свою очередь, еще раньше посвящал пылкому французскому композитору хвалебные хроники.

Лобе писал Гектору: «Вашу увертюру, с такой очевидностью выражающую большой и редкий музыкальный талант, веймарская публика слушала затаив дыхание и, конечно, не сочла ее непонятной; напротив, она была захвачена ею в самой высокой степени. Увертюра пронеслась, словно гроза, все вокруг нее полыхало пламенем восторга. То не было простым доброжелательством. Не было и успехом, создать который помогает авторитет или дружба; напротив, то была непреложная необходимость, категорический императив».

Итак, там наблюдали за его романтическим творчеством с интересом и симпатией.

Мужайся, Гектор! Страна, куда ты решил отправиться, готова тебя принять.

Теперь, очевидно, настало время рассказать о концертах Гектора Берлиоза, но сделать это в ускоренном темпе, чтобы избежать однообразия отчетов.

Действительно, в этой книге мы силимся не столько объять всю удивительную, бурную жизнь Берлиоза, сколько выписать его необычайную индивидуальность, проявившую себя в героических сражениях.

Штутгарт. Здесь он дирижировал «Фантастической* и «Гарольдом». Ограничимся беглым просмотром парижских газет.

В «Деба»:

«Из Штутгарта сообщают, что господин Берлиоз только что дал здесь свой первый концерт, прошедший с величайшим успехом. В зале присутствовали вюртембергскйй король с придворными. Его величество подал сигнал к аплодисментам…»

В «Сильфиде»:

«Все монархи Германской конфедерации рвут на части французского композитора…»

Мангейм, 13 января

Гектору оказан благосклонный прием. Это весьма почетно, хотя результат, к сожалению, снижен из-за бездарности Марий, которая, упорно цепляясь за ложное представление о своем таланте, требует для себя сцены. Она то и дело повторяет, что будет петь повсюду.

Но по мере того как стихал любовный каприз, Гектор все яснее видел, что Мария бросает тень на его сияющую славу. Он даже спрашивал себя: «Может быть, я совратил эту девушку? Нет, я ее узнал, когда ей шел двадцать девятый год; впрочем, она и не играла в невинность».

Возможно, в тот миг Гектор с состраданием устремлялся мыслями к Офелии, такой чистой в свои тридцать девять лет, и его сердце, где царило забвение, внезапно вспоминало, сожалело, раскаивалось. Свет прошлого, которое отказывается умирать.

И он продолжал: разве я обещал Марии жениться? Нет, она знала, что я женат. Уступила ли она лживым посулам богатства и роскоши? Нет, она знала, что я беден и постоянно борюсь с нуждой. Так, значит, то была лишь обоюдная прихоть без всяких обязательств.

И на что же он решился в момент усталости от этой новой кабалы?

Как в прошлом месяце он поступил с Гэрриет, так и теперь он оставил Марии вместе с деньгами на первое время нежное и полное здравого смысла письмо. Затем решительным шагом, не оглядываясь назад из боязни раскаяния, он бросился к дилижансу. Кучер уж стегал бьющих копытами лошадей.

Веймар. Гектору горячо аплодировали. Публика проявила к французскому маэстро трогательный интерес и глубокое понимание. Она устроила «Фантастической симфонии» овацию, а увертюра «Тайные судьи» была принята как старая знакомая, с которой приятно встретиться.

Приличная выручка, и Гектор смог из заработка: тут же отправить жене во Францию 200 франков.

Воистину то был великолепный вечер, хотя Мария трижды и выходила на сцену петь[116].

То есть как Мария? Разве она не была оставлена Гектором, будто никчемный балласт? Да, но послушайте что произошло.

Прочитав о горестной отставке, которую корректно дал ей Гектор, Мария, словно фурия, поспешила в дорожную контору, чтобы навести справки. В ту пору экспедитор должен был подробно регистрировать гражданское состояние и места назначения всех путешественников.

– Скорей, скорей, ради бога, дайте реестр! – обратилась она к чиновнику, приведенному в изумление ее взволнованным видом.

– Вот, возьмите!

И Мария прочитала слова, написанные красивыми прописными буквами:

«Гектор Берлиоз убывает в Веймар».

В один миг ее вещи упакованы. Теперь вдогонку за беглецом!

А наутро она, разгневанная и требующая справедливости, словно пантера, готовая к прыжку, предстала перед Гектором, который тер глаза, отказываясь верить в происходящее.

– Да, мерзавец, ты не ошибся, это я!

И Мария начала пересыпать угрозы такой грубой руганью в адрес уставшего от нее любовника, что под бурным потоком площадной брани тот готов был провалиться сквозь землю.[117] Бедный Гектор! Он едва успел провести свою первую ночь в беззаботном, тихом одиночестве.

В Веймаре, этой Мекке музыки и мысли, где камни хранят память великих имен и напоминают о великих событиях, Гектор весь уходит в воспоминания.

Вот особняк Гете… На самой заре удивительной судьбы писателя и философа. «Фауст» сделал его знаменитым. Гете не ведал на родине ни ненависти, ни козней и прожил, окруженный ореолом восторга и почитания… Счастливый Гете. Не то что я!

Потом к нему приходили на очную ставку душ поэт и величественный мыслитель Кристоф Мартин Виланд – изящный и мудрый, прозванный «Вольтером Германии», Фридрих Шиллер, кузнец самых благородных порывов, который увлек за собой, зажег, «вздыбил» немецкий народ. Узкие окна и темная крыша… Убогая клетушка…

Здесь угас он – сеятель идеала, опьяненный поэзией.

Лейпциг – нераздельная вотчина музыкального классицизма, где царит уже знаменитый и прославленный пурист Феликс Мендельсон. Какая разница между ним и Гектором! Феликс – ученая школа, Гектор – независимость гения.

Феликс выражает себя в классических понятиях. Гектор, чтобы захватить сердце, пренебрегает традиционными формами. Феликс – претворение законов, Гектор – фантазия.

Поэтому наш буйный маэстро какое-то время уклонялся от посещения этой цитадели косности.

Как будут судить о нем там важные доктора музыкальных наук, писавшие законы для чувств?

Между тем как он это обдумывал и смущение его все росло, от Мендельсона пришло сердечное письмо, где его немецкий собрат вспоминал их «римскую дружбу», выражал нетерпеливое желание увидеться и отдавал себя в распоряжение Гектора на время его пребывания в Лейпциге.

– Раз так, прочь сомнения! – воскликнул Гектор. – Нужно ехать.

Едва выйдя из почтовой кареты, Гектор помчался в Гевандхауз, где Мендельсон проводил репетицию «Вальпургиевой ночи».

Вот он и на месте.

Теперь предоставим слово ему самому:

«В ту минуту, когда Мендельсон спускался со сцены, я направился к нему, совершенно очарованный услышанным. Для такой встречи нельзя было лучше выбрать момент, и, однако, едва мы обменялись несколькими словами, как нас одновременно поразила та же печальная мысль:

– Боже! Уже двенадцать лет! Прошло двенадцать лет с той поры, когда мы вместе мечтали на Римской равнине!

– Да, и в термах Каракаллы!

– О, все такой же насмешник!

– Нет, нет, я вовсе не смеюсь! Это лишь чтобы испытать вашу память и посмотреть, простили ли вы мне мои нечестивые выходки. Я так далек от смеха, что с первой же нашей встречи хочу совершенно серьезно попросить вас сделать мне подарок, я сочту его самой большой ценностью.

– Но какой же?

– Дайте мне палочку, которой вы сейчас дирижировали ваше новое произведение.

– С большим удовольствием, но при условии, что вы, пришлете мне свою.

– Таким образом, я отдам медь за золото. Что ж, я согласен.

И музыкальный скипетр Мендельсона был мне немедленно вручен. Назавтра я послал ему увесистый кусок дубового дерева с письмом, которое, как я надеялся, доставит удовольствие «последнему из могикан».

«Вождю Мендельсону!

Великий вождь! Мы обещали друг другу обменяться томагавками. Вот мой! Мой – груб, а твой – прост. Только индианки да бледнолицые любят оружие с украшениями. Будь

моим братом! И когда Великий дух пошлет нас охотиться в страну душ, пусть воины повесят наши соединенные томагавки у входа в Совет».

Таков был бесхитростный поступок, которому совершенно невинная шутка должна была придать забавную трагикомичность»[118].

Первый концерт вызвал некоторое замешательство среди фанатиков классической музыки, хотя пресса, воздавая должное гениальному новатору, объясняла:

«Берлиоз не желает нам нравиться, он хочет быть самобытным. …Он ищет освобождения своего искусства, не знающего никаких границ, никаких преград. Он может признавать лишь законы своего желания, своей фантазии, всегда заполненной образами… Его можно было бы именовать «музыкальным Брегелем преисподней», но без святого Антония… Рядом с «Шабашем» из «Фантастической» «Волчье ущелье» Вебера могло бы сойти за колыбельную песню».

Как правильно понят, как хорошо определен Гектор в этих строках.

Результат второго концерта (22 февраля), состоявшегося после блестящего выступления в Дрездене, где Рихард Вагнер помогал ему на репетициях[119], – неистовое поклонение немецкой публики, даже самой приверженной традициям.

Гектор дирижировал, в частности, своим «Реквиемом» и получил то чудесное одобрение, которое возвышает, освящает и облагораживает, составляя веху в жизни.

«Шуман, – писал Гектор д'Ортигу, – молчаливый Шуман, которого я увидел в зале, был весь наэлектризован «Дароприношением» из моего «Реквиема»; к великому удивлению тех, кто его знал, он открыл рот, чтобы сказать, взяв меня за руку:

– Этот «offertorium» превосходит все!

И действительно, – продолжал Гектор, – ничто не производило на немецкую публику подобного впечатления. Лейпцигские газеты несколько дней кряду не прекращали писать и требовать исполнения «Реквиема» целиком…»

Чудо, что Гектор смог добиться такого признания. Его музыка чувств и ощущений, одним словом, психологическая музыка, чуждая грамматике гармонии, действительно, потрясая душу, заставляла умолкнуть разум. Потому, что «в мирном небе старых неподвижных звезд германского небосвода» был лишь один бог, единственный непогрешимый бог, восседавший на своем троне из строгого синтаксиса и точной логики. Этим богом был Бах – кантор церкви святого Фомы.

Но вот сила чувства, исходящего от Гектора, привела жителей Лейпцига в восхищение – более того, погрузила в раздумье.

И, заканчивая рассказ о Лейпциге, приводим письмо, посланное Гектором Стефану Геллеру, которое кажется нам очень важным:

«Вы просите меня ответить, обладают ли музыкальные умы Лейпцига хорошим музыкальным чутьем или привлекает ли их по крайней мере то, что мы с вами называем прекрасным?

– Не хочу.

– Правда ли, что символ веры всех, кто претендует на любовь к высокому и серьезному искусству, таков: «Нет бога, кроме Баха, и Мендельсон – пророк его?»

– Не должен.

– Хорош ли состав театра и очень ли заблуждается публика, забавляясь на легких операх Лортцинга, которые там часто ставят?

– Не могу.

– Читал или слышал ли я какие-нибудь из тех старинных пятиголосных месс с остинатным басом, которые так высоко ценят в Лейпциге?

– Не знаю…»

Какое же чувство скрывал Гектор за этой загадочной манерой разговора? Может быть, он, архитектор свободной фантазии, не желая в том признаться, любовался высокой традицией, которой своей вулканической музыкой намеревался пропеть отходную?

И выражают ли правду последние слова: «Не знаю»? Нет, он знал. Он ходил слушать «Страсти по Матфею» – сочинение, спавшее, казалось, последним сном в дальнем углу библиотеки, пока его не раскопал там Феликс Мендельсон. Бесспорно, во время исполнения этой вещи Гектора душило волнение, и вот что немедля написал этот не познавший себя верующий:

«Исполнение вокальных месс было для меня чем-то неслыханным: первое tutti обоих хоров меня поразило. Я никак не ожидал такого урагана гармоний. Нужно видеть воочию, чтобы поверить в то благоговение и восхищение, с какими немецкая публика слушает подобные сочинения. Стоит такая тишина, будто присутствуешь не на концерте, а на богослужении, и действительно именно так и должно слушать эту музыку. Баха боготворят и в него верят, ни на миг не помышляя, что в его божественности можно усомниться. Еретик вызвал бы ужас, Баха запрещается даже обсуждать. Бах есть Бах, как бог есть бог».

«Поставил ли Гектор под сомнение божественность Баха? – задается вопросом Пурталес. – Был ли он ужасным еретиком? Спорный вопрос. Может быть, он завидовал Баху и его столь

безупречному величию, как Ницше завидовал Иисусу Христу».

Брауншвейг (9 марта). «Превосходнейший оркестр, – пишет Гектор, – и полный зал. Восхищение, на «бис» вызывают даже «мяукающую» Марию Ресио.

«После исполнения фрагмента из «Ромео» – буря аплодисментов. Ложи, партер, весь зал кричит и хлопает в ладоши, смычки скользят по скрипкам и контрабасам, извергают громы литавры, бьет барабан и трубы, валторны, тромбоны выводят на разные лады свои громкие фанфарные звуки… Вдруг все стихло… Капельмейстер направляется к Берлиозу, торжественно поздравляет его и покрывает цветами пюпитр и партитуру «Ромео».

Крики, аплодисменты, фанфары… Потом банкет на сто пятьдесят персон. Тосты, приветствия…»[120] Ртуть в термометре общественного мнения поднималась все выше и выше.

«Меня ценят здесь больше, – повторял про себя Гектор, – чем на моей родине, хотя я к ней по-сыновьи нежно привязан», Гамбург.

«Блестящее исполнение, – рассказывал Гектор, – многочисленная аудитория, умная и теплая, сделала этот концерт одним из лучших, которые я дал в Германии; каватина из «Бенвенуто» была пропета женой самого директора. После каждой вещи музыканты, сидевшие возле моего пюпитра, повторяли мне тихим голосом:

– О сударь! Наше почтение, наше почтение!

От волнения они не могли прибавить ни слова…» И Кребс, до умопомрачения приверженный к традиционной школе, заявил Гектору (хотя неизвестно, было ли это похвалой):

– Через несколько лет ваша музыка облетит всю Германию. Она станет здесь популярной, и это будет Отметим, что это выступление Берлиоза вызвало такое волнение, что Роберт Грипенкерк издал целый труд о пребывании Гектора в Брауншвейге и завязал с шумановской «Нейе цайтшрифт фюр мюзик» ученый спор о «французском Бетховене». Отметим также, что музыканты приложили столько усердия, что контрабасист, содрав при исполнении пиччикато кожу на указательном пальце правой руки, стоически продолжал играть, несмотря на сильное кровотечение, Какое отличие от Парижа, где инструменталисты во время репетиций читали романы или писали любовные письма! большим несчастьем. Какие она вызовет подражания! Какой стиль! Какие безумства! Для искусства было бы лучше, если бы вы совсем не родились!

В этих прочувствованных словах было заключено признание власти берлиозовской музыки над душами слушателей.

Наконец, Берлин (28 марта), где Гектор общался с Мейербером, командовавшим там музыкальными силами.

20 апреля в роскошном зале Оперы был дан первый концерт; мастерское исполнение и несмолкаемые аплодисменты. Его величество король Пруссии Фридрих Вильгельм IV пригласил Гектора во дворец и пообещал ему – неслыханный почет! – присутствовать на его втором концерте. И, желая оказать композитору особую честь, он тут же преподнес ему приятный сюрприз: за плотным бархатным занавесом в самом величественном зале дворца был скрыт оркестр из трехсот двадцати музыкантов. Неожиданно король подал незаметный знак: открылся огромный занавес, и торжественно грянула увертюра «Тайные судьи».

Его величество, верный своему обещанию, специально приехал из Потсдама аплодировать великому французскому композитору и попросить у него в исключительно лестных выражениях копию «Праздника у Капулетти» для «популяризации в Пруссии»[121].

«Таким образом, представитель «Молодой Франции» был сенсационной достопримечательностью, модным великим человеком».

Ганновер.

Местная критика, признавшая гениальность композитора, восхищалась смелостью его идей, глубоким знанием каждого инструмента, умением достигнуть самых интересных эффектов.

Ганноверский кронпринц своим присутствием еще усилил блеск фестиваля.

«Я имел честь беседовать с ним за несколько минут перед моим отъездом, – писал Гектор, – и считаю себя счастливым оттого, что смог узнать его приветливость, изящество манер и изысканность ума, ничуть не пострадавшего от постигшего его ужасного несчастья (потери зрения)».

Дармштадт.

Единодушное и взволнованное одобрение аудитории.

II

А теперь, увы, надо было возвращаться, чтобы давать отпор интриганам и наперекор стихиям устраивать концерты; нужно было также вернуться к супружеской жизни или окончательно порвать. Последнее терзало его до боли.

Во время долгих странствий, среди оваций и лавров образ жены и маленького Луи никогда не стирался у него из памяти. Он посылал им все свободные деньги и беспрестанно винил себя в

том, что разбил их жизнь и принес в жертву их счастье. Он все еще любил Гэрриет, свою Офелию, и боготворил шестилетнего сына, оплакивая жестокую судьбу этого чистого создания, в которой был повинен он сам – его отец.

Но мог ли он вновь завязать отношения с женщиной, ожесточенной ревностью, озлобленной уходом со сцены и потерей успеха, предпочитавшей ныне скорее лишать себя хлеба, чем вина?

Разумеется, данная им некогда клятва верной и вечной любви жгла ему сердце, но он не представлял себе, что сможет когда-нибудь возродить умершую идиллию.

20 мая он приехал в Париж, но не вернулся на улицу Лондр.

Впрочем, как смог бы он это сделать? Мария Ресио не отходила от него ни на минуту, опасаясь нового бегства.

И тем не менее на другой же день он помчался к жене и дорогому сыну.

Он был на этот раз сдержан, корректен, взволнован. Говорили даже, будто на его ресницах задрожала слеза, когда у него на руках пристроился мальчуган, ища тепла и нежности.

Кто знает? Может быть, в голове маленького Луи проносились такие мысли: «Все мои товарищи живут со своими отцами. Почему так далеко от нас должен быть мой? Мне так хотелось бы приласкать его, ведь его так несправедливо обижают».

Непокорный лев, в ком инстинкт борьбы не иссушил чувств, все понимал. Он молчал. Он страдал.

Но, несмотря на нежность и муки свидания, Гектор и Гэрриет быстро договорились, что не будут возобновлять тягостного супружества. Гектор пообещал часто приходить и полностью содержать свою семью.

Бедный Гектор! Теперь тебе предстоит еще больше марать бумаги, еще чаще обивать пороги редакций газет и умножить бессонные ночи, и без того нередкие.

И он немедленно начал вновь писать фельетоны в «Деба», приносившие заработок, мучения и служившие оружием[122], продолжая между тем сочинять новое произведение – «Кровавую монахиню».

Упорная, изнурительная, рабская работа; едва ему удавалось выкроить свободную монету, он спешил к сыну и Гэрриет, ставшей ему добрым другом, хотя иногда она забывалась и в ней вновь внезапно пробуждалась ревность. Может быть, слово «ревность» принижает истинное чувство, ее одушевлявшее; следовало сказать «забота о чести Гектора», поскольку последний оказался жертвой мяукающей Марии и ее святейшей матушки,

достойной сеньоры Мартин Соетера де Вильяс Ресио; и та и другая походили на вампиров, сосущих из него кровь до последней капли. Так, оплачиваемая им квартира была нанята на имя сей благородной дамы, которой Гектор, как и Маржи, выплачивал ежеквартальное содержание, а сверх того взносы за аренду мебели. Взамен эта «милосердная» душа соглашалась играть по отношению к фальшивой чете роль нежной маменьки.

Так можно ли удивляться, что Гэрриет страдала оттого, что Гектор был до такой степени унижен.

Сколько раз неистовый композитор с бранью уступал под напором назойливости, пересиливавшей его отвращение[123], сколько раз, раздираемый укорами совести и раскаянием, клял судьбу, пославшую ему Марию!

Теперь ему казалось, что подле жены он находил временное успокоение. У нее в доме он получал почту; Гектор охотно говорил о Гэрриет, силясь таким образом спасти свою репутацию перед жестокой к нему парижской публикой.

Нет, сердце Гектора, вынужденного напрягать силы и закаляться для беспрестанной борьбы, и впрямь не было каменным.

Ревностные приверженцы спрашивали Гектора:

– Почему не стало концертов? Ими ты мог бы одолеть врагов и утвердить свое превосходство.

– Две семьи и непрерывное напряжение сил… Не дашь ли ты угаснуть своему светильнику?

– Скоро мой час настанет, вооружитесь терпением, – отвечал он.

По правде говоря, он чувствовал себя уязвленным. Он надеялся после триумфального марша за границей, который освещали его «Бюллетени Великой армии», публиковавшиеся в парижской прессе, найти на своей, суровой к нему родине теплый прием, отмеченный раскаянием и любовью. На деле он нашел во Франции недоверие, те же насмешки и ту же враждебность, что безжалостно преследовали его и раньше.

– Как же так? – возмущался он. – Взволнованные залы, воздававшие хвалу владыки, лавры и банкеты в музыкальной Германии – разве все это мне приснилось? Почему лишь Франция пренебрегает мною?

Беспощадная «Шаривари» более не острила. Не было ни насмешек, ни острословья. Одна лишь жестокая ненависть. Она неумолимо изливала желчь, силясь поразить его насмерть.

Человек, покидая родину, увозит ее в своем сознании. И успехи, достигнутые им, ничего не стоят, если не находят отзвука и в том уголке, где он рожден, где любил и страдал. В мечтах он

видел свое возвращение среди неистовых приветствий, видел, как девушка, подобная ангелу, возлагает на его голову венок, дающий бессмертие. И каким разочарованием для Гектора была эта ненависть к нему, человеку, повинному в том, что его гений сиял за пределами родины! Однако его никогда не посещало уныние, была лишь, горечь.

III

Шли дни, недели, месяцы. Не отступит ли он, несмотря на твердость на словах?

Нет, никогда! Судьба пожелала, чтобы он всегда жил со шпагой в руке, чтобы защищался и бил наповал. Ну что ж, быть посему!

19 ноября он появился, наконец, перед парижской публикой в зале Консерватории. Расхорохорившийся петух, ставший в боевую позу. Успех? Он не допускал и тени сомнения, но тревожился по поводу численности и боеспособности своей «гвардии», вожди которой, хотя и полные решимости, были в смятении: недавно, случилось важнейшее событие – умер романтизм.

Прошли дни, когда люди из «Молодой Франции» с развевающимися волосами и в ярких жилетах бились в кровь, чтобы навсегда покончить с древними канонами, деспотично стоящими у власти. Романтизм, рожденный вместе с «Эрнани», испустил дух в возрасте тринадцати лет, в день постановки «Бургграфов» 7 марта 1843 года. «Подагрики» убили воображение и чувствительность, отвагу и яркость красок. То был возврат к сухому разуму, лишенному крыльев и звучных аккордов. Конец восторгам и развевающимся на ветру рыцарским султанам! Да здравствует холодная пошлость, увешанная лентами! Безвкусица торжествует.

Чем был этот концерт после гибели романтизма?

Заглянем в музыкальный отчет. Если определить его одним словом, то он был триумфом.

«Аплодисменты, топот… – писал Т. Лабар во «Франс мюзикаль», – это было прекрасно, трижды прекрасно!»[124] Тем не менее свирепые хулители Гектора вновь разбушевались, разжигая его травлю. А между тем с какой тонкостью подходили к его оценке за границей!

Вот, в частности, что писал Вист[125]:

«Берлиоз познал все радости и горести славы. Ему была пожалована золотая корона и богато украшенная дирижерская палочка. Критика терзала его. Постоянные преувеличения как в похвалах, так и в порицаниях… Но это-то и доказывает лучше

всего подлинную ценность человека. Повсюду, где Берлиоз появляется со своей музыкой, он пробуждает жаркие страсти…»

И уместно добавить: «Там – любовь и уважение как к человеку, так и к его творениям, там признание того, что прогресс может родиться лишь в столкновении теорий. Во Франции по адресу Гектора и его гения резкая, ядовитая критика и клевета».

Великий боже, до каких же пор так будет продолжаться?

IV

Однако Гектор глух к брани и насмешкам, он не без основания считает свой последний концерт блестящей удачей. Ему кажется, что настал час любыми средствами добиваться цели. Он силится получить директорский жезл в Опере, который предоставил бы ему музыкальную диктатуру. И, подготавливая фестиваль, он осаждает Оперу.

Музыканты на его стороне, так как сборы от фестиваля пойдут в их пенсионную кассу.

В Опере каждый день чинят новые препятствия, переносят сроки. Благовидные предлоги, увертки… Пытаются воспользоваться вызывающим упорством Берлиоза. Возбуждают соперничество певцов. Невозможно согласовать программу…

Еще целый месяц выясняли претензии, состязались в честолюбии, вели переговоры.

Шансы Гектора заполучить директорский жезл и занять таким образом прочное, надежное положение, дающее шесть тысяч франков жалованья, с каждым днем все уменьшались и уменьшались.

В конце концов Гектор был оттеснен. Коварство врагов еще раз восторжествовало над его гением.

V

9 декабря

День сорокалетия Гектора. Дадим его портрет. Вот как его описывает верный д'Ортиг:

«Гектор Берлиоз среднего роста, но хорошо сложен. Однако сидя он кажется гораздо крупнее, вне сомнения, из-за мужественного облика. Черты лица красивы и весьма резко обозначены: орлиный нос, тонкие губы и маленький рот, выступающий подбородок, глубоко посаженные глаза с пронзительным взглядом, иногда подернутые пеленой томной

меланхолии; волны длинных светлых волос затеняют уже изборожденный морщинами лоб, хранящий следы бурных страстей, с самого детства волновавших его душу».

Любопытный портрет Берлиоза того времени оставил нам и Барбе д'Оревильи: «Я видел его единожды, но он глубоко меня поразил. Он был еще молод. Взъерошенный рыжеватый блондин, нервозный и угловатый. У него был орлиный нос и странная внешность зверя, каких изображают на гербах. Хмуростью и выражением лица он напоминал льва, снятого с площадки в Тюильри, который с угрюмым видом разрывал змею. И он, безусловно, растерзал ее, но еще больше он уничтожил той мошкары, тех гнусных отбросов земли, что причиняли, согласно басне, страдания царю зверей и которых он мог бы просто презреть. Огромный артист, обуреваемый гневом Самсона против филистимлян, он не остынет никогда в жизни – ни на один день, ни на одну минуту…»

1844

I

3 февраля. Первое исполнение в зале Герца «Римского карнавала»[126], и Гектор, как обычно, уплатил дань злословию, подлой зависти и лютой ненависти.

В это время он пишет свой шедевр – «Музыкальное путешествие в Германию и Италию», где остроумие и тонкость состязаются с совершенством стиля. Гектор блещет богатой эрудицией, ему широко открыты области человеческих знаний! Фразы чаруют изяществом, слово – образностью и колоритом[127].

Его стройное, глубокое произведение было тут же переведено на немецкий язык и вышло одновременно в Лейпциге и Гамбурге, где каждый считал своим долгом его прочитать, испытывая при этом наслаждение.

И только Франция из-за козней интриганов бойкотировала замечательную книгу.

В ту же пору Шоненбергер издал знаменитый «Трактат по инструментовке», где Гектор «мастерски обобщил свой опыт дирижера и выразил пожелания будущим музыкантам». На прекрасное исследование не было ни одной рецензии, лишь несколько хвалебных откликов в дружественных газетах.

6 апреля

Новый концерт в Комической опере. И снова враждебный

прием.

II

В мае открылась Выставка промышленных изделий.

По случаю ее закрытия Гектор вместе с распорядителем пышных празднеств И. Штраусом, замыслил устроить грандиозный фестиваль с выступлением огромного оркестра.

«Его паузы, – предсказывал Гектор, – будут возвышенны, как сон океана, его волнение уподобится урагану в тропиках, его взрывы – громам вулканов. Здесь будут и стоны, и шепот, и таинственные звуки девственных лесов, вопли, мольбы, победные и траурные песни народа с широкой душой, горячим сердцем, необузданными страстями. Его молчание своей торжественностью навеет страх, и самые непокорные умы содрогнутся, услышав крещендо, нарастающее, словно необъятный и величественный пожар!..»

Какой стиль! Воистину им могли бы гордиться лучшие литераторы.

По его плану грандиозный фестиваль должен был продолжаться три дня: сначала концерт под открытым небом, затем бал и в заключение банкет. Небывалое дело – оркестр должен был насчитывать тысячу исполнителей. Как известно, Гектор испытывал отвращение к заурядному, он всегда искал сенсаций.

Но тут возникло непредвиденное препятствие: чтобы организовать подобные торжества, необходимо было добиться разрешения префекта полиции. А высокопоставленный чиновник ответил на прошение Гектора категорическим отказом. Какие махинации послужили тому причиной? Достоверно неизвестно. Возможно, что лицемерный Габенек, враждебный ко всему, что Гектор предпринимал, внушил сему защитнику общественного порядка во время секретной аудиенции мысль об угрозе серьезных волнений. Как поведут себя перед гигантским оркестром тысячи разношерстных и возбужденных слушателей? Начнись беспорядки, сможет ли кто успокоить публику?

А банкет? Из-за него будут запружены Елисейские поля! Какая опасность, да еще в двух шагах от дворца Тюильри!

Искусство значило мало. Вероломный дирижер, которого Гектор с полным основанием не желал подпускать к концерту, бил в точку, делая ставку на страх префекта перед ответственностью.

Итак, полиция сказала: «Нет!» И по Парижу тут же прошел слух, будто грандиозные празднества, задуманные вулканическим

композитором, были мертворожденными. Тогда во враждебном стане вспыхнуло веселье: больше холеры там боялись успеха концерта, который мог бы стать легендарным.

Увы, ничто не давалось нашему неутомимому борцу сразу, легко. Для него все обращалось в трудности. Недаром же он твердит: «Чем больше артист, тем больше он должен страдать».

Но Гектор не признал поражения.

Силой доводов, неугасимым огнем веры в торжество предприятия он сумел убедить его величество Андре Бертена, с мнением которого считался двор. И вот властный голос зазвучал во всех министерствах, ратуя за такой концерт.

О власть прессы, повелевающей общественным мнением! Префект, распекаемый своими начальниками, словно попавшийся на шалости мальчишка, принес повинную и, отказавшись от собственного решения, разрешил концерт без всяких ограничений.

Итак, Гектор перед всем Парижем, съехавшимся, чтобы ему рукоплескать (на это он рассчитывал), скоро будет своей воспламеняющей палочкой победоносно командовать целой армией музыкантов.

Великое событие, какого еще никогда не было!

Ликование безжалостной клики, к которой тайно принадлежал Габенек, сменилось растерянностью.

Что же предпримет клика, как изольет свою злобу? Посмотрим.

Наступило 1 августа.

Задолго до начала концерта Париж пришел в движение. По всем улицам кареты, кареты и снова кареты. Все едут на фестиваль. Скоро публика наводнила огромный зал машин. Давка. Больше шести тысяч человек!

Первый дирижер Гектор, забравшись на самый верх, управляет семью вторыми дирижерами, которые повторяют для тысячи оркестрантов[128] движения главной палочки.

В программе фигурировала, в частности, «Песня промышленников» на слова Адольфа Дюма. Каждая исполнявшаяся вещь восхищала публику. Гектора беспрерывно (говорят, двадцать раз) прерывали неистовые возгласы «браво» и исступленные аплодисменты, сигнал к которым подавал лично его королевское высочество герцог де Монпансье.

Когда чудесно слившиеся воедино звуки тысячи инструментов достигали наивысшего напряжения, казалось, будто вся планета заполнена безбрежным океаном музыки, и сердца замирали от неведомого очарования. Затерянные в этом

окружении заговорщики, пришедшие сеять: замешательство и смуту, были вынуждены, кипя злобой, отступиться от своих замыслов и затихнуть.

Однако на другой день они развернули общее наступление против Гектора, которого еще никогда столь гнусно не атаковали перьями и карандашами. Они с омерзительным бесстыдством отрицали очевидные факты, называли сияющее солнце кромешной мглой.

Выручка от концерта составила 37 тысяч франков[129]. Но после всех расчетов Гектору осталось всего 800 франков, хотя он и получил в придачу волнующее свидетельство уважения и восхищения.

«Господин герцог де Монпансье, сын короля, в знак большого удовлетворения от фестиваля велел послать знаменитому композитору великолепную фарфоровую вазу»[130].

III

Но напряжение, необходимое, чтобы все организовать, уладить и согласовать, измотало Гектора. Его орлиное лицо цветом напоминало теперь старый пергамент. Широкие темные круги обрамляли большие грустные глаза.

На другой день после музыкального фестиваля Гектор, еще пребывающий в лихорадочном возбуждении от триумфа, повстречал своего бывшего учителя анатомии Амюсса, призвавшего его к осторожности:

– Остерегайтесь тифозной горячки, – сказал тот.

В «Мемуарах» Гектор рассказывает:

«– Ну что ж, не будем откладывать назавтра, пустите мне кровь сейчас, – ответил я ему.

Я без промедления скинул одежду. Амюсса обильно пустил мне кровь и сказал:

– А теперь сделайте мне одолжение, покиньте Париж, и как можно скорей. Отправляйтесь на Гиерские острова, в Канны, Ниццу, куда угодно, но только поезжайте на юг, дышите морским воздухом и не думайте больше обо всех тех вещах, что горячат вашу кровь и возбуждают вашу нервную систему, уже и так столь раздраженную. Прощайте, отбросьте все сомнения».

И Гектор, наверное, подумал:

«Как видно, это судьба. Бог посылает мне одновременно и усталость и средство от нее отделаться».

С довольным видом он ощупал свой карман и убедился, что 800 франков, принесенных фестивалем, спокойно лежат на месте.

IV

Ницца.

Приехав сюда, Гектор воскликнул:

– Ницца! Моя тайная мечта, рай, достойный стать пристанищем после стольких странствий!

Его опьяняло очарование этого города-цветка, города-благоухания, города-поцелуя, и он внезапно почувствовал потребность в отдыхе и спокойной жизни. Он, ураган, чья жизнь состояла сплошь из вызовов, брошенных или принятых, радовался передышке.

По правде говоря, передышке недолгой.

Действительно, едва он отдышался, едва его бледное лицо вновь окрасил румянец, он воспылал нетерпеливым желанием броситься в бой, страдая оттого, что он называл «болезнью одиночества»[131], которая является и болезнью раздумья.

Свидание с прошлым! Мысли невольно возвращали его к первому приезду в Ниццу из-за коварной Камиллы Мок…

«Я дешево отделался!» – говорил он себе и, размышляя о любви, вызывал в памяти (какая сердечная рана!) Офелию – свою жену и мать своего ребенка… Ныне он испытывал тиранию Марии! Какая же из женщин была наиболее достойна его любви? Конечно, та, которую он вырвал у театра и успеха, та, что родила ему сына и ныне, покинутая им, пытается забыться в вине.

В Ницце он восторгался солнцем, потому что солнце – могучая сила, потому что оно побеждает. По ночам, когда разливалась таинственная тишина, он любил слушать тяжелое дыхание моря, мечтая, чтобы разразилась гроза; и в одну из ночей, как бы по его воле, внезапно загремел гром и вздыбились во тьме валы, подобные призракам.

О, как величествен неистовый концерт моря! Дождь со свистом и стоном уходил вдаль под порывами ветра, который, воя, требовал пространства. И пока ревели разгневанные волны, робкий месяц прятался за темные тучи.

Какая музыка людей способна так возбудить зрение, слух и разум? Какой великолепный праздник!

«Вот где настоящая музыка! – Думал Гектор. – Подобно природе во гневе, симфоническое произведение должно вызывать массу чувств, чтобы околдовать, зажечь, поразить душу.

Когда море и буря ослепляют или вызывают ужас своим величием, разве подчиняются они правилам? Подобно природе, артист должен творить в полной независимости и стремиться лишь расковать человеческие души».

Наследники Керубини! Прошу вас, довольно споров об

искусстве. Зачем вы спорите? Где начинается романтизм, фантазия? Где кончается ортодоксальность? Ваши препирательства не стоят выеденного яйца. Все равно что спорить о том, какого пола ангелы.

Нам это безразлично, мы хотим волноваться, хотим переживать. Не все ль равно, что пить, лишь бы во хмелю быть!

Но довольно!

V

– Моя шпага заржавеет в ножнах! – воскликнул в один прекрасный день Гектор. – Пора возвращаться в Париж!

Тем более, что последнее су из восьмиста франков, заработанных на фестивале, уже улетучилось.

Середина сентября

Париж встречает Гектора враждебно. Интриганы без устали лили на него гнусную клевету; днем и ночью они только и помышляли, как бы полнее в своих интересах использовать его отсутствие.

Что делать? Две семьи – и весь в долгах. Где искать путь спасения?

Провидение пришло ему на помощь.

Адольф Франкони, директор Олимпийского цирка, присутствовавший на знаменитом фестивале, счел Гектора человеком, умеющим беспримерно увлекать людей. Франкони слыл весельчаком, какие часто встречаются в кругах, где любят развлекаться, и был предприимчив соразмерно своим крупным доходам. Однажды он пришел в «Деба» и обратился к Гектору:

– Я вас видел, слышал, – и я восхищен. Предоставляю вам Олимпийский цирк для организации концертов.

– Превосходно! Но на каких условиях?

– Все расходы за мой счет.

– А доходы?

– Будут поделены.

В ответ вместо обычного «тысяча чертей!» Гектор воскликнул:

– Слава тебе, господи! Я ваш!

1845

I

Январь

Пройдем мимо хлопот, репетиций, рекламы, борьбы, достигшей теперь апогея.

Первый концерт. Почти полный провал. Париж был обманут и объявил бойкот. Клеветнические статьи победили.

«Шаривари» рядом с колючими, насмешливыми эпиграммами поместила литографию, изображающую концерт: на переднем плане арабские вожди, «приехавшие во Францию, чтобы все увидеть и услышать», корчатся в своих бурнусах от ужаса, заткнув уши и, как удавленные, разинув рты. В глубине, среди оркестра из труб и тарелок, вырисовывается тощий профиль Берлиоза, выпялившего грудь, полы его одежды и волосы вздыблены ураганным ветром.

После второго концерта кажется, что предприятие провалилось, однако Гектор настаивает на продолжении.

Третий концерт вызвал тревогу, но Гектор все еще упорствовал.

После четвертого ему пришлось отказаться от продолжения[132]. Франкони потерпел большой убыток.

И вновь мучительный вопрос! что делать дальше?

«Увы, ничего не осталось – ни концертов, ни театров. Все для него закрыто. Несправедливый и глупый мир, ты обречен потреблять третьесортные товары. Двадцать лет трудов и борьбы, произведения, которые, он уверен, будут жить… И все напрасно! Симфонии, куда он вложил всю свою жизнь, все свое сердце, обречены на безмолвие и медленную смерть, партитуры истлевают в папках! Его гений, его созидательная сила, его потребность в излиянии чувств пожизненно заточены в темницу»[133].

II

– Попытайтесь совершить блистательное турне в провинцию, – советовали ему.

– В провинцию? Если бы она не была отравлена Мейербером и Россини, чванливыми властелинами французских театров!

Но разве был у Гектора выбор? Разумеется, нет!

И он отправился на юг.

В Марселе и Лионе его ждал прохладный, разочаровывающий прием.

Как он и опасался, вся страна страдала неизлечимым россинизмом и мейерберизмом.

Тогда он возвратился в столицу, кляня итальянца и немца, высочайше повелевавших во Франции, где к нему, французу, относились с суровым осуждением.

То, что они иностранцы, куда ни шло; дух французского либерализма легко допускает, что искусство не имеет родины. Разве он сам, Гектор, не познал в Германии головокружительный успех? Он бы искренне порадовался всемогуществу нового Бетховена или Шумана, чья душа гармонично роднилась с его душой, но между ним и обоими узурпаторами славы со скверным музыкальным почерком зияла пропасть.

Что же делать дальше? За что взяться?

III

Но вот судьба даровала ему передышку, временный покой. До завтра, мрачные мысли, до завтра, трудные решения!

Август

Лист, человек неистощимой доброты, несколько лет собирал по всему миру пожертвования, чтобы в Бонне, родном городе Бетховена, воздвигнуть памятник этому гиганту музыки. Наконец, средства собраны, статуя отлита, все музыкальные знаменитости и самые выдающиеся люди Европы приглашены почтить память гения. Гектор в обществе известного критика Жюля Жанена, чьи авторитетные высказывания не подлежали обсуждению, приехал в Бонн представлять газету «Деба».

Прусский король и английские коронованные особы своим присутствием придали открытию еще большую пышность. Никогда не собиралось столько музыкальных знаменитостей, чтобы воздать запоздалые почести непризнанному гиганту. Здесь были воклюзец Фелисьен Давид, вознесенный на вершину славы благодаря модным во Франции «Пустыне» и «Ласточкам», композитор-виртуоз Леон Крейцер, Мегюль из Льежа, Мошелес, Гур из Франкфурта, Шпор из Касселя и добрый Шиндлер, на чьей визитной карточке были лишь слова «друг Бетховена».

Какое окружение! Какая радость для Гектора ощутить свою славу! И вправду, все его знают, каждый оказывает ему внимание. «Но почему все иначе в моей стране?» – думал он с болью и часто на другом берегу Рейна, в Кенигсвинтере, где он любил уединяться, разговаривал в мечтах с духом Бетховена:

«…Судьба преследовала тебя, отняв у тебя звуки. Несчастный глухой! Может ли быть большее горе для композитора?

…Но, несмотря на твой гений и недуг, тебя безжалостно истязали. Как и меня.

И, однако, свою кровь и плоть ты перегонял в хмель для людей.

…Итальянец Россини царствовал и в твоей стране, тебя же

считали чудаковатым стариком. И когда ты узнал, что Вена в знак признательности преподнесла ему на серебряном подносе кругленький капиталец, ты, умирающий от голода у себя дома, и не подумал посылать проклятия на голову пришельца. Почему не удалось изведать мне, великий учитель, счастливую судьбу Роберта Шумана, моего брата по романтизму, который нашел на твоей могиле перо, посланное, как видно, самим тобою и вдохновившее его на самые безупречные шедевры?..»

IV

Возвращение. Военный совет чистокровных, истинных, ультрапреданных. Председательствует Гектор. Вместе со своими приверженцами, еще большими берлиозцами, чем он сам, Гектор решил:

«Я попрошу заграницу просветить мою страну». Тут наступил миг взволнованной тишины, потому что все фанатичные романтики по-сыновьи любили свою милую Францию.

Сколько дел надо урегулировать! И прежде всего денежные. Гектор по обыкновению на мели. Нигде ни гроша, хоть обшарь все карманы и перерой ящики.

Необходимо принять меры. Его портной с каменным сердцем поддался жалости и не без тревоги принял векселя, хотя и очень краткосрочные. Мясники, булочники – поставщики законной и незаконной семьи, – слава богу, подождут с уплатой долга. Гэрриет и маленький Луи в отсутствие Гектора будут стойко выносить нужду. Когда они сообщили о своей решимости, старый бесстрашный борец с орлиной внешностью не мог удержать слез.

Гектор, как и во время прошлого путешествия, оставит им свое жалованье.

Наконец, несколько преданных друзей, подобно богомольцам, возложившим на алтарь свои сердца, полные горячей веры, устроили складчину на поездку Гектору.

А теперь в путь!

Он везет с собой пожитки, надежды и, увы, Марию Ресио!

Оставь сомнения, Гектор. Пословица говорит: «Несть пророка в своем отечестве». Поезжай за границу, где тебя понимают и ценят, а потом возвращайся с лавровым венком. Попытай там свое счастье; твои злобные преследователи, приведенные в замешательство отзвуками твоих триумфов в мире, наконец, воздадут тебе должное, покорно сложат оружие. Особенно если ты принесешь покаяние.

Покаяться? Этому не бывать никогда!

Повторим, что Гектор предпочел бы смерть отречению. Он с

жалостью относится к еретикам и презирает вероотступников.

V

3 ноября

Приезд в Вену.

Три концерта, затем, по единодушному требованию, четвертый, не предусмотренный программой. «Римский карнавал» приходилось исполнять два, а то и три раза[134].

Гектор принят в избранных салонах и щедро раздает автографы.

8 городе только и говорят, что о французском маэстро. «Сногсшибательный успех, – писал последний своим друзьям. – Здесь дошли до того, что делают даже паштеты, носящие мое имя!..»

9 декабря был устроен большой банкет по случаю дня его рождения. Кто бы мог подумать об этом во Франции? Речи, портреты, лавровые венки, дирижерская палочка из позолоченного серебра.

30 декабря

Театр полон. Присутствуют кронпринц и его супруга, эрцгерцогиня София. Знаменитый критик Грильпарцер, проводя параллель между Гектором и Давидом, писал:

«Для меня Берлиоз – гений без таланта, а Давид[135] – талант без гения».

Вот некоторые высказывания прессы:

«Господин Берлиоз – своего рода умственная закваска, приводящая в брожение все умы…»

«Господин Берлиоз – это музыкальное землетрясение…»

VI

А теперь остановимся ненадолго на одном важном событии.

Пока следовали друг за другом шумные концерты и бешеные овации, Гектор продолжал сочинять. Умиротворенный и окруженный славой, он удваивает веру в себя и в свои силы. Он возобновляет работу над «Восемью сценами из «Фауста», желая слить их в единое произведение[136].

На борту пароходов, мечтая над древним, окруженным легендами Дунаем, в случайных живописных харчевнях, в заснеженных лесах, где голые деревья объяты трепетом и плачут тяжелыми хрустальными слезами по яркому ушедшему лету,

возле высоких каминов, где резво пляшут, свистят и поют языки пламени, – повсюду, прислушиваясь и наблюдая, Гектор работает. Везде у него рождаются идеи, он вынашивает их, наделяет душой и величием.

Так рождаются «величественное обращение к природе», «Сцена на берегах Эльбы», «Балет сильфов» и бессмертный «Венгерский марш».

Но подозревал ли он, что воздвигает в этот момент самый поразительный музыкальный памятник своего века?

Безусловно, нет. Еще меньше, видимо, подозревала о том Мария Ресио, изумлявшая всех своим бурным темпераментом. Она постоянно только мешала его работе. Она отчитывала, приказывала, не задумываясь о том, что прерывает творческую мысль гения.

– Гектор, я нашла только одну мою туфлю. Посмотри скорей под кроватью.

И поскольку маэстро продолжает следовать за полетом озарившей его мысли, нетерпеливо добавляла:

– Ну же, Гектор, поскорее, я жду.

И великий творец ураганных ритмов подчинялся и раболепно шарил рукой, между тем как посетитель, его поклонник, пришедший, чтобы вблизи увидеть маэстро и задать ему несколько вопросов, поражался тому, до какой степени унижен великий человек.

Так Мария обломала когти льву, павшему к ее ногам.

И если хищник еще рычит, так только в своей партитуре.

Сколько героев, перед которыми трепетало все живое, были очарованы, приручены и так же преображались во влюбленных пажей[137].

Не была ли права Гэрриет, когда говорила Гектору:

– Пойми: если я и стремлюсь оторвать тебя от этой женщины, то не столько из уязвленной ревности, сколько заботясь о твоем достоинстве.

Вот слуга гостиницы «Голубая звезда», где они жили, принес несколько писем. Гектор не решается протянуть руку к почте, которую ждет. Ею овладевает Мария. Она читает одно письмо и яростно рвет, другое благоволит передать Гектору, произнеся сухо:

– Мы посмотрим, что ответить. Или даже еще решительней:

– Я над этим подумаю.

Иногда она долго и тщательно изучает бумагу послания, бросая на Гектора насмешливые и подозрительные взгляды, словно между видимыми строками проступают симпатические чернила.

Чтобы рассеять тягостное впечатление, которое испытывает оцепеневший и потерявший дар речи посетитель, Гектор что-то рассказывает, шутит – и все это с блеском, еще усиливающим его обаяние. Ум его искрится, словно фейерверк.

И верно, он неотразим, когда успех повергает его в радостное возбуждение.

Мария уже гневно смотрит на него, будто говорит: «Скоро ли все это кончится?»

Он и сам не прочь бы это прекратить и для того собирается выйти из дому.

Но разве он имеет право? Только с ней и в Оперу.

– Говорят тебе, Гектор, оставайся на месте, – приказывает она и принимается поносить его, не стесняясь в словах.

Однако, когда нужно, она превосходно изображает наивность и приветливость. Только вчера, добиваясь ангажемента у директора театра, она казалась таинственной и невинной в своей необычной красоте, лукаво опуская длинные шелковые ресницы, чтобы скрыть свой дерзкий взгляд.

Твой укротитель и тюремщик, Гектор, хорошо стережет тебя – покорившегося узника.

1846

I

Январь

Прага.

Три концерта, вызвавших у пражан неистовый восторг.

«Альгемейне музикалише цайтунг» писала:

«Берлиоз – гений, но он еще и француз; живость чувств, характерная для этого народа, находит выражение и в его произведениях».

Томас Шек, ставя Гектора Берлиоза выше самого Бетховена, восклицает: «Бетховен часто обычен, Берлиоз – никогда!»

А вот большая статья Ганслика из Праги, в которой все сказано:

«Для Берлиоза место и время не могли быть более благоприятными. Тесные оковы классицизма тяжело давили на пражан, между тем как музыкальным Институтом – Консерваторией руководил человек, признававший Бетховена только до Третьей симфонии. Пражане, держались за Гайдна, Моцарта, Шпора и Онслова; глубоко тронутые любезным заявлением Моцарта («пражане меня понимают»), они словно были реакционны в своих вкусах. Приход к руководству

Консерваторией молодого и предприимчивого Киттля сломал лед. Последние произведения Бетховена, поэмы для оркестра Мендельсона разожгли публику; вскоре состоялось знакомство с Гаде и Гиллером, дошли до того, что рискнули исполнить «Пери» Шумана и увертюру к «Королю Лиру» Берлиоза. Несколько молодых дилетантов стали считать «Нойе Цайтшрифт» Шумана настольным изданием и под председательством ученого Амброса примкнули к «Братству Давида»[138]. Мы с воодушевлением играли Шумана и Берлиоза в ту пору; когда первого знали в самых крупных городах лишь как «мужа Клары Вик», а второго путали с Берио. Несколькими годами раньше Шуман с восторгом отметил гениальную оригинальность Берлиоза, представляя ее такими прекрасными словами: «Его музыка – сверкающая шпага. Пусть мое слово послужит ножнами для ее хранения».

«Германия, – продолжал Ганслик, – начала выправлять ту несправедливость, что совершила по отношению к Берлиозу Франция. Великий непризнанный композитор сам обернулся, наконец, к нам…

Увеличило и укрепило преклонение перед Берлиозом еще и то впечатление, какое произвели на нас его обаяние и ум, он артист до мозга костей. Художественный идеал поглотил его без остатка, и цель его усилий состояла исключительно в осуществлении того, что он в своем вечно неудовлетворенном порыве признавал великим и прекрасным. Его искусство, о котором можно иметь какое угодно мнение, отмечено удивительной честностью. Все, что есть практичного, расчетливого, эгоистичного и предвзятого, чуждо этому человеку с головой Юпитера…»

На этот раз соперники, Прага и Вена, были едины в своем неистовом восхищении. И Гектор в письме к друзьям скромно подвел итог: «Публика воспламенилась, словно пороховая бочка… Меня боготворили».

6 февраля

Пешт.

«Он велит развесить афиши с объявлением «Марши Ракоци» – военной песни мадьяров. Тотчас же «всколыхнулись национальные чувства» венгров».

«Публика опасалась профанации».

«Концертный зал переполнен, возбужден, может быть, враждебен. Как воспримут этот «Марш», своим звучанием напоминающий битву? В тот миг, когда он должен был, взмахнув палочкой, вызвать ураган звуков, его охватил страх. Волнение сжало горло… Он поднял руку. Позади ни шороха, холодная,

застывшая, грозная тишина. Начало «пиано» тревожит и смущает венгров… Но вот звучит «крещендо» – бурный бег, несущаяся конница… Возбуждение битвы… «Глухой бой барабана, словно продолжительное эхо, разносится далеким пушечным выстрелом». В зале оживление… «Крещендо» все более и более зажигает; зал волнуется, бурлит, гудит… При «фортиссимо», которое он так долго сдерживал от криков и неслыханного топота, казалось, затряслись стены, и волосы у Берлиоза «стали дыбом». Он «затрясся от ужаса». Буря в оркестре казалась бессильной против извержения этого вулкана. Пришлось все начать сызнова… Венгры могли сдерживаться «от силы две-три секунды».

А то ли было бы, если бы они прослушали коду»!

Такой успех открыл Берлиозу увлекающую силу «Венгерского марша», превращенного им в настоящую оркестровую эпопею. Какая блестящая пьеса для финала акта оперы или заключения какой-нибудь части «драматической легенды»[139].

Бреславль. Пресса писала: «Он оставил нам огня по крайней мере на год. Надо надеяться, что музыка в Бреславле извлечет из этого пользу».

Возвращение в Прагу, как и было обещано пражанам. Музыканты, почитавшие за великую честь то, что ими дирижировал Гектор, устроили в «Трех липах» большой банкет, где преподнесли композитору великолепный массивный кубок из золоченого серебра.

Тосты с выражением лучших чувств артистов, тосты князя Рогана, Дрейшока, директора Консерватории Киттля, капельмейстеров театра и собора. Лавровый венок. Здравицы одна за другой, и самый пламенный энтузиаст Лист заявляет, что его друг Берлиоз – «кратер гениальности». Рассказывали, будто знаменитый пианист, выпив несколько больше, чем следовало, отказался возвратиться домой, пожелав прежде схватиться с одним артистом, утверждавшим, что он пил во славу Гектора Берлиоза лучше, чем Лист. И как схватиться? Стреляться из пистолетов, причем с двух шагов. Только и всего!

«За свою жизнь, – писал Гектор, – я не переживал подобных часов».

Русский император велел преподнести ему великолепный перстень, а князь Гогенцоллерн-Гегинген – массивную золотую шкатулку тонкой резьбы, инкрустированную драгоценными камнями.

Брауншвейг. Грандиозный концерт, туго наполнивший кошелек Гектора, несчастный, часто такой тощий кошелек, который разом испустит дух, едва Гектор ступит на землю

Парижа, оттого что маэстро должен будет погасить неотложные долги (в частности, портному) и оплатить счета своей законной французской и незаконной испанской семьи.

Как досадно, Гектор, что твоя жизнь так усложнена! У тебя еще есть время уразуметь истину: упростить свою жизнь – значит успокоить душу и увеличить силы для плодотворной работы.

II

Гектор возвратился в Париж с головой, гудящей от блеска побед. Он спешил, ему не терпелось подарить Франции, глухой к его гению, но которую, несмотря ни на что, он любил, хотя и негодовал на нее, подарить ей первой свое новое произведение – «Осуждение Фауста».

13 марта

Он писал д'Ортигу:

«Париж так мил моему сердцу (Париж – это вы, мои друзья, это умные люди, что в нем живут, это вихрь идей, в котором все движется), что при одной мысли быть вынужденным покинуть его я буквально почувствовал, как у меня из-под ног ускользает земля, и ощутил муки изгнания»[140].

III

Едва вернувшись, он бегает, хлопочет, снова горит. «Осуждение Фауста» должно быть исполнено как можно скорее.

– На сей раз, – объявляет Гектор, – произойдет большой бой! Решающий бой! Париж вынужден будет признать себя побежденным, покоренным.

Мы еще повоюем!

6 декабря

Наконец этот день настал.

Враждебная пресса издевательски насмехалась над пронзительными и раскатистыми звучаниями, которые нравились Гектору.

«Хороша его музыка или плоха, но она наделает шуму», – писали эти газеты, а Теофиль Готье произнес свое знаменитое суждение: «По нашему мнению, Гектор Берлиоз с Виктором Гюго и Эженом Делакруа образуют троицу романтического искусства».

Снег падал крупными хлопьями. Хлестал северный ветер, и Париж жался к огню. Только самые смелые решились отправиться

в Консерваторию на торжественное вручение премий и на благотворительный концерт, организованный господином де Монталиве.

Два часа дня. В полупустом зале Комической оперы публика кажется безразличной. Заняли места в своей роскошной ложе их королевские высочества герцог и герцогиня де Монпансье; их взгляды будто недоумевают: «Вот как? Какое безлюдье!» Обстановка мрачного равнодушия, хотя и объявлено сочинение, рядом с которым померкнут лучшие произведения современности.

Гектор наступает. Поднимается занавес, и раздаются первые звуки. Ни теплоты встречи, ни взрыва оваций. Время от времени смело аплодируют приверженцы Берлиоза, тогда как злые языки перешептываются: «Зал выглядит лучше, чем музыка».

И, увы, вскоре оркестранты и солисты пали духом, начали играть кое-как, и несчастный Гектор стоически присутствовал при агонии, а затем патетической смерти своего творения, куда он вложил весь безудержный романтизм, всю силу огня, бушевавшего в его жилах.

20 декабря

Новый концерт и новый, еще более тяжелый провал. Зал почти пуст, и, говоря об одной из самых выразительных, самых тонких тем этого яркого шедевра, который пройдет сквозь века, непримиримые враги пускали в Гектора отточенные стрелы: «Песнь крысы, – говорили они, – проходит незамеченной потому, что в зале нет кошки».

Ядовитый Скюдо поспешил написать в «Ревю де де монд»: «Господин Берлиоз не только невежествен в искусстве писать для человеческого голоса, но и сам его оркестр представляет собой не более чем скопление звуковых достопримечательностей без тела и духа».

Желчный, пошлый Адольф Адан, кого ненависть вовсе лишала способности мыслить и кому в пору было сочинять для дудки, послал своему другу Спикеру письмо, где к язвительной критике невольно примешалась скромная похвала:

«Тебе известна острота Россини о Берлиозе: «Какое счастье, что этот малый не знает музыки! Он писал бы еще похуже». И верно, Берлиоз – это все, что хочешь, – поэт, идеальный мечтатель, человек таланта, поиска, а подчас изобретатель некоторых созвучий, но только не музыкант.

На этом музыкальном торжестве было очень мало народу, и публика держалась весьма холодно. Двум пьесам, однако, оказали честь, повторив их дважды. Первая – военный марш на

венгерскую тему; здесь мелодия (не принадлежавшая Берлиозу) навязывала ему ритм, чем он обычно пренебрегал, и ярче подчеркивала умелую инструментовку, в которой он разбирается превосходно. Другой повторенной пьесой был небольшой трехтактный темп, рисующий блуждающие огоньки и бестелесных духов, вызванных Мефистофелем. Пьеса была исполнена арфами, виолончелями с сурдиной и несколькими духовыми инструментами. Эффект был восхитительным, и я находился в числе тех, кто наиболее активно требовал повторения. Две удачных пьесы в произведении, длящемся около четырех часов, не делают успеха, и я сильно опасаюсь, что несчастный Берлиоз не окупит свои расходы, которые, по-видимому, были немалыми. В целом этот человек интересен своей настойчивостью и убежденностью; он на ложном пути, но желает доказать нам, что его путь хорош, и будет настаивать на своем до тех пор, пока сможет по нему идти».

Да, желчный Адан, Гектор будет настаивать на своем до самой смерти. Для него заслуга – победить, оставаясь самим собой. Он ненавидит отступничество.

Настаивать бесполезно: третий концерт невозможен. Падение, сходное с гибелью «Бенвенуто Челлини»[141].

Но было и забавное в серьезном.

Несмотря на поражение, о котором шумел весь Париж, Гектор и его друзья захотели разыграть роль победителей. Что ж, не стоит их осуждать. 29 октября в честь «Осуждения» был устроен банкет. Председательствовавший на нем барон Тейлор выступил от писателей, Осборн – от английских, Оффенбах – от немецких деятелей искусства. И наконец, Роже, на ком лежала немалая доля вины за провал «Осуждения», тот Роже, который был сражен пренебрежительным, а подчас враждебным безучастием публики и отказался пропеть «Обращение», не имеющее равных среди музыкальных произведений, сделался восторженным выразителем мнения певцов. И тотчас же было решено на средства, собранные по подписке, в память о знаменательном событии выбить золотую медаль.

Однако кого это могло ввести в заблуждение? Все знали, что «Осуждению» был вынесен жестокий приговор. Но Гектор не любил внушать жалость.

«Шаривари» со своей неизменной «приветливостью» воскликнула: «Глядите, глядите-ка, здесь награждают труп!»

IV

Гектор подвел итог и решил:

«Я разорен. Я задолжал изрядную сумму, которой у меня нет. После двух дней невыразимых страданий я увидел выход из затруднительного положения в путешествии в Россию.

Подобно хищным птицам, я был вынужден добывать себе пищу вдалеке. Лишь в птичнике птицы сытно живут, ступая по своему помету… Меня окружали кретины, занимавшие до трех высокооплачиваемых должностей, такие, как бездарный музыкант Карафа, в пользу которого говорило лишь то, что он не был французом».

К тому же враждебные газеты никогда не поносили его до такой степени, и он по крайней мере на время был отвергнут крупными театрами. Какая горькая участь для того, кому начертано посмертное владычество в музыке!

Как видишь, Гектор, благоприятное время еще не настало. Так уезжай в третий раз. Удались в изгнание из своей страны, упорно не желающей тебя понять.

Сколь кощунственно это изгнание! Несмотря на фрондерство и сарказм, разве не писал ты д'Ортигу во время своей блестящей поездки по Австрии, что тебе предложили вместо недавно умершего Вейфа занять пост руководителя Императорской капеллы и после раздумий ты отказался от этой почетной и спокойной должности, которая позволила бы тебе покончить с жизнью богемы и заботами? Ты отказался потому, что не мог представить себе, что навсегда покинешь свою горячо любимую Францию.

Запасись терпением и жди, Гектор. Быть может, настанет день…

1847

44 года.

I

14 февраля

Подчиняясь внутреннему голосу, Гектор покидает Париж. Ради экономии – без Марии. Чтобы удалиться в изгнание, он занимает тысячу франков в кассе «Деба», пятьсот – у своих горячих поклонников; тысячу двести ему ссудил Фридланд, такую

же сумму – изобретатель саксофона Сакс, сам почти нищий; тысячу франков дал издатель Гетцель, а добрый Бальзак одолжил свою шубу, еще более необходимую там, чем деньги. Бальзаку это было известно.

В газетах, ранее ежедневно поливавших его грязью, теперь о нем не было ни слова, и лишь «Шаривари» внезапно объявила, что г. Эмберлификос в скором времени превратится в г. Берлиозкова.

II

Остановка в Берлине, где маэстро исхлопотал у прусского короля рекомендательное письмо к его сестре, царице всея Руси. Монарх попросил композитора на обратном пути исполнить «Осуждение Фауста»[142].

В путь!

В Тильзите смотритель почтовой, станции любитель литературы и музыки, который видел здесь Бальзака, – услыхав имя Берлиоза, воскликнул: «Как, тот самый!» – и вытянулся перед ним в струнку.

У несчастного Гектора защемило сердце. Так знаменит! Но, увы, вдали от Франции…

III

Нескладная почтовая карета тащится, тащится, скрипит и временами опрокидывается на смерзшийся снег – чистый, бесконечный океан. Холодный ветер жестоко пронзает тело; и кажется, будто лицо царапает бритва. Потом он едет в санях; скорость растет, холод и страдания тоже. Четыре дня и четыре ночи! На какой же край света едет Гектор? Чем заслужил он подобную кару? Он страдает и клянет судьбу.

Терпение, Гектор! Вознаграждение, быть может, не за горами.

IV

Вот она, Россия, обширная, как мир, над которой никогда не заходит солнце, Россия удивительная и многоликая.

Мысли, образы, воспоминания из книг, прочитанных в далекие годы, сменяются в голове Гектора: соперничество разноцветных куполов… наивные, воспламеняющие иконы. Какая мозаика впечатлений!

Нашествие татар, когда Москва пылала, словно факел.

Иван Грозный, его войны и жестокость, истязаемые им жены и убитый ударом посоха сын…

Узурпатор Борис Годунов, погубивший царевича, чтобы надеть на себя корону.

Екатерина Вторая, ее деспотизм, необузданные страсти, ненасытная жажда приключений. И народ, стонущий под кнутом…

Бешеные танцы со сверкающими саблями.

Волга и бурлаки, чья скорбная, жалобная песнь раздается от зари до ночи.

Сибирь во льдах. Кругом сани, сани, сани… И все черты этого великого народа и его легендарного прошлого находят отражение в музыке, которая вобрала в тебя трепет предков, передававшийся из поколения в поколение.

«Но может ли славянская душа понять мое сердце – сердце француза из Дофине? – спрашивал себя Гектор. – Однако, подобно мне, эта странная и сложная душа любит звучания, открывающие неведомое… Россия – родина моих музыкальных ощущений».

V

Санкт-Петербург.

Музыкальные критики, авторы светских хроник представляли Гектора Берлиоза публике в пространных биографических очерках. Они описывали его славную и горестную карьеру, повествовали о злоключениях, что он познал в молодости, обсуждали его талант. «Это Виктор Гюго новой французской музыки», – возвещали они[143].

15 марта большой зал Благородного собрания блистал тысячами огней. Бриллианты люстр, блеск позолоты. Министры, послы, увешанные орденами, генералы в роскошной форме, великие княгини и графини, сверкающие драгоценностями.

Внезапно камергер двора в тишине, выражающей страх и почитание власти, объявил:

– Ее величество императрица!

Тотчас вся публика в волнении склонилась перед императрицей, сопровождаемой великим князем – наследником престола и великим князем Константином.

Сердце Гектора исполнено гордостью: «Императрица, великие князья находятся здесь только ради меня!»

Гектор побеждает. Исступленный восторг, крики, от радости кружится голова; французского маэстро вызывали двенадцать раз.

И вот среди бури оваций императрица велит пригласить к

себе в ложу композитора, вконец смущенного подобной честью. С лестной благосклонностью она поздравляет его и заявляет, что вся Франция может гордиться тем, что имеет среди своих сынов такого выдающегося музыканта.

Это высказывание всколыхнуло в Гекторе и радость и горькие чувства: тотчас после разговора он убежал в артистическую, где долго рыдал.

Результат – 18 тысяч франков. В своих «Мемуарах» Гектор рассказывал:

«Концерт обошелся в шесть тысяч, и мне осталось, таким образом, двенадцать тысяч франков чистой прибыли.

Я был спасен.

И я повернулся к юго-западу и, глядя в сторону Франции, не в силах сдержаться, прошептал:

– Так-то, дорогие парижане!»

Второй концерт. Гектор целиком отдается буйству звуков, в которых полыхают самые высокие страсти. И вновь бешеные овации; чистая прибыль – 12 тысяч франков, а сверх того подаренный императрицей необыкновенный перстень, в котором блестел крупный бриллиант, и присланная княгиней Лехтенберг булавка для галстука, сияющая драгоценными камнями.

Затем Москва. Выручка – 15 тысяч франков.

Возвращение в Санкт-Петербург. Новые победы и радость новой волнующей встречи.

Отметим, что его одинокое сердце, лишенное любви, искало другое сердце, которое заполнило бы эту пустоту, и он был покорен юной хористкой Большого театра, ясностью ее глаз цвета неба и экзотическим обаянием.

Однако в оправдание Гектора надо сказать, что это была чистая любовь, исполненная преклонения перед целомудрием, любовь, лишь сеющая волнение; то была привязанность, отмеченная отеческим чувством. Она, почти девочка, коверкала французские слова, забавно путая их с русскими. Широко открыв глаза и не веря своим ушам, она удивлялась тому, что торжествующий орел удостоил отметить вниманием скромного зяблика. И когда Гектор высказал ей свое сожаление по поводу скорого отъезда, она повторяла по-дочерни ласково:

– Я буду вам писать. Я буду вам писать.

Миг отъезда. Ночь. Почтовая карета проезжает мимо Большого театра. Гектор взволнован и растроган. В волнении он машет платком, не зная даже, может ли она разглядеть его прощальный жест в бархатной мгле уснувшей природы.

И композитор-ураган в память о ней набросал на чистой странице крылатые ноты.

10 мая.

Отъезд в Берлин.

Прусский король напомнил Гектору, что горячо желает прослушать «Осуждение». Маэстро тотчас же ответил согласием, и монарх после исполнения, которым был очарован, наградил композитора крестом Красного Орла и пригласил его в Сан-Суси, на обед с прусской принцессой и господином фон Гумбольдтом.

А теперь Гектор с туго набитыми карманами отправляется в обратный путь.

VI

В третий раз возвращаясь на родину увенчанный славой, он вновь спрашивал себя: неужели не испытают его соотечественники если не укоры совести, то хоть сожаление о его изгнании, которого он не заслужил своей благородной независимостью в искусстве?

«Откроет ли им глаза прием, оказанный мне на чужой земле?» – повторял он про себя.

Подумать только! Многие монархи, чья власть преходяща, чтили власть в моем царстве – царстве музыки, которое вечно. Подумать! Королевы в знак восторга одаривали меня драгоценностями и перстнями, украшенными дорогими камнями. Подумать! Чужеземные ученые мужи, критики, породнили меня с самим Бетховеном. Неужели все эти доказательства и суждения не смогли поколебать упрямства и каменных сердец моих соотечественников? Как знать? Быть может, смиренные моей реабилитацией, равносильной для них пощечине, они обретут достоинство и воскликнут перед лицом приветствовавших меня народов: «Немцы, австрийцы и русские, оставьте нам самим заботу о признании и прославлении родных сынов нашей Франции!» Быть может…

А в горькие минуты он думал:

«Разве я мало боролся? Разве я не провел долгие месяцы без огня в очаге и пищи? Какое преступление я совершил, чем вызвал такое равнодушие и ненависть?

Мое преступление? Я сочинял как велела мне душа.

Мое преступление? Я осмелился пренебречь слепой косностью, заявив, что музыка не может быть сведена к простым уравнениям гармонии.

Мне было бы легче плыть по течению, вместо того чтобы скрещивать клинки… Но нет! Я упорно хотел всегда оставаться самим собой. Если бы я, по примеру бесцветного Буальдье,

сочинял романсы по святейшим канонам теории, если бы я синкопами выражал вздохи и лил в глотки сладкий, ласкающий мед, то я уютно пристроился, бы среди раззолоченных бездарностей. Но что делать? Одним – журчание ручейка средь изумрудных лугов и птичьи голоса в вечерние часы; другим – таким, как я, – стон бури и вопль пещерных великанов. Нет, я не отрекусь. Я хочу оркестровать величие заоблачных снежных вершин, пенистых волн океана,, непокоренный город, извивающийся в пламени пожара. Нет, я не сдамся никогда! Я хочу умереть стоя, всегда храня гордость, оставаясь самим собой, я не желаю подчиниться навязанным правилам, устарелым принципам, я не буду лебезить перед важными персонами, которые отрицают прогресс и живут ложным представлением о собственной значимости».

Таков был ход его мыслей в тот вечер раздумий.

Увы, несмотря на победоносные сообщения, поступавшие из Вены, Берлина и Петербурга и публиковавшиеся в парижских газетах (часто по просьбе нашего героя, знающего, что никто о тебе так не позаботится, как ты сам), несмотря на все взволнованные отклики о его триумфе, Париж не соблаговолил заметить возвращение Гектора. Непримиримая вражда не умерла.

Цезарь с челом, увенчанным лаврами, которого повсюду боготворили и прославляли, в лоне своей родины оставался, увы, непризнанным, униженным, нередко даже опозоренным.

Отверженный в собственной стране.

VII

Стихли овации. Гектор слышит теперь лишь крикливые голоса кредиторов, нетерпеливых и настойчивых. Какое разочарование! Он должен уплатить долги, сделанные в его отсутствие двумя семьями. Тяжело больная Офелия много тратила на докторов и лекарства. Мария – на роскошь и свою красоту. Но ведь Бальзак предсказывал, что Гектор возвратится с кругленьким капитальцем, что в одной только России он заработает сто тысяч франков. И обе женщины, уверовав в это пророчество, не помышляли об экономии.

Разумеется, Гектор вернулся с полными карманами, но все же не с тем состоянием, какого ожидали. И, едва оплатив все старые счета, оказался, как говорится, у разбитого корыта. Неотвязные заботы, на миг притихнув, неумолимо возникли вновь.

– Я должен зарабатывать и зарабатывать, – повторял он про себя.

Для кого? Для безропотной Офелии, почти калеки, и для кокетливой, расточительной Марии. Только ли для них? Нет, еще и для звездочки его жизни – маленького Луи – и для псевдотещи – благородной де Вильяс Ресио, чье сердце смягчалось, когда бумажник Гектора разбухал, и которая прекращала коверкать французский язык, лишь чтобы решительно отчеканить оскорбительным тоном: «Мне нужны деньги!»

Гектор без устали колесил по Парижу, забывая подчас о воде и пище.

По скольким лестницам нужно подняться, во сколько звонков позвонить! И впрямь унизительно для гения, которому рукоплескала восторженная Европа, ожидать в прихожей тупоголового директора театра.

Так или иначе, надо держаться! Но что за ад! Если нет денег, Офелия вздыхает, Мария мечет громы и молнии. Нужно платить домовладельцам за две квартиры; оба они – существа земные и почитают музыку бреднями от безделья. Булочник и мясник доверяют с крайней осторожностью; если счета растут, они прекращают кредит.

Поэтому Гектор вынужден биться, увы, не за высокие идеалы и главенство в музыке, а за прозаичный насущный хлеб.

Так неужто вновь придется удалиться в изгнание, чтобы заработать презренный металл, который повелевает искусством, мыслью и часто по своей прихоти вершит человеческую судьбу?

Он с горечью возвращался к этой мысли, пока ему вдруг не почудилось, что идет спасение.

После Леона Пилле место директора Оперы оставалось свободным. То была почетная должность, дававшая большие возможности в театральном мире. Ее добивались для себя Дюпоншель и Нестор Рокеплан, которые призвали на помощь Гектора, прося его уговорить всесильного Армана Бертена замолвить за них словечко перед министром.

Гектор рассказывал в «Мемуарах»:

«– Если нас назначат, – сказали мне оба компаньона, – мы предоставим вам прекрасное положение в Опере. Вы получите верховное руководство музыкальной частью театра и, кроме того, должность руководителя оркестра.

– Позвольте, но это место занято господином Жираром, одним из моих старых друзей, и я ни за что не хочу, чтобы он его потерял из-за меня.

– Прекрасно, но в Опере полагается иметь двух дирижеров. Мы не хотим оставлять второго, который никуда не годится, и поделим обязанности руководителя оркестра поровну между господином Жираром и вами. Не беспокойтесь, все будет

устроено так, что вы будете удовлетворены.

Соблазненный красивыми заверениями, я отправился к господину Бертену. После некоторых колебаний из-за недостатка доверия к обоим претендентам он согласился поговорить о них с министром. Они были назначены»,

1 июля

Дюпоншель и Рокеплан водворились в роскошный кабинет Оперы, откуда будут отныне править, словно властелины музыки. Новое руководство приступило к пышной и дорогой отделке зрительного зала, а Гектор ликовал. Наконец-то он достигнет цели! Теперь он будет спокойно творить, отойдя от материальных забот; он сможет все время, всю свою жизнь посвятить богам гармонии.

Увы, какое огорчение! Господа директора, то ли не ведая о чудесном вдохновении Гектора, то ли опасаясь скандала, которым угрожали его враги, «поступали так, чтобы не сдержать своего обещания и всеми возможными средствами отделаться от неугодной личности – Гектора Берлиоза».

А Гектор вновь спрашивал себя: «Вправду, в моей ли стране мое место?»

VIII

Август

То прилив, возносящий его к триумфу, то отлив, низвергающий в бездну. И так непрерывно. Но вот вмешивается случай. Для чего – спасти или погубить гения, влекомого течением?

Некий изворотливый журналист Мариус Эскюдье, решительный и дерзкий, в поисках комиссионного процента силился свести Гектора с импресарио, который сумел бы щедро вознаградить за посредничество. Он часто писал о Гекторе во «Франс мюзикаль». Как раз незадолго перед тем появилась в печати его фраза: «Господин Берлиоз только что сорвал в Москве прелестный цветок снегов – выручку в пятнадцать тысяч франков». Ему было известно, что весь капитал, привезенный из-за границы, растаял и Гектор, стало быть, находится в отчаянном положении. Этим он и решил воспользоваться.

Теперь предоставим слово Адольфу Бошо, который красочно рассказал:

«Мариус Эскюдье откопал некоего Антуана Жюльена – южанина, готового пойти на любой риск. После провала на экзаменах в Консерватории тот прославился эксцентрическими

танцами. Его вальс из «Сломанного стула», сопровождавшийся треском ломаемых палок, его кадриль из «Гугенотов» с точно рассчитанной пальбой, его симфонии с ракетами, бенгальскими огнями и всеми фантастическими медными предметами, которые Жюльен, дирижер оркестра в Турецком саду, ловко взрывал, долгое время после 1830 года привлекали гризеток и львов с бульвара Тампль. Потом «безумный Жюльен» перебрался в Англию. Волею случая он то разорялся, то богател, ввязываясь ради искусства либо ради денег в самые разнохарактерные и самые рискованные музыкальные и танцевальные предприятия.

Он устраивал чудовищные фестивали и сногсшибательные зрелища, а толпа глядела, как он высокомерно и невозмутимо дирижировал своей усыпанной бриллиантами палочкой. Какая шевелюра, какие жилеты, а под ними вышитая рубашка, какой наряд с бесконечными басками! Когда он поднимался к пульту, груминдиец подносил ему на подносе перчатки… Тем не менее этого музыкального шута и авантюриста назначили теперь директором театра. Ему была доверена судьба знаменитого лондонского театра Друри-Лейн. Жюльен, директор без труппы и репертуара, спешно вербовал персонал на континенте. И Мариус Эскюдье преподнес ему Берлиоза.

Были выработаны и подписаны (19 августа) три условия договора:

1. Берлиоз получит руководство оркестром в Друри-Лейн и жалование 400 фунтов в квартал.

2. Четыреста фунтов за месяц концертов при оплате всех расходов.

3. Восемьсот фунтов за сочинение трехактной оперы. Прекрасные условия! Только Жюльен, привыкший к крахам», мог обещать подобное. Ну, а посредник Мариус Эскюдье получал от Берлиоза за услугу десять процентов комиссионных.

Какие надежды всколыхнули несчастного композитора! Ему представился случаи выбраться из удушливого парижского болота. В Лондоне его ждет прочное, приятное, щедро оплачиваемое положение, которое принесет пользу его музыке и обеспечит будущее!»

20 августа Гектор писал Эскюдье:

> «Как мною и было обещано устно, я обязуюсь на протяжении моей службы в качестве руководителя оркестра в Лондонской королевской академии выплачивать вам сумму в одну тысячу франков с каждых десяти тысяч моего жалованья; помимо того, вы получите право на тысячу франков частями по десять

процентов из сумм, уплачиваемых мне господином Жюльеном, до достижения суммы в десять тысяч франков согласно договору, касающемуся трехактной оперы, которую я должен для него сочинить.

Весь к вашим услугам
Гектор Берлиоз».

Честнее некуда.

Подкрепив таким образом принятое на словах обязательство, Гектор решил, прежде чем отправиться в Лондон, съездить в Кот-Сент-Андре к старику отцу, которого всегда любил.

IX

Путешествие в детство. Но, боже, какие перемены! Этот дом, где он очутился вновь после пятнадцатилетнего отсутствия, в былые времена казался гудящим ульем.

Ныне он походил на склеп. Смерть скосила мать Гектора и его младшего брата, сестры переехали к мужьям: Нанси – в Гренобль, Адель – во Вьенн. В мрачном, безлюдном доме, где бродили тени прошлого, одиноко угасал почти оглохший семидесятилетний доктор, напоминавший труп, сбежавший с ближайшего кладбища. Временами его мучили боли в желудке. Тогда у него на лбу выступали крупные капли пота, а в глазах была запечатлена безмерная скорбь.

Приезд Гектора с маленьким Луи, которому минуло тринадцать лет, оживил мерцающее пламя.

Добрый старик еще не видел внука и от этого молчаливо страдал. Появление в доме ласкового белокурого мальчугана озарило солнечным светом благородную душу почтенного доктора.

Прелестный Луи, в свою очередь, восторгался тем, что обрел отца и узнал дедушку. Каким нежным кажется это слово чистому сердцу ребенка! Малыши не мыслят себе деда, живущего от них вдалеке, иначе как с роскошной седой бородой, словно у Деда Мороза.

Уже давно маленький Луи все понял и страдал. Он понял, что интриганка оторвала его отца от семейного очага, он испытывал смутную тревогу и страдал подле постоянно больной, почти парализованной матери. Он мечтал всегда быть рядом с отцом, чтобы тот его наставлял, им руководил.

И теперь он сиял.

«Я никогда не думал, – написал он позднее, – что жизнь может быть такой счастливой!»

Гектор уходил в окрестности на охоту. Сынишка отправлялся вместе с ним, неся маленькое ружье, заряженное холостыми патронами, о чем мальчик не знал.

– Стреляй, – говорил ему Гектор, стреляя сам; и, если подбитая птица падала, восклицал: – Браво, Луи! Ты великий охотник!

Тогда мальчик прыгал от радости, гордясь своим подвигом.

На обратном пути Гектор, влекомый воспоминаниями, заходил к какому-нибудь старику, знавшему его в пору юности.

И тут маленький Луи, неутомимо жаждущий побольше узнать об отце, засыпал доброго старика вопросами.

– Что тогда папа делал?.. Папа, наверно, был очень красивым, правда? Он и сейчас красивый. Я думаю, что он всегда таким будет.

«Полно, малыш Луи! Ты заслуживаешь лучшего отца», – думал Гектор, и слезы умиления готовы были выкатиться из его глаз.

Когда они возвращались, тесно прижавшись друг к другу, все встречные снимали шапки.

– Добрый вечер, господин Гектор!

– Добрый вечер, господин Гектор!

И маленький Луи говорил:

– Как ты знаменит, папа!

А Гектор не осмеливался ответить: «Возможно, знаменит, но, увы, не признанный на родине, вечно вынужденный сражаться».

– Ты знаменит, папа, – повторял маленький Луи, боясь, что говорит слишком тихо.

Он гордился отцом; и, когда один его однокашник сказал однажды о композиторе какую-то гадость, парировал:

– Знай, что мой отец как Триумфальная арка. Сколько на нее ни дуй снизу, она не рухнет[144]. – И добавил без тени сомнения: – Мой отец самый великий гений современности.

– Доброй ночи, господин Гектор.

– Доброй ночи, господин Гектор.

Но время спать еще не настало. После скромного ужина он засиживался со старым отцом, который, вставив в ухо трубку, слушал рассказы сына о его блестящих выступлениях за границей. Проходили чередой короли и королевы, ревела от восторга толпа, и взволнованное повествование Гектора полнилось бурей оваций. Маленький Луи внимал ему, широко открыв красивые, ясные глаза.

Чистые бдения вдали от холодного соперничества, позорной злобы, тщетной суеты столицы.

Часто, когда дед и внук засыпали, Гектор отправлялся мечтать и набираться впечатлений.

В жадных поисках вдохновляющей грусти он бродил, словно призрак в лунной ночи, и временами ощущал «какое-то дуновение смерти»[145].

Он различал на далеком гребне горы горделивые развалины уединенного древнего замка, обращавшего свои растерзанные стены к небу, будто призывая его в свидетели. Удивительный покой, миг такого величия, печали и неги, что он вызвал у Гектора гетевское заклинание: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»

Но, увы, через десять дней пришлось пуститься в обратный путь. Когда, обнимая старика отца, Гектор повторял: «До свидания, отец, до свидания», – его сердце сжалась от внезапной тревоги, таинственный голос из глубины изобличал его во лжи: говоря «до свидания», он сам себе не верил.

Гектор снова в Париже.

Но ненадолго. 2 ноября он покидает столицу, а 6-го уже находится в Лондоне.

Театр Друри-Лейн должен открыться лишь 6 декабря.

В Англии Гектор не был незнакомцем.

Музыкальная печать говорила о нем многократно. Уже в декабре 1838 года Элла в «Мьюзикал Уолд» так характеризовала французского маэстро: «Один из самых исполинских музыкантов, один из самых больших эрудитов Парижа, один из самых изобретательных создателей гармоний».

Спустя год та же газета изъяснялась в таких выражениях:

«Берлиоз – замечательный критик, и его музыкальные произведения свидетельствуют об образованности и уме. С другой стороны, он завоевал самые горячие симпатии англичан своей женитьбой на актрисе мисс Смитсон».

Гектор, о котором так судили и которого так превозносили, переживал первый акт – радостное возбуждение. Однако подождем дальнейших событий. Пока же он роскошно устроился в доме Жюльена: просторная квартира, изысканная меблировка, вышколенные, предупредительные слуги. Несмотря на утомление от многочисленных репетиций, проходящих под его руководством, он пережил там дни покоя, поскольку считал, что укрыт от мучительного страха за завтрашний день.

Тем временем в Париже от тревожных ветров зашатался трон: народ, терзаемый нищетой и голодом, готовил восстание и грозил королю.

Близился день, когда Луи-Филипп будет искать убежища в Англии, где и окончит свои дни.

Гектор же оказался укрытым от бурь. Но радовался ли он этому? По правде говоря, нет. Хотя в горькие минуты у него и вырывались гневные слова, он нежно любил свою родину и душою был во Франции. Туда устремлены его мечты, там его дом.

Театр Друри-Лейн открылся 6 декабря «Лючией ди Ламермур», и пресса единодушно очень лестно отозвалась о дирижере, восхваляя его свободную манеру, знание дела и умение подчинить себе оркестр. Затем прошел первый фестиваль, где были исполнены только его собственные произведения. Гений Гектора всюду прославляли. Он писал Морелю: «Моя музыка охватила английскую публику, словно огонь, воспламенивший порох».

Но мы подошли уже ко второму акту, отмеченному неуверенностью и беспокойством.

1848

I

Январь

Разразилась гроза. Сначала сокращение, затем полная отмена жалованья.

12 февраля

Гектор в новом письме верному Морелю так выражал свои мысли; «Нынче я изыскиваю средства дать очередной концерт, поскольку Жюльен не платит больше музыкантам и хористам. Я не смею рисковать тем, что в последний момент они улизнут от меня. Вчера вечером после «Фигаро» измены начались».

Ну и стратег этот Жюльен! Он увез с собой по стране лучших оркестрантов для концертов-променадов, оставив Гектору лишь самых посредственных. Однако после каждого музыкального утра или вечера его мрачный лондонский управляющий безжалостно заграбастывал все деньги.

«Мое жалованье уплывает от меня, – писал Гектор. – Бог знает, получу ли я его когда-нибудь».

Нет, Гектор, ты его не получишь никогда, потому что Жюльен – взбалмошный фантазер, почти сумасшедший и, кроме того, мошенник.

И тем не менее Гектор упорно оставался на своей должности, хотя и не был уже поглощен ею, как прежде. В те дни, когда предприятие Жюльена, теряя почву, неслось к плачевному концу,

Гектор решил описать свою полную тревог жизнь.

Он со страстью уходит в ˆМемуары» – картины прошлого, где ради большего романтизма вольно ведет себя с истиной: переставляет даты, фантазирует в изложении, идеализирует героизм, но, несмотря на свободное обращение с фактами, всегда остается самим собой: мушкетером, волонтером, никогда не искавшим отставки.

Замечательные страницы, достойные самого выдающегося писателя, находки в стиле и точном, красочном, подчас хлестком, но всегда искрящемся изложении поражают и восхищают. Содержательные, полные неожиданностей «Мемуары» позволят будущим поколениям правильно его понять. В самом деле, нужно лишь со вниманием их читать, чтобы услышать и увидеть его таким, каким он действительно был.

Но, увы, 24 апреля злополучное появление Марии кладет конец раздумьям над прошлым. Болтливая, крикливая, вздорная, она отплачивает за разлуку, заставившую ее слишком долго сдерживаться. Она беспрестанно порочит несчастную Офелию, которая там, далеко, за морем, приближается к роковому часу. Злобное создание! Не довольствуясь тем, что похитила Гектора у законной жены, она целыми днями льет помои на несчастную женщину. Вот что пишет об этом Адольф Бошо:

> «Между ней и Офелией в Париже разыгрывались тяжелые, грубые сцены[146], вызванные денежными неурядицами. Марии Ресио и мисс Смитсон поочередно представляли подписанные Берлиозом векселя. В них рядом с подписью он вписывал свой адрес – улица Прованс, 41, где жил с Марией и ее матерью; квартира была на имя старой госпожи Мартин Состера де Вильяс. Поскольку это место не было законным домом Берлиоза, инкассатор передавал векселя к уплате госпоже СмитсонВерлиоз, на улицу Бланш, 65. Та, не будучи предупрежденной и не имея денег, отказывалась их принимать. Инкассатор настаивал:
>
> – Вы госпожа Берлиоз? Извольте заплатить.
>
> – Я не должна. Посмотрите на адрес, мой муж здесь не живет. Идите на улицу Прованс.
>
> Там протестовала Мария Ресио: она живет у своей матери, госпожи Мартин Состера де Вильяс Ресио. Так пусть инкассатор отправляется на законное место жительства господина Берлиоза… Мария бросается к Гэрриет. Резкая, вызывающая, пышущая здоровьем певичка-полуиспанка бранит и оскорбляет бывшую

трагедийную актрису – несчастную, почти парализованную Офелию! От обид та кипит гневом, выходит из себя, не в силах ответить; ее губы, некогда вдохновенно декламировавшие Шекспира, ныне опухли и, дергаясь, роняют скорее не слова, а долгий, нечленораздельный стон».

Однако вернемся к Гектору в Лондон.

Идет третий акт – крушение.

Жюльен бодро погружается в бездну.

Банкротство, на квартиру наложен арест, Гектор, оказавшись, таким образом, изгнанным из прекрасного дарового жилья, где провел светлые и легкие часы ожиданий и надежд, скромно устраивается на улице Оснобур-стрит. Отныне ему придется оплачивать свое жилье, между тем как Жюльен, вечно обуреваемый нелепыми идеями, в конце концов преобразует свой театр в конный цирк. Гектор пока что держится стойко, поражение будит в нем новые силы. Он хочет верить в волшебное возрождение: сколько раз Жюльен терпел крах, столько же раз поднимался вновь. Дело, следовательно, во времени, а пока нужна самая строгая экономия. Он ходит пешком, часто покрывая в бескрайнем Лондоне большие расстояния, он сам стирает белье в общем бассейне во дворе дома; он отказывается от завтрака, затем и от ужина. Дойдет ли он до того, что будет удовлетворяться одной копченой селедкой в день, как в те времена, когда, нарушив родительскую волю, убегал из анатомического театра, чтобы со страстью отдаться музыке? Ничто его не пугает, ничто не лишает мужества.

Но, несмотря на аскетизм, его ресурсы все тают и тают… Он писал в «Мемуарах»:

«Однажды, когда я исчерпаю все, что еще имею, мне останется лишь сесть у дорожного столба и умереть от голода, как бездомная собака, или же пустить себе пулю в лоб».

А жизнь проходит, словно колесница, ведомая наугад слепыми скакунами.

Но, невзирая на нужду, он должен подписывать в Лондоне для Гэрриет, прикованной к постели болезнью, все новые векселя, отягченные большими процентами.

Несмотря на все, Гектор организовал (29 июня) в зале Ганновер Скуэ Румз концерт, составленный целиком из своих произведений, которыми он сам дирижировал. Скудная выручка, но высокое моральное удовлетворение, потому что критика единодушно воздавала хвалу его гению.

Несколько спокойных дней, несколько сытных обедов на

нищенский заработок, а затем вновь пустой кошелек и суровые дни.

16 июля Гектор покинул Лондон, где циничный Жюльен, увы, как и он, француз, потешался над его бедами.

У кого он занял денег на дорогу, неизвестно.

Гектор писал: «Я возвращаюсь во Францию. Мне предстоит увидеть, как артист может там жить или сколько времени ему требуется, чтобы умереть».

II

Когда скиталец Гектор вновь вернулся в Париж, в городе – избраннике богов еще струилась кровь. Прошли грустной памяти июньские и июльские дни. Печальное зрелище разрывало сердце Гектора. Повсюду вызывающие ужас руины. Высокие деревья зверски вырваны с корнем, дома, возводимые на тысячу лет, зловеще зияют пустотой, еще валяются трупы с гримасами ужаса и боли. Гений Свободы, вознесенный на колонну Бастилии, и тот продырявлен пулями. «Хороший символ, – писал Гектор, – для этих дней неистового безумия и кровавых оргий». «Все театры закрыты, – сообщал он в письме Дэвидсону, – все артисты разорены[147], профессора не у дел, ученики разбежались; великие пианисты играют сонаты на городских площадях, исторические живописцы подметают улицы, архитекторы заняты размешиванием известки в национальных мастерских».

Стиль жизни глубоко изменился. Романтизм погребен. «Чувство стало теперь лишь предметом светского разговора».

Что делать Гектору в часы последних отголосков безумной грозы?

Решать он будет позднее, потому что должен снова ехать в Кот, где умер его добрый отец доктор Берлиоз. Сестры описали ему последние минуты покойного; при чтении их горестных писем его сердце, уже измученное тяготами, обливалось кровью.

Нанси Паль писала: «Его навязчивой идеей было умереть как можно скорее… Гроб к месту последнего успокоения сопровождала со слезами многочисленная процессия людей, которым он когда-то облегчал страдания».

Адель Сюа рассказывала:

«Агония последних дней была ужасна. Его голова все время дергалась от судорог, так же как и руки. Его застывший, рассеянный взгляд, этот глухой голос, просивший невозможного… Я обнимала его. Нанси в ужасе убегала… Однажды наша добрая Моника показала ему твой портрет. Он

назвал тебя по имени и быстро-быстро попросил бумаги и перо… Их подали.

– Так, – сказал он, – сейчас я ему напишу. Что он хотел тебе сказать? Никому никогда не узнать этого…»

Гектор в Коте, и здесь снова он встречает на каждом шагу следы своего детства.

То он бродит по безлюдному дому, где зловеще отдается каждый звук, то весь уходит в созерцание предметов, которые пережили отца и наверняка переживут его самого.

Вот старые часы, скорее родные, чем давно знакомые; их тикание более значимо и более печально в этот скорбный миг.

Гектор обращается к ним со словами:

«Ты, старый друг, весело отбивал часы замужества Нанси, свадьбы Адели, ты же плакал тяжелыми бронзовыми слезами, когда наш дорогой отец отдавал свою душу богу. Тогда ты стал звучать глуше, и всем понятно было это твое желание…

Добрые, понятливые часы, чей голос всегда звучал гармонично данной минуте. Умный сочувственный свидетель, мы с благоговением будем хранить тебя…»

Гектор продолжал:

«А вот и ты, зеркало, где постоянно отражались наши лица, ты сохранишь на годы невидимый для человеческих глаз отпечаток наших усталых, тревожных и восторженных черт. Часто ты из милосердия лгало нам, чтобы утаить первое клеймо старости, рождающуюся морщину или седеющий волос.

Спасибо тебе, люстра, долго лившая свет на печали и радости, спасибо, что твои свечи угасли, когда его священные останки отправились к месту их вечного покоя. Твои свечи, люстра, выполнили свою земную миссию».

Гектор все разглядывает, ко всему прикасается, все вспоминает.

«Вот, наконец, альков, где отец появился на свет и где скончался, тот альков, где родился я сам… Но где я окончу свои дни? Увы, неизвестна та гавань, где завершатся мои томительные блуждания.

Как коротка жизнь и как глупо честолюбие! – заключил он, – О боже, почему не дал ты мне силы примириться с положением простого атома».

Маэстро сказал в своих «Мемуарах», что ему захотелось «опьяняться далекими воспоминаниями», однако употребил этот глагол не в смысле «радоваться», а в смысле «найти забвение».

И он отправился в Мейлан, где некогда его едва раскрывшееся сердце, сердце двенадцатилетнего ребенка,

вспыхнуло неведомым чувством к Эстелле Дюбеф, а та в свои восемнадцать лет немало потешалась над этой необычной любовью.

От общения с прошлым на миг у него посветлело на душе.

Мейлан – очаровательная деревушка, робко притаившаяся под крутым склоном Сент-Эйнара – «этого колоссального утеса, рожденного последним потопом». «Тридцать три года, – рассказывает Гектор, – утекло с тех пор, как я посетил ее в последний раз. Мне кажется, будто я человек, который тогда умер и ныне воскрес. Во мне возродились все чувства той моей жизни, столь же юные, столь же жгучие».

Снова послушаем Гектора:

«Я карабкаюсь по каменистым и пустынным тропинкам, направляясь к белому дому, где некогда сверкала моя Звезда… Поднимаюсь. Вдыхаю тот же голубой воздух, что вдыхала она: Все сильней бьется сердце. Мне показалось, будто я узнал ряды деревьев…

Наконец я услышал журчание маленького фонтана… Я на правильном пути… О боже!… Воздух меня пьянит, кружится голова… Здесь должна была проходить Эстелла… Может быть, я занимаю в воздухе то же пространство, что занимала ее прелестная фигурка. Да, я вижу, вижу вновь, вновь боготворю… Прошлое ожило… Я юный, мне двенадцать лет! Жизнь, красота, первая любовь, нескончаемая поэма! Я бросаюсь на колени и кричу долине, горам и небу:

– Эстелла! Эстелла! Эстелла!

И я судорожно обнимаю землю. Меня одолевает приступ невыразимого, безумного одиночества.

Я поднимаюсь и продолжаю свой путь».

Гений, потрясенный величием неповторимого мгновения, припадает к священной земле и замирает на время, будто силится похитить ее сокровенную тайну.

А потом Гектор, которому удалось раздобыть адрес Эстеллы, покинувшей этот край, пишет ей безумное письмо, полное видений прошлого:

> «Сударыня,
>
> бывают верные, упорные привязанности, которые умирают лишь вместе с нами… Мне было двенадцать лет, когда я в Мейлане впервые увидел вас. Вы не могли тогда не заметить, как взволновали сердце ребенка, готовое разорваться от непомерных чувств; я думаю даже, что временами вы проявляли вполне

простительную жестокость, подсмеиваясь надо мной. Минуло семнадцать лет (я возвращался тогда из Италии), и мои глаза наполнились слезами – теми холодными слезами, что вызывают воспоминания, – когда, проезжая через нашу долину, я разглядел на романтической высоте дом, где вы некогда жили, а над ним Сент-Эйнар… Вчера, сударыня, после долгих и бурных житейских бурь, после дальних странствий по всей Европе, после трудов, отзвуки которых, может быть, дошли до вас, я совершил паломничество, уже давно мной задуманное. Мне захотелось все увидеть вновь, и я увидел: маленький дом, сад, аллею, высокий холм, старую башню, окружающий ее лес, вечный утес и восхитительный пейзаж, достойный ваших глаз, которые столько раз его созерцали. Ничто не изменилось. Время пощадило храм моих воспоминаний. Толь– ко сейчас здесь живут незнакомые люди. Чужие руки взращивают ваши цветы, и никто в мире, даже вы, не смогли бы угадать, отчего какой-то печальный человек со следами усталости и грусти на лице проходил здесь вчера, заглядывая в самые укромные уголки…

Прощайте, сударыня, я возвращаюсь в свой круговорот. Вы, верно, никогда меня не увидите, никогда не узнаете, кто я такой, и простите, надеюсь, странную вольность – писать вам сегодня. Я же заранее прощаю вас, если вы будете смеяться над воспоминаниями взрослого мужчины, как некогда смеялись над восхищением ребенка.

Гектор Берлиоз

Гренобль, 6 сентября 1848 года»

Какая романтическая восторженность, какое исступление! Попробуйте попросить у огнедышащего, громыхающего вулкана, что сотрясает землю и небо, промурлыкать романс. Конец невинным волнениям первой флейты под жалобный ветерок в тиши леса. Долой пастушка с его тоскливым рыданием при мерцании звезд! Оркестрами из тысячи музыкантов и величественными аккордами Гектор намерен, подобно вулкану, поколебать земную твердь.

Гектор никогда не получил ответа на свой страстный, безумный порыв. Да и что удивительного? Когда-то Эстелла подшучивала над своим воздыхателем в коротких штанишках, а потом быстро его забыла. Сейчас ей было за пятьдесят; она стала живым изваянием скорби, воплощением долга и добродетели.

Морис Дюмулен[148] писал о ней:

«Эстелла, которая целиком посвятила себя отцу, впавшему в детство, согласилась на замужество лишь после смерти своих родителей. В тридцать один год она вышла замуж за советника, а затем председателя суда в Гренобле Казимира Форнье, которого потеряла 21 января 1845 года. От этого брака у нее было шестеро детей – две дочери, рано умершие, и четверо сыновей, которым она, овдовев, всецело себя отдавала.

Она» жила лишь неотступными мыслями о навсегда ушедших близких, бережно храня о них память, и с нетерпением ожидала соединения с ними на том свете, в существование которого с истовой набожностью верила всем сердцем».

Нет, ее не могло взволновать воспоминание о ранней любви, спавшей тридцать три года.

Неужели, Гектор, ты не в силах залечить рану своих юных лет? Ужель ты не можешь уберечь себя от волнений прошлого, вновь и вновь предстающего перед тобой?

Вместе с сестрами – Аделью Сюа, приехавшей из Вьенна, и Нанси Паль, прибывшей из Гренобля, – Гектор занялся, наконец, отцовским наследством. Доктор не оставил никаких наличных денег, но кое-какую недвижимость – дома, фермы и виноградники. В те времена всеобщих потрясений продажа ради раздела имущества была бы разорительной, так как никто не желал открыто приобретать собственность. Все хотели держаться в тени.

Поэтому приходилось ждать, тем более что нотариус Сюа согласился вести наследственные дела.

По правде, Гектор, теснимый нуждой, согласился бы уступить свою долю за любую цену, но он решил подчиниться духу семейной солидарности и мужественно промолчал. В Париже между тем умирала Офелия, требовала и бушевала Мария Ресио.

III

И Гектор вернулся в столицу.

Вечный мучительный вопрос: как заработать на жизнь?

Не уменьшилась ли, наконец, к нему враждебность? Увы!

«Франция в этот час, – писал он, – представляет собой лес, населенный мечущимися людьми и бешеными волками; и те и другие лишь изыскивают средства истребить друг друга…

По возвращении я застал в Консерватории десятерых объединенных в комиссию негодяев за разработкой проекта, содержащего среди прочих любезностей в мой адрес еще и упразднение должности хранителя библиотеки, которую я

занимал. Если министр его одобрит, что будет почти наверняка, то мне не останется ничего, кроме редких фельетонов, за которые издатели платят теперь полцены, если платят вообще…»

Откуда же во Франции такое ожесточение против несчастного Гектора, этого гениального неудачника? Вы желаете, господа, свести его заработок к скудным гонорарам за артистическую хронику, иначе говоря, обречь его на голод? Не так ли? Ведь вам известно, что музыкальные рецензии изгнаны со страниц печати в. это тревожное время и его доход теперь урезан наполовину.

Однако, на счастье Гектора, нашелся благородный человек, гений, как и он, который с трибуны палаты депутатов потребовал от правительства мер в пользу «людей умственного труда» и добился для собрата по романтизму оставления его на должности хранителя библиотеки, а сверх того денежной награды в 500 франков для его поощрения как композитора. Этого человека, гордость и честь своего времени, чье имя навсегда останется в истории литературы, человека, достигшего вершин поэзии и сидевшего тогда на скамье парламента, звали Виктором Гюго.

Тем не менее бюджет Гектора оставался крайне скудным. У него было столько расходов. Казалось, Офелия вот-вот угаснет. Мария же, ненасытно жаждущая блистать и увлекать, вот-вот разразится бурей оттого, что не может тратить и тратить на наряды. Наконец, юный Луи учился вдали от Парижа, готовясь поступить во флот. Какое тяжелое бремя для безденежного Гектора! Жизнь гения была подобна кораблю, терпящему бедствие.

29 октября в ночь, которой был окутан Гектор, проник слабый луч. Объединение артистов-музыкантов решило устроить фестиваль в театре Версальского дворца, и Гектору было поручено дирижировать оркестром перед «знаменитым Маррастом, окруженным созвездием прохвостов, восседавших в зале на креслах Людовика XV и его двора».

Некоторый успех, хотя и не наполнивший пустой кошелек композитора.

1849

Серый, блеклый, пустой год. Господи, до каких же пор?..

1850

Январь

Гектор собирается с силами, ему нужна победа любой ценой. Вот он основал Филармоническое общество, став его директором-

учредителем, руководителем оркестра и пожизненным президентом. Первый концерт, сбор 2700 франков. Обнадеживающий результат.

Недруги Гектора, берегитесь, восстаньте! И они восстали.

Отсюда и провал второго концерта, прозвучавший тревогой: 421 франк.

Третий концерт стал катастрофой – всего 156 франков.

Таким образом, Филармония оказалась нежизнеспособной.

– Нет! Она не должна умереть! – решил Гектор.

Если бы только борьба… Но с каким горем пришлось справляться ему в тот жестокий период! 3 мая 1850 года, на другой день после концерта в Сент-Эсташ, где был исполнен «Реквием», в Гренобле скончалась сестра Гектора Нанси Паль. Страдая раком груди, она без единого слова жалобы сносила долгие, нестерпимые муки. Возможно, ее удалось бы спасти, по крайней мере продлить жизнь, но ей не сделали операции, потому что в этой высоконабожной среде, как с возмущением писал Гектор, всегда считали, что «должна свершиться господня воля, будто бы все остальное свершается не по воле божьей». И бывший студент-медик горько оплакивал свою дорогую сестру…

Еще один коварный удар судьбы, еще одна душевная рана.

Гектор настаивает и упорствует; желая сохранить жизнь Филармонии, он совмещает в ней все должности до того злосчастного 13 августа, когда с разбитым сердцем он внес в книгу протокола запись: «Присутствующие члены комитета (говорят, всего их было десять, включая Гектора), прождав своих коллег в течение трех четвертей часа, разошлись».

Сколько препятствий! Филармония, хромая, двигалась к неотвратимой гибели. Во время этой агонии, которую Гектор пытался продлить всей своей упорной волей, Филармония пошла на небывало смелую мистификацию.

Маэстро уже давно изыскивал какое-нибудь средство, чтобы с блеском показать перед всем миром предвзятость и, следовательно, нечестность своих преследователей и заклятых врагов.

Однажды было объявлено, что в концерте, назначенном на 12 ноября, он будет руководить исполнением оратории в старом стиле «Бегство в Египет», сочиненной в 1679 году и приписываемой руководителю капеллы Сент-Шапель в Париже Пьеру Дюкре[149]. Чтобы блеснуть эрудицией, каждый считал своим долгом заметить, что Пьер Дюкре полностью заслуживал подобной эксгумации и что музыкальные заслуги ставят его в ряд самых выдающихся композиторов той эпохи.

Среди злопыхателей то и дело повторяли фразу:

– Может быть, Гектор Берлиоз понял, наконец, что может добиться успеха, лишь дирижируя произведениями других – подлинно талантливых музыкантов?

Настало 12 ноября. Зал полон – не из-за Гектора, а из-за Дюкре. Оркестр начинает играть «бессмертный шедевр гениального Пьера Дюкре».

Публика слушает молча и с достоинством, явно захваченная льющимися звуками. Беспрерывно бушуют волны аплодисментов.

– Превосходная музыка! – воскликнул предводитель заговорщиков.

– Создавайте такую же, Берлиоз! – бросил другой. Гектор, стоя за пюпитром, ни на секунду не теряет невозмутимого спокойствия.

Последний звук. Гром несмолкаемых оваций, Пьер Дюкре, должно быть, переворачивается в гробу.

На другой день печать единодушно восхваляла великого покойного композитора.

Однако внезапно настала сенсационная развязка, которая потешила весь Париж. Гектор объявил:

– Пьер Дюкре никогда не существовал. Это я придумал его во всех деталях, и произведение, принятое бешеными овациями, создал я – я один. Я хотел разоблачить пристрастие и слепоту моих порицателей, их ненависть ко мне, и я надеялся достигнуть этого, уповая на невежество сих докторов музыкальных наук, которые вот уже свыше тридцати лет сыплют с высоты кафедры лживыми афоризмами и изрыгают желчь.

Когда, таким образом, был обнаружен истинный творец замечательного произведения, с каким жаром пытались его неумолимые преследователи оправдать горячее восхваление Дюкре отречением самого Гектора!

Но последний с гордостью парировал:

– Меняется, слава богу, ваше понимание, а не моя манера. Не я иду к вам, а вы ко мне.

И на время – увы, короткое, – интриганы примолкли.

1851

I

Скончался Спонтини, автор «Весталки», к которому Гектор относился с горячим восхищением и любовью. Гектор посвятил памяти великого композитора прекрасную статью, где ощущалась боль неподдельного горя.

22 марта

Выборы в Институт на место знаменитого усопшего. Кого же изберут теперь члены Академии?

Новое разочарование.

Одиннадцать кандидатов, тридцать восемь голосующих. Результаты таковы: за Амбруаза Тома – 30 голосов, за Ниденмейера и Баттона – 8 голосов, за Берлиоза, друга Спонтини, – ни одного.

Амбруаз Тома был торжественно провозглашен академиком в первом же туре. «Как, – удивлялась Европа, – автор неумирающих сочинений, которые взволновали весь мир, кроме Франции, сочинитель «Осуждения» и «Ромео», «Траурно-триумфальной симфонии» и «Реквиема», «Бенвенуто», «Гарольда» и «Фантастической» не побит, а просто раздавлен автором бесцветной оперы «Каид»?

Ни одного голоса! Другого бы это заставило сказать: «Тем хуже. Прощайте!»

Гектор же воскликнул:

– Что ж, до свидания! Десять раз, если понадобится, двадцать раз я буду возвращаться… вопреки всему! – И с решимостью подчеркнул: – До самой смерти!

II

Вскоре возвратился с Антильских островов любимый Луи, и Гектор, сжимая его в объятиях, забыл все горькие невзгоды.

Теперь Луи стал настоящим моряком. Унаследовал ли он романтизм своего отца? Ему нравится при вое ветра бороться с волнами океана и в таинственной ночи, стоя в одиночестве на верхней палубе, думать о страдающей матери и далеком отце, которого он тоже любит, потому что тот нежен к нему, знаменит, не признан и несчастен.

Он ежедневно видит в мыслях отца подле своей дорогой матери. Гектор действительно аккуратно приходит к несчастной Офелии, этому живому трупу, и по нескольку часов проводит в ее обществе.

Чем ближе подходила Офелия к смерти, тем больше винил себя и сокрушался Гектор. Его угнетало жестокое раскаяние, мрачные угрызения совести преследовали его за тот странный брак, в который он втянул эту ныне парализованную, обиженную судьбой женщину, лишив ее лучшей, более достойной участи. Гектора мучила близость с Марией Ресио, такой грубой к его законной жене – больной, беспомощной, принесенной в жертву.

Сожалел ли он и об упорном стремлении оставаться самим

собой, тогда как сговорчивость и отречение обеспечили бы и ему и близким спасительный достаток?

Нет, здесь он остался непримиримым.

Разве не принес он клятву, что скорее умрет, чем отречется от своей сущности?

И пока он был погружен в горькие раздумья перед умирающей Офелией, немой и недвижимой, со взглядом, прикованным к глазам ее Гектора, того романтика Гектора, который разрушил ее судьбу и заставил столько выстрадать, но которого она все же продолжает нежно любить, неслышно вошел Луи.

Глаза матери потонули в слезах. Гектор, потрясенный, обнял красивого, юного моряка и крепко сжал его в объятиях, не произнося ни звука из боязни разрыдаться.

Он, несомненно, думал: «Вот где моя судьба, мой долг, мое счастье».

Но внезапно перед ним возникла тень Марии Ресио. И тогда Гектор вновь овладел собой.

III

9 мая Гектор уехал в Лондон. Незадолго перед тем в Гайд-парке открылась Всемирная выставка в ознаменование пятидесяти мирных лет, где он был избран членом жюри по музыке.

Узнав о своем, назначении, Гектор подумал: «Вот как! Еще знают, что я существую!»

Да, знал министр, остановивший на нем свой выбор. Но один министр – не вся французская публика, которая, увы, относилась к нему с тупой враждебностью и настойчиво бойкотировала его произведения.

1852

I

1 января, когда империя фактически была реставрирована, но еще не восстановлена законно, принц-президент, с торжественной набожностью преклонив колени в соборе Парижской богоматери, прослушал «Te Deum». Надежды Гектора были разбиты – музыка принадлежала не ему.

После второго плебисцита, который утвердил сенатское решение, Шарль-Луи-Наполеон Бонапарт возложил себе на голову

императорскую корону.

II

Гектор с восторгом приветствовал нового владыку – защитника принципов дисциплины и устойчивости. Полуголодный композитор, которому нечего было беречь, сберег тем не менее свой консерватизм. «Наша республиканская холера, – писал он Вильгельму Ленцу в Петербург, – дает нам ныне небольшую передышку. Красные грызут свои удила, всеобщее голосование дало подавляющее большинство Луи-Наполеону… Как вы, должно быть, там смеетесь над нами, называющими себя передовыми народами…»[150].

– И сейчас и всегда раньше я был почитателем императора. Ему-то это хорошо известно, – повторял он своим друзьям, потому что клеветники пытались опорочить его перед новым монархом.

И убежденный что государь осведомлен о чувствах, которые одушевляют его по отношению к трону, он уже видит себя руководителем Капеллы Наполеона III.

Он строит блестящие проекты: организует эту капеллу и опьяняется своим будущим.

Но ничто не ладится у неудачливого Гектора. Кто же чинил козни? Кто тайно повлиял на Наполеона Малого? Капелла действительно восстановлена, но не Гектор стал ее главой, а Обер – сочинитель музыки прелестной, но кокетливой и легкой, враг оркестровых ураганов.

Преграды не могут сломить Гектора. Мы уже говорили: для него они лишь средство мерить свою силу, мерить отвагу. Он готов смело встречать их вновь и вновь.

III

Гектор снова возвратился в Лондон.

Там его ждала радость: он дирижировал «Весталкой», настоящим шедевром Спонтини – прекрасного композитора с необыкновенно жестокой судьбой. Подобно Бетховену, Спонтини (правда, к концу жизни) был изгнан из царства звуков неумолимой глухотой. По случаю музыкального торжества госпожа Спонтини прислала Гектору сердечное письмо и дирижерскую палочку своего мужа, который, как она писала, «так вас любил и так. восхищался вашими произведениями». Какая честь, Какое утешение для Гектора!

9 июня

Последний концерт: симфония с хорами и две части из «Осуждения». «Необычайный успех, – писал Гектор в Париж. – Меня вызывали пятикратно… К моим ногам бросили венок».

И тем не менее ради экономии директора отказались ангажировать его на следующий сезон.

Ничего не поделаешь! Его мозг в постоянном возбуждении, его неотвязно преследует и тревожит беспощадный вопрос: как добиться успеха?

Внезапно Гектора увлек проект создания Общества концертов, которое он тут же решил назвать «Нью Филармоник»[151] в отличие от старой Филармонии, где господствовали в то время поклонники итальянской музыки во главе с Андерсеном и особенно Коста.

Андерсен и Коста, поддержанные несколькими громилами, специально приехавшими из Парижа, окажутся в один прекрасный день заклятыми врагами Гектора. Воистину какой страх, какую ненависть должен был внушать Гектор, чтобы возник заговор, которому даже Ла-Манш не стал помехой.

Но не будем опережать события.

В июле Гектор, неизменно сопровождаемый Марией Ресио, вернулся в Париж, сняв перед отъездом в Лондоне комнаты, где, как он сообщил, обоснуется ближайшей весной, ибо четыре гаранта «Пью Филармонию) уже были найдены, причем все четверо были в полном согласии относительно назначения Гектора директором предприятия.

IV

Улыбнется ли ему, наконец, судьба? Возможно.

Веймар, город Гете, Шиллера и Гердера, «родина музыкального идеала и город муз», заботами блистательного Ференца Листа[152] становился столицей музыкального искусства. Уже четыре года Веймар был непререкаемым авторитетом. По своей воле этот город выдвигал, освящал или зачеркивал знаменитостей. Здесь царил Лист.

Лист любил реабилитировать произведения, несправедливо осужденные из-за невежества или недоброжелательности. Этот чудесный композитор и виртуоз, тоже Дон-Кихот, сражался со шпагой в руке против предрассудков, предубеждений, за творчество, свободное от писаных теорий. Не ведая зависти, он умел превозносить величие гениев. Он признавался часто, что провал «Бенвенуто Челлини» в Париже и сейчас еще не дает ему

спокойно спать.

Итак, в один прекрасный день Гектор получил взволновавшее его известие о том, что этот благородный человек готовил исполнение «Бенвенуто Челлини», уверенный в его успехе и заслуженном восстановлении репутации. Какое это было удовлетворение, какой реванш, он сотрет все следы жестокой несправедливости! О великодушный Лист![153] Однако перейдем к фактам.

Веймарский двор официально пригласил Гектора почтить своим присутствием грандиозную «неделю Берлиоза» и принять в ней участие.

Гектор не замедлил приехать и в часы, похожие на дивный сон, упивался тем, что понят, любим и ему аплодируют.

17 и 21 ноября на двух незабываемых представлениях «Бенвенуто Челлини» он дирижировал оркестром при непрерывных овациях воодушевленной публики – приверженцев новой школы.

Госпожа Поль писала: «…Берлиоз еще не встречал в Германии такого приема. Каждый вечер его вызывали дважды». «Марш Ракоци» и «Хор гномов» из «Фауста» приходилось повторять… Какую настойчивость, какую энергию должен был проявить Лист, чтобы добиться подобного успеха!..»

На завершившем «неделю» банкете в зале городской ратуши красовался внушительный портрет Гектора и гипсовый бюст, который так походил на оригинал, что казался живым. Лист послал княгине Витгенштейн в Альтенбург такую записку: «Общество в городской ратуше было настроено самым благожелательным образом, неизменно господствовал безукоризненный вкус. Берлиоз был глубоко растроган и вел себя безупречно. Между прочим, он не выпил ни капли коньяка».

С другой стороны, Лист отмечал: «Самый единодушный и самый полноценный успех вознаградил нас за все наши страдания».

Когда подали ликеры, один высший сановник двора поднялся с места и под всеобщее одобрение приколол на грудь Гектора эрцгерцогский орден Сокола[154]. Затем Бернард Косман, выступая от имени артистов придворной капеллы, передал французскому маэстро дирижерскую палочку из цельного серебра, украшенную тонкой памятной резьбой. И наконец, ко всеобщему восторгу, был открыт бюст маэстро, увенчанного лаврами.

Какие незабываемые часы, Гектор! Не правда ли? Но почему тебе пришлось пережить их вдали от родины?

В результате этой «Берлиоз-вохе»[155].

Итак, «Бенвенуто» был спасен! Лист сказал: «Это самое

крупное, самое оригинальное произведение музыкально-драматического искусства, созданное за последние двадцать лет». Такое суждение и из уст такого артиста – какой целительный бальзам для наболевшего сердца! Поэтому Гектор возвращался во Францию успокоенным. Но когда он приближался к французской границе, ему показалось, как в сновидении, будто он читает огромный плакат: «Здесь начинаются, Гектор, ненависть и гонения».

1853

I

Гектору пятьдесят лет.

Снова Париж, снова нищета…

Теперь жестокая борьба во враждебном Париже тяготила его. Глубокие морщины прорезали красивое, гордое лицо под снегом непокорной шевелюры.

Он переживал мрачные дни.

Новая неприятность.

Гектор, ярый приверженец императора, постоянно лелеял надежду руководить исполнением своего величественного «Te Deum», сочиненного в 1848-1852 годах, на торжественном событии – бракосочетании императора.

Однако от церемонии 29 января 1853 года он был снова отстранен ради Обера.

«Я был приглашен, – сообщал Гектор, – к секретарю и адъютанту императора полковнику Флерн, где мне передали, что собираются исполнить мой «Te Deum». Сообщая об этом, полковник казался уверенным в том, что говорил, однако в то же время в министерстве внутренних дел была сплетена интрига, и официальные лица – «старики» – одержали полную победу».

Еще одна незаслуженная жестокость.

Среди тревог и уныния, когда за фельетоны платили гроши и оттого тиски нужды сжались еще сильнее, внезапно вспыхнул яркий луч: театр Ковент-Гарден запросил «Бенвенуто».

«Жизнь прекрасна! – воскликнул Гектор, тотчас воспрянув духом и вновь поверив, что завоюет мир. – Что ж, Мария, укладываем чемоданы и в Лондон, где нас, без сомнения, ждут новые лавры».

Из деликатности он всегда говорил «мы», словно его спутница-мегера содействовала успеху.

И Мария добавляла:

– За пределами Франции всегда триумф!

Однако теперь он ошибался. Лондон оказался к нему жесток. Правильно ли, впрочем, что это было за пределами Франции? По существу, нет: в слепом порыве вражды и злобы Франция сдвинулась с места, чтобы вредить Гектору.

Андерсен и Коста были застигнуты врасплох успехом первого пребывания Гектора в Англии и восприняли его как удар кинжалом в сердце. Им не пришло тогда в голову поднять на ноги своих сообщников в Париже. Ныне опасность стала грозной. Любой ценой надо было ее отвести. Никакие усилия, никакие жертвы не казались чрезмерными. И потому они настойчиво, назойливо, почти властно подчеркивали, что торжество Берлиоза в Лондоне подняло бы его престиж, а это всколыхнуло бы и Францию.

И вот французы, которые поленились бы перейти улицу, чтобы купить у соседа-аптекаря необходимое лекарство, пересекли море, чтобы изничтожить врага, словно неистовый охотник, который устремляется на хищника, сеющего смерть.

Невероятно!

II

Последуем за событиями.

В Лондоне родилась «Нью Филармоник».

24 марта

Первый концерт. На афише – «Ромео». Восторг наперекор всему. Ликующий Гектор писал друзьям: «Колоссальный успех! В стане старого Филармонического общества растерянность. Коста и Андерсен задыхаются от злости».

Неисправимый Гектор! Слишком д'Артаньян, слишком мушкетер. Разумеется, было бы благоразумнее договориться с врагами. Но он всякий раз отрезал:

– Договориться – значит отказаться, отречься, предать.

На это Гектор не согласится никогда.

Некоторые из разряда «непоколебимых» (мы разумеем не идущих ни на какие перемирия, даже кратковременные) в конце концов были встревожены его непрерывными невзгодами и тайно посоветовали ему ввернуть в свои произведения среди патетики немного классики, чтобы можно было помириться, не заслужив упреков в отступничестве.

Но он заявил гордо:

– Мое романтическое учение, моя драматическая музыка – это моя совесть, мое достоинство, которые повелевают мне их

придерживаться. Я предпочел бы умереть, чем пошатнуть их.

И Гектор продолжал стоять на своем.

– Perseverare diabolicum[157], – подтрунивали искатели спасения.

Расскажем мимоходом о забавном случае.

Лондонская публика, очарованная «Ромео», потребовала второго исполнения. Дирижировал Гектор. В программу того же концерта входило исполнение фортепьянного «Concertstuck» Вебера. Кто будет играть? Капризная, взбалмошная судьба усадила за рояль… Камиллу Мок – бывшую госпожу Плейель, бывшую невесту Гектора.

Так после долгого, очень долгого исчезновения внезапно возникла перед ним ветреная Камилла, которую влюбленный Гектор некогда называл своим «изящным Ариэлем».

Необъяснимое волнение охватило маэстро. Перед ним промелькнуло безжалостно ожившее далекое прошлое. Помолвка… Неистовая страсть… Душевные страдания при отъезде в Рим, когда все в нем жаждало любви. Роковое письмо: Камилла выходит замуж за фабриканта роялей Плейеля. «Я вскричал: «Без промедления я убью ее!» И я принимаю решение: «Переоденусь горничной и проскользну к ним, когда они соберутся в гостиной». Кто они? Камилла, ее мать, ее жених… Мои пистолеты надежно заряжены. Четыре пули! Последняя для меня самого! Величие кары и… скандал! …Эта женщина, которая тут, рядом, возле меня склонилась над клавиатурой, должна была умереть от моей руки!..» Гектор наблюдает за ней, взмахивая дирижерской палочкой.

Но ревнивая Мария Ресио, которая во взгляде своего возлюбленного пытается уловить тень сожаления и оттенок нежности, выходит из себя и готова взорваться. Однако Гектор питал теперь к Камилле одно лишь презрение. Бессердечная же Камилла отправилась на другой день к директору и пожаловалась на плохое, по ее утверждению, сопровождение оркестра. Таким образом, даже напоминание о прошлом не заставило ее сдержаться. Вот уж подлинная ведьма!

III

Настало 25 июня.

В зале королева Виктория со своим горячо любимым супругом принцем Альбертом, здесь же королевская чета из Ганновера. Должны петь самые знаменитые артисты – Тамберлик и Тальяфико. С непередаваемым волнением Гектор поднимает палочку. Подозревает ли он о замышленном против него

вероломном заговоре? Возможно, так как он видел возле театра знакомые лица. Зловеще рыскавшие люди быстро скрывались при его приближении. «Неужели приехали из Парижа?» – удивился он тогда. Неужто они осмелятся учинить скандальную обструкцию в присутствии королевы Англии? Никогда ни один англичанин, почитающий традиции, не совершит подобного; нет, англичан мне бояться нечего. Я опасаюсь лишь своих соотечественников-французов, чья неприязнь способна толкнуть их на преступления…

Первые звуки оркестра. Тишина… Заговорщики переглядываются в ожидании сигнала своего предводителя. Заодно с парижскими врагами Гектора и проитальянцы россинисты – страстные поклонники этого грузного, жизнерадостного человека, которого судьба щедро наделила почестями, богатством и успехом. Победа Гектора музыкальным ураганом пропела бы отходную итальянской музыке, созданной, чтобы очаровывать. Что же произошло? Гектор, едва возвратившись в Париж, немедля написал доброму Ференцу Листу, ставя его в известность о заговоре в Лондоне россинистов местного производства и антиберлиозцев из Парижа против «Бенвенуто»:

«Неистовая банда решительных и яростных итальянцев сорганизовалась, чтобы помешать исполнениям «Челлини». Этим негодяям, увы, помогали французы, приехавшие из Парижа. Они шикали от первой и до последней сцены, свистели даже во время моей увертюры «Римский карнавал», которой двумя неделями ранее аплодировали в зале Ганновер Скуэ. Они были готовы на все; ни присутствие королевы и ганноверской королевской семьи, ни аплодисменты огромного большинства публики – ничто не могло их удержать. Они продолжали свое дело и в последующие вечера, и я по этой причине забрал партитуру. Итальянские шикальщики добирались до самых кулис. Так или иначе, но я ни на миг не потерял самообладания и при дирижировании не сделал ни малейшей ошибки, что со мной случается нечасто. Все мои артисты, за исключением одного, были превосходны, хоровое и оркестровое исполнение можно считать из самых блистательных.

По мнению публики, хотя я в том не уверен, во главе этой смешной в своей ярости шайки был господин Коста, руководитель оркестра Ковент-Гардена, которого я неоднократно пробирал в своих фельетонах за те вольности, что он позволял себе в обращении с партитурами великих композиторов, кромсая или удлиняя их, меняя инструментовку и уродуя на все лады. Во всяком случае, Коста сумел своей постоянной готовностью быть

мне полезным и, помогая мне на репетициях, на редкость искусно усыпить мою подозрительность.

Лондонские артисты, возмущенные подобной низостью, пожелали мне выразить сочувствие и от имени двухсот тридцати человек пригласили меня дать прощальный концерт в зале Экситер-холла, обещая бесплатно в нем участвовать. Но концерт этот состояться не смог. Кроме того, издатель Бил (ныне один из моих лучших друзей) преподнес мне в подарок от группы любителей музыки – 200 гиней[158]…

Эти свидетельства сочувствия растрогали меня гораздо сильнее, чем ранили вылазки интриганов».

IV

Чтобы выбраться из душившей его нужды, Гектор продал для издания свои «Вечера в оркестре»[159].

Он выступает здесь как выдающийся музыкальный критик, смелый полемист, решительно ставящий свободное выражение чувств превыше строгой школы; его критические работы независимо от того, возносит он в них или громит, всегда полны находок. Это виртуоз стиля, жонглер, преуспевающий как в прославлениях, так и порицаниях; каждая его строка обнаруживает большого мастера пера и изысканного поэта.

Несколько примеров. Вот хвалебный отзыв о госпоже Виардо, с триумфом выступавшей в роли Орфея:

«Чтобы говорить ныне о госпоже Виардо нужно целое, исследование. Ее талант содержателен и многообразен, он сочетает в себе высокое мастерство с очаровательной непосредственностью, что вызывает одновременно и удивление и волнение; он поражает и умиляет, повелевает и убеждает. В ней слиты воедино страстное вдохновение, увлекающее и властное, глубокое чувство и необыкновенные способности выражать безмерные страдания. Каждый ее жест строг, благороден и правдив, а мимика, всегда такая выразительная, когда она подчеркивает ею свое пение, становится еще богаче в немых сценах.

В начале первого акта «Орфея» ее позы у могилы Эвридики напоминают фигуры некоторых персонажей в пейзажах Пуссена или, скорее, некоторые барельефы, взятые Пуссеном как натуру. К тому же мужской античный костюм идет к ней как нельзя лучше.

После своего первого речитатива:

Воздайте высшие почести
Манам священным Эвридики.

Могилу ее усыпьте цветами… –

госпожа Виардо завладела залом. Каждое слово, каждая нота била в цель. Величественную, дивную мелодию «Предмет моей любви», пропетую необычайно широко и с глубоким внутренним страданием, неоднократно прерывали восклицания, вырывавшиеся даже у наименее впечатлительных зрителей. Ничто не может превзойти изящество ее жеста, трогательность ее голоса, когда она окидывает взглядом деревья священного леса в глубине сцены и произносит:

И на стволах с изодранной и нежною корой
Читаю слово то, что вырезано трепетной рукой…

Вот где подлинная элегия, вот где античная идиллия: это Феокрит, это Вергилий».

Но вот он мечет стрелы в отчете о «Дочери полка».

«Это, – пишет он, – одна из тех вещей, какие можно писать по две дюжины за год, если не пусто в голове, а рука легка… Ежели создавать произведение «per la fama» (ради славы), как говорят соотечественники господина Доницетти, то без спору надобно остерегаться показывать «pasticcio»[160] «per la fame» (из-за голода). В Италии этот продукт, не пригодный, но употребляемый для пения, находит устрашающий сбыт. Для искусства он имеет немногим большее значение, чем сделки наших музыкальных торгашей с исполнителями романсов и издателями альбомов… И все это per la fame, а fama тут ни при чем… Партитура «Дочери полка» относится как раз к тем, которые ни автор, ни публика не принимают всерьез… Оркестр растрачивает силы в бесполезных звуках; в одной и той же сцене сталкиваются самые разнородные реминисценции; стиль господина Адана соседствует со стилем господина Мейербера».

А вот еще:

«Господин Жанен писал недавно: «Не мы захватываем шедевры; как раз шедевры захватывают нас». И верно, «Орфей» захватил нас всех, мы оказались для него легкой добычей…

Предадимся же смело тем произведениям, что нас хватают за душу, и не будем противиться наслаждению!»

А вот его восторженные строки о великолепных сценах преисподней и Елисейских полей:

«В акте «Преисподняя» оркестровая интродукция, балет ведьм, хор демонов, вначале грозных, но понемногу растроганных и укрощенных песней Орфея, душераздирающие и одновременно

мелодичные мольбы Орфея – все это прекрасно.

А как чудесна музыка Елисейских полей! Эти воздушные гармонии, меланхоличные, словно счастье, мелодии, мягкая и тихая инструментовка, так хорошо передающая идею бесконечного покоя!.. Все ласкает и чарует. Проникаешься отвращением к грубым ощущениям жизни, желанием умереть, чтобы вечно слушать этот божественный шепот»[161].

Увы, продажа книги принесла скудное подспорье.

Издатель-вампир Ришо нетерпеливо дожидался часа крайней нужды Гектора. И вот час этот настал.

Тогда он с победоносным видом обратился к композитору:

– Ну как – продадите вы мне «Осуждение Фауста»? Однако Гектор упирался:

– А почему не мое мясо? – И после минуты мучительного молчания презрительно произнес: – В далекие времена кредитор имел право вырезать из тела несчастного должника куски живого мяса… Но я-то вам ничего не должен.

– Разумеется, но если я приобрету ваше произведение, вы должны будете меня благодарить, я убежден в том, поскольку…

И Ришо умышленно замялся.

– Ну договаривайте, договаривайте же, – сказал заинтригованный Гектор.

– …Поскольку я предложу вам за него очень выгодную цену.

– Какую? Мне хотелось бы знать, просто из любопытства.

– Шестьсот франков.

– Подите к черту, господин Ришо!

Однако принципиальность – это роскошь, дозволенная богатству. Бедность не может презирать. Трудно держаться своих правил, если сидишь на мели. Потянулись дни, когда нужда, этот беспощадный палач, держалась хозяином и повелевала. Мария Ресио не переставала сорить деньгами, Офелия близилась к смерти. Даже юный Луи[162], приехав домой, признался, что наделал долгов, которые ныне требовалось погасить. Фельетоны, фельетоны – писать и днем и ночью! Гектор смирился бы с этим. Но какие пьесы разбирать? Многие театры ныне бездействуют. Впрочем, даже лихорадочная деятельность, связанная с бесконечными театральными хрониками, не смогла бы сбалансировать бюджет Гектора, раздираемый во все стороны.

И вот, видимо после дня сурового воздержания от пищи, Гектор вспомнил о Ришо и его предложении, тогда показавшемся наглым и оскорбительным.

– Я повидаюсь все же с этим кровопийцей, – пробормотал он и отправился к нему, переполненный стыда и сожаления.

Непродолжительный торг, откровенные слова, и Гектор получает, наконец, семьсот франков.

Семь бумажек по сто франков!

Ему показалось, что в обмен он протянул свое обливающееся кровью сердце.

«Осуждение Фауста» за семьсот франков! Средоточие гениальности за ломаный грош!

V

Пробыв в Париже месяц, Гектор вновь отправился в Германию.

Баден-Баден, а затем Брауншвейг, «где публика и музыканты пришли в экстаз»[163].

В Ганновере Гектор дал концерт в присутствии великого скрипача Иоахима.

Он писал Феррану: «Дирижерская палочка из золота и серебра, преподнесенная оркестром, ужин на сто персон, где присутствовали все «таланты» города (можете судить, что там подавали!), министры герцога, музыканты капеллы; учреждение благотворительного общества моего имени (sub invocatione sancti и т. д.), овация, устроенная народом как-то в воскресенье после исполнения «Римского карнавала» на концерте в саду… Дамы, целовавшие мне руку прямо на улице, у выхода из театра; венки, анонимно присылаемые мне по вечерам, и т. д. и т. п.».

Иоахим, со своей стороны, писал листу о Гекторе: «Необузданность его фантазии, широта мелодии, волшебное звучание его произведений и вправду наполнили меня новой энергией. Сила его индивидуальности, впрочем, известна».

Бремен. Лейпциг. Дрезден (четыре концерта).

И теперь настает пора, когда, возвратившись в Париж, он берется за «Детство Христа», дополнение к приписанному Пьеру Дюкре «Бегству в Египет» – произведению, имевшему триумфальный успех.

Оставим его на время за работой над этим сочинением.

Часть вторая
1854-1869

…И теперь настойчиво и безжалостно косит смерть!

1854

I

22 января

Неожиданно по Парижу прошел слух, разносимый бешеными врагами:

– Господин Эмберлификос решил разбить свою палатку за пределами Франции и скоро покинет нас навсегда.

Гектор ответил ярко и с иронией. Этот мастер стиля, образов и красок послал директору «Газет мюзикаль» открытое письмо, где в сочных выражениях опровергал сообщение о своем переезде в Германию.

«Я понимаю, – писал он, – какой жестокий удар нанес бы многим мой окончательный отъезд из Франции, как горестно им было поверить в эту важную весть и пустить ее в обращение.

Поэтому мне приятно воспользоваться возможностью опровергнуть этот слух, просто сказав словами героя знаменитой драмы: «Оставь тревогу, Франция родная, я остаюсь с тобой». Мое почтение к истине побуждает лишь внести уточнение. Через несколько лет мне действительно придется в один прекрасный день покинуть Францию, но музыкальная капелла, руководство которой мне доверено, находится вовсе не в Германии. А поскольку все равно рано или поздно все узнается в этом чертовом Париже, я с радостью уже теперь назову вам место моего будущего пребывания: я назначен генеральным директором частных концертов имеринской королевы на Мадагаскаре. Оркестр ее королевского величества состоит из самых выдающихся малайских артистов и нескольких перворазрядных музыкантов-мальгашей. Они, правда, не любят белых; и по этой причине мне предстояло бы вначале сносить немало страданий на чужбине, не будь в Европе стольких людей, которые стараются меня очернить. И поэтому я надеюсь попасть в их среду защищенным от недоброжелательности своей посмуглевшей кожей. Пока же соблаговолите сообщить вашим читателям, что я по-прежнему буду жить в Париже, и как можно дольше, ходить в

театр, и как можно меньше, но все же бывать там и выполнять, как прежде, и даже еще больше, обязанности критика. Напоследок хочется насладиться вволю, ибо на Мадагаскаре нет газет»[164].

Подвергая сомнению слова Гектора и игнорируя опровержение, недруги честили его на все лады. Все ожесточеннее становился спор. Заключали пари: «Уедет или не уедет…»

II

Между тем продолжалась агония Офелии. Несчастная Офелия – немая, неподвижная, изумляющаяся тому, что еще жива! Плоть умерла, еще не угасла одна только боль. Временами, когда ее веки смыкались под бременем усталости, а грудь оставалась неподвижной, сиделка с тревогой склонялась над ней: «Не мертва ли? Нет, еще дышит. Просто чудо!»

Но 2 марта, когда выл соседский пес, отпугивая смерть, ее душа отлетела и истерзанное тело успокоилось. Она тихо простилась с миром, где познала солнце триумфов и мрак поражений.

Да, драматична была судьба этой англичанки, воспламенившей гением Шекспира самого вдохновенного, самого одержимого среди французских романтиков.

Укажем, что новость, преданная огласке Эскюдье во «Франс мюзикаль», не была совсем лишена оснований: между Берлиозом и Листом шел серьезный разговор о большой должности в области музыки в Дрездене, которую занимал некогда Вагнер.

Узнав о роковом конце, Гектор, бросивший семью много лет назад, долго рыдал, вспоминая прошлое.

Джульетта… Офелия… Какая дивная женщина, вечно волнующая, вечно возвышенная! От ее голоса, ее жестов весь Париж приходил в неистовый восторг, И я почувствовал, что охвачен безумной, неугасимой любовью – той любовью, ради которой я готов был умереть. Стоя у окна моей комнаты против гостиницы, где она жила, я следил за ее жизнью, которую так мало знал, что, по существу, гадал о ней…

Я молил ее откликнуться на мою страсть… Всем существом я жаждал, я призывал ее. Она должна быть моей. И наконец, она стала моей, порвав ради меня с родиной, семьей, с высшим на этом свете культом – театром. Медовый месяц в Венсенне. Щебетание птиц, страстный шепот, созвучный нашим душам… Мои клятвы перед богом в вечной любви к ней…

А вместо этого мои любовные интриги и Мария Ресио,

черствая и грубая к ней… Ее болезни, ее мужественно переносимые страдания вдали от любимого сына, вдали от мужа, странствующего, чтобы обеспечить и ее жизнь… Она угасала одна, подле нее не было никого, кто протянул бы ей руку, чтобы преодолеть мучительный переход от земного мира к неведомой вечности, и сиделка, чужой человек, закрыла ей глаза.

III

Несчастная Офелия, как убого твое погребение! Смерть стоит дорого, а Гектор без денег. Но торговцы смертью не признают кредита; ведь они не могут вновь разрыть могилу, если им не заплатят.

Итак, Офелия, тебе суждено покинуть мир без пышности и шума. Если бы ты ушла в зените артистической славы, когда твое имя жило в каждом сердце, твой гроб утопал бы в венках и букетах цветов, произносились бы речи, лились слезы. Шатобриан сказал: «Человек любит зрелище смерти, когда это смерть знаменитости». Но что за дело Парижу в час бурных политических событий до смерти какой-то англичанки, много лет назад покинувшей сцену?

Тебя провожали, Офелия, тишина и равнодушие. Страдали только двое: твой муж, так часто изменявший тебе, и твой горячо любимый сын, который видел в тебе великомученицу.

Гектор выражал свою скорбь во многих письмах:

«Она научила меня понимать Шекспира и великое драматическое искусство, – писал он сестре. – Со мной она страдала от нищеты; она всегда без колебаний готова была рисковать самым необходимым ради моей музыки…»

В письме Листу 11 марта:

«…Только что у меня на глазах умерла моя бедная Генриетта, которая была мне так дорога. За двенадцать лет мы никогда не могли ни вместе жить, ни расстаться.

Сами эти раздоры сделали последнее прощание еще более мучительным для меня. Она избавлена от ужасного существования и нестерпимой боли, терзавшей ее в течение трех лет. Мой сын приехал домой на четыре дня и сумел повидаться с матерью перед ее кончиной, К счастью, я не был в отъезде. Мне было бы страшно узнать вдали, что она умерла в одиночестве»[165].

Раскрывая душу сыну, он писал:

«Я пишу тебе в полном одиночестве из большой гостиной на Монмартре, подле ее опустевшей комнаты. Я только что пришел с кладбища, я отнес на ее могилу два венка: один от тебя, другой от себя. Я совсем потерял голову; не знаю, отчего я сюда

вернулся. Слуги пробудут здесь еще несколько дней. Они все приводят в порядок, и я постараюсь, чтобы то, что здесь есть, принесло тебе по возможности наибольшую пользу. Я сохранил ее волосы; не потеряй эту булавочку, которую я ей подарил. Ты никогда не узнаешь того, сколько мы – твоя мать и я – выстрадали друг из-за друга, сами эти страдания привязали нас друг к другу. Для меня было так же невозможно с ней жить, как и ее покинуть… Хорошо, что она увидела тебя перед смертью…»

И спустя несколько дней:

«Я только что заказал тебе шнурок для часов из волос твоей бедной матери, и мне очень хотелось бы, чтобы ты свято его хранил. Я заказал также браслет, который отдам моей сестре, и я сохраню остаток ее волос».

В печати появилась короткая, сухая заметка. Только Жанен написал большой некролог. Вот отрывок из него:

«Ее звали мисс Смитсон… Она была, сама того не ведая, неизвестной поэмой, новой страстью, целой революцией. Она показала пример госпоже Дорваль, Фредерику Лематру, госпоже Малибран, Виктору Гюго, Берлиозу. Ее звали Офелией, звали Джульеттой. Она вдохновляла Эжена Делакруа… Ее, эту восхитительную и трогательную мисс Смитсон, называли и тем именем, что носила госпожа Малибран – ее звали Дездемоной, и Мавр, обнимая ее, говорил ей: «О моя прекрасная воительница! O my fair warrior!..» Она была чудесна, мисс Смитсон, и походила больше на небесное создание, чем на земную женщину…»

Время остановиться, чтобы поразмышлять и пофилософствовать.

«Боже! Как бренна и скоротечна жизнь! Отныне, – вздыхает Гектор, – я буду тем тенором, который из кожи лезет вон, стараясь хорошо петь, между тем как публика понемногу покидает свои места».

Смерть уже унесла его юного брата Проспера, так гордившегося им; она похитила мать, едва начавшую раскаиваться в своей непримиримости к одержимому музыкой сыну; отца – воплощение доброты, чей достойный образ вставал перед ним в часы смятений, чтобы подать совет и умерить пыл; безвременно ушедшую из жизни сестру Нанси и, наконец, Гэрриет, его Офелию, которую он некогда так воспевал и никогда не переставал любить.

Воспоминания о ней то и дело всплывали у него в памяти, возбуждая жестокие укоры совести.

Ради кого теперь кидаться в бой?

Ради эгоистичного утешения славой?

«У меня остались, правда, мой сын Луи и моя спутница Мария.

Но не приберет ли ненасытная смерть и их тоже?

О черные дни, долгие дни, гнетущие душу, которая скорбит и испивает до дна горькую чашу!»

IV

Приближалось событие, воскресившее его энергию, – новые выборы в Институт.

Как жалки на этот раз соискатели благородной зеленой одежды со шпагой! Неизвестные вовсе или слишком известные своим ничтожеством. «Неужели «поДагрики» (стиль Берлиоза) – этот оплот правоверной теории – не снимут, наконец, свой дурацкий запрет с композитора бурь и потрясений, отдав предпочтение его бездарным конкурентам?» – спрашивали ревностные берлиозцы. К великому изумлению немцев, они избрали некоего Клаписсона – скверного музыканта, сочинявшего лишь мелодийки из кружев и дешевых духов.

Враги Клаписсона, изменив начальную букву, в шутку называли его Глаписсоном[166]. И этот Клаписсон – подумать только! – победитель Берлиоза!

Но чему удивляться? «Окостенелые умы» действительно скорей избрали бы бревно, чем величественного автора «Осуждения», повинного в мятеже против высочайших правил. Вот как обстояли дела в этот момент.

Гектор, узнав о результате, воскликнул:

«Я вернусь! Никто и ничто не заставит меня пасть духом. Я решил стоять на своем так же упорно, как и Эжен Делакруа, которого столько раз отвергали. Я поступлю, как господин Альбер Пюжоль, выставлявший свою кандидатуру десять раз». И, говорят, добавил: «Вы проглотите меня рано или поздно, проглотите вопреки всему!»

Вновь хлынул стремительный водопад из «окостенелых умов», «старых черепах» и прочих берлиозовских эпитетов.

Благоразумие призывало этого одержимого человека, прослывшего «неукротимым», с почтением склониться, но тщетно приказывать бурному потоку смирить свой нрав.

Снова стало ясно, что в манере кандидата, пораженного острым «академитом», было очень мало академического.

V

Гектор весь в поисках нового пристанища для утешения и поддержки. Где сможет он его найти? Нередко спасительной гаванью для отчаяния служит вера. Гектор, в котором дремали религиозные чувства, вновь обрел рвение ранней юности. Надолго ли?

Погрузившись в мистицизм, он создал в дополнение к «Бегству в Египет» сочинение, где воспет бог, – «Детство Христа».

Вообще-то он начал эту благочестивую поэму до того, как угасла Офелия, но как несозвучна была она тогда его сердцу. Потом жестокий траур открыл ему бренность земного бытия, напомнил о потустороннем мире и создал настрой, гармоничный новому произведению.

Гектор творил, обращаясь к тайникам собственного «я» и устремив к небу свою вдохновенную душу.

Гектор закончил «Детство Христа» в конце лета. Он сам написал стихотворный текст в намеренно наивном и несколько архаичном стиле, который подчеркивал чистоту и свежесть сюиты, придавая ей изысканные цвета миниатюр из молитвенника средних веков.

История очень проста. Тетрарх Ирод, окруженный римскими солдатами, предается раздумью в своем дворце. Встревоженный тайным возмущением, которое, как он чувствует, поднимается среди иудеев, Ирод допрашивает волхвов и решает учинить избиение младенцев. Первая часть завершается так, будто закрываешь последнюю страницу на изображении яслей в Вифлееме: святое семейство, написанное в очень мягких тонах, преклоняется пред младенцем, однако голоса ангелов, порхающих в лазурном небе, призывают к бегству.

Часть вторая. Прощание пастухов, странствия, отдых – миниатюры, исполненные изящества и тонкости; сменяют друг друга струнные и деревянные инструменты, голос чтеца, и все завершается хором ангелов, исполняющих аллилуйю.

Наконец, третья часть: прибытие в шумный город Саис, где беглецы оказались у арабского патриарха. Под кровом этого городского Вооза они найдут гостеприимство и душевный покой. В более широком, но столь же строгом темпе композитор пишет на фламандский манер этот примитивный оазис христианской земли, где дети, служители, женщины, одни за другими, чествуют своих святых гостей, услаждая их слух мелодиями флейты, сливающимися со звуками фивской арфы. И пока тихо плачет дева Мария, чтец ведет диалог с неземными голосами:

О моя душа, что тебе остается?

Смирить свою гордыню…

«Его скептицизм чередовался с порывами лиризма; невзирая ни на что, он чувствовал потребность в сверхъестественном, в поэтизации души и находил эту поэтизацию лишь в своем благочестивом детстве, в истории Иисуса, в волшебных воспоминаниях о Кот-Сент-Андре»[167].

Так прочь романтизм, где чувства довлеют над разумом! Разве не сказал Лакордэр накануне своего смертного часа: «У меня крайне набожная душа и очень неверующий разум»?

19 октября Гектор вступил в брак с Марией Ресио. Связанный с ней уже несколько лет, он сделал это, чтобы нравственно поднять и упорядочить свою жизнь. Узы супружества никак не изменяли его положения, но моральное состояние Гектора от этого улучшилось.

Была тихая, почти тайная свадьба – невеселая оттого, что над ней витала тень Офелии.

Будем справедливы: умиротворенная замужеством и избавленная от ревности, Мария стала теперь спокойнее, покладистей, преданней. Что же касается ее театральных устремлений, то она решила сделать еще одну попытку взойти на подмостки и попросила своего знаменитого мужа помочь ей. Но тот образно ответил, что он муж, а отнюдь не сообщник.

На смену демону страсти, разжигаемой Марией, пришла спокойная привязанность, подслащенная привычкой.

Однако Генриетта так никогда и не стерлась из его памяти во время жизни со второй женой. В той он восхищался трогательной, восторженной и возвышенной Офелией, он жалел Гэрриет – звезду, упавшую с неба в темный овраг, – и поддерживал в себе угрызения совести, как бы находя в них свое оправдание.

10 декабря 1854 года

Зал Герца. Первое исполнение «Детства Христа». Бешеный успех, почти триумф[168]. Недовольна только горстка непримиримых во главе с ядовитым Скюдо, почитавшим своим долгом еще раз выпустить жало.

Прозвучит ли, наконец, для Гектора «dlgnus intrare»?[169] Нет, нет! Каждая его победа отзывается звуками горна, поднимая по тревоге ополчение ультрапуристов, а попросту тупоголовых, которые никогда не уступят и спешат лишь сорвать успех.

И Гектор вновь и вновь будет ждать…

1855

I

Данной книге чужды сухие, строгие и полные протоколы. Ее цель – рассказать о духовном облике Гектора. Поэтому кратко упомянем в этом году лишь исполнение «Te Deum» в церкви Сент-Эсташ 30 апреля, накануне Всемирной выставки. По излюбленному выражению Гектора, «вавилонского, ниневийского» «Te Deum».

О свирепой, злобе, ненависти, предвзятости можно судить по глупой, написанной в ироническом тоне статье, которую Вильмессан поместил в «Фигаро»:

«У Берлиоза столько ума, сколько у всех умных людей; он имеет наград больше, чем все награжденные люди, вместе взятые; он добр и радушен; у него одухотворенное и убежденное лицо; он учен, как бенедиктинец. Когда такой серьезный человек, как Берлиоз, говорит вам: «Сейчас вы услышите музыку, великую музыку, подлинную музыку», то такому невежде, как я, ничего не остается, как с готовностью и доверчивым смирением развесить уши. Я вечно попадаюсь на этом. И всякий раз думаю про себя: может быть, именно сегодня откроется мне музыка Берлиоза! Всякий раз я слушаю ее с благоговением, с наивным восхищением, тем более наивным, что никогда ее не понимаю. Эту музыку я едва «различил», да и то лишь раз» – в траурном шествии июльских жертв, где-то в фантазиях «Похоронного марша», но я совсем потерял ее из виду в последнем «Te Deum'e», исполнявшемся в Сент-Эсташ девятьюстами музыкантами». «Te Deum» – вещь ликующая или, во всяком случае, прекрасная своей живостью, – одновременно и радостная и суровая. Берлиоз, убежденный в этом, имел, видимо, целью, сочиняя свое произведение, позволить каждому исполнителю веселиться как тому вздумается, в одиночку, не интересуясь соседями. «Забавляйтесь в силу своего темперамента, дети мои! Делайте каждый что захочет и в любом тоне! Только с душой!» – вот его музыкальный девиз. «Хотите играть на барабане – играйте на барабане! Веселитесь, это ведь «Te Deum», И некоторые музыканты принялись играть на барабане. Это было изумительно!

Берлиоз дирижирует оркестром руками, плечами, головой, бедрами и, наконец, всем своим существом; вид у него такой, словно он нашел себя, понял себя, следит за своей мыслью в этом шуме. Надо надеяться, что ближайший концерт, на который он нас пригласит, будет происходить на Елисейских полях. Каждый музыкант взберется на свое дерево; я забронирую номерной сук;

шум омнибусов послужит оркестру педалью, пушка Дома инвалидов будет тамтамом, а Берлиоз, верхом на качелях, будет отбивать такт (sic) и, кувыркаясь, следовать за своим сочинением…»

Не пускаясь в обсуждения, еще раз мимоходом выразим сожаление по поводу несправедливости французов, с ожесточением обрушившихся на своего соотечественника-гения, которого повсюду за границей встречали овациями. Какое убожество ума!

II

В том же году Гектор с триумфом выступил в Лондоне, в «Нью Филармоник». На этот раз грязного интригана Косты здесь не было: он отошел от дел.

И еще событие: встреча с Вагнером. Оба – гении, оба – бойцы. И оба страстные новаторы всепобеждающей музыки, где медь труб служит величию. Сходство, которое, казалось бы, должно по-настоящему связать и слить, восстановило их друг против друга, породив нег примиримое соперничество. Казалось, нужно было умереть одному, чтобы другой жил.

Не будем разбираться во всех тонкостях их взаимоотношений – то подозрительных, то враждебных, то спокойных, то бурных. Уточним лишь, что в Лондоне они как будто изменили первоначальное превратное мнение друг о друге. Затишье перед бурей!

1856

I

И вот одержимый скиталец вновь в Германии – в Готе, в Веймаре, приветствия сотрясают всю страну. В Германии он и узнал, что 26 июня Академия изящных искусств первым в списке представляет его в новом голосовании; в списке фигурируют, однако, Фелисьен Давид и Гуно. Произошло невероятное: на место «жабы» Адана был избран Гектор[170].

Каким же чудом толкователи музыкальной библии, хранители священной традиции снизошли до того, что подпустили к своему хрупкому хрустальному дворцу «буяна Берлиоза», как они его величали? Прозрели ли они, поняв вдруг величие гения, которого дотоле не признавали, устали ли они от борьбы? Неизвестно. История сообщает о факте, умалчивая о его

причинах.

Так Гектор доказал, что терпение и настойчивость всегда бывают вознаграждены[171].

Хотя из-за беспрестанных потоков выливаемой на него грязи ему до сих пор так и не удалось покорить широкую публику – кузнеца славы – и хотя на него обрушивалось множество наемных писак со Скюдо во главе банды, ученый ареопаг Франции оказал ему, наконец, высокую честь.

Неистовый Гектор сдержал восторг. Он хотел щегольнуть спокойным равнодушием к происшедшему и тем доказать, что простой акт справедливости не может привести его в восхищение. И все же, когда его впервые назвали «господин Член Института», он произнес от всего сердца: «Может быть, моя трудная жизнь мне не совсем не удалась».

Нет, Гектор, несмотря на несправедливости и поражения на родине, ты не был, как говорится, «жалким неудачником».

Подведем итог.

Благодаря неистощимой энергии ты завоевал Римскую премию, получил орден Почетного легиона, ты взломал двери Института, ты завоевал славу за границей.

В конце концов не так уж плохо!

Чего же тебе не хватает? Знаю. Тебе недостает самого прекрасного, самого ценного: завоевания широкой публики и, стало быть, славы в родной Франции.

Но не теряй веры, Гектор, не сдавай своих позиций. Не складывай оружия, не дай заржаветь ему, веди бой.

II

Гектор продолжает путешествие. В Веймаре он снова застал советчицу Листа, княгиню Сайн-Витгенштейн, – женщину тонкого ума, увлеченную искусством и литературой и влюбленную в музыку.

Именно она посоветовала композитору воспеть «Троянцев». В этом патетическом сюжете он смог бы полностью раскрыть свои возможности. Вскоре Гектор написал либретто и начал сочинять эту монументальную оперу.

1857

Конец января

Полтора акта закончены.

«Со временем, – писал он Беннэ, – несомненно, образуется и остальная часть сталактита, если только не обрушится свод

пещеры»[172].

Остановимся. Не станем сопровождать Гектора во всех его многочисленных поездках. Скажем просто, что в часы сплина, к которому примешивалось болезненное презрение, он бежал за границу, чтобы там упиться славой среди неумолчных оваций. Да, то были действительно скорее не поездки, а побеги.

1858

I

7 апреля

Наконец партитура «Троянцев» закончена. Сброшен с плеч тяжелый груз.

Гектор ставит подпись под последней строкой.

II

Он в возрасте, когда любят размышлять и мечтать. Но, увы, ему нужно спешить на ночной бал во дворец. Мало сочинять музыку, нужно еще устраивать ее исполнение. В каком театре и какого числа? Только император может решать и распоряжаться. И потому Гектор должен обхаживать монарха, чтобы убедить его и увлечь. Сможет ли он это сделать?

– Пожалуйста, Мария, форму, шпагу, треуголку, – просит он, сожалея, что не может остаться дома.

Длинноволосый, убеленный сединой, в зеленой одежде, при орденах – свидетелях его триумфов во всех странах Европы, Гектор шагает царственной походкой.

У дверей большого приемного зала с тысячами трепещущих свечей ярко разодетый привратник торжественно объявляет:

– Господин Гектор Берлиоз, член Института! Хотя Гектор внешне и не повел бровью, внутри у него словно что-то оборвалось.

Вот он идет, внезапно став центром внимания. За ним закрепилась противоречивая репутация: для одних он – гений, для других – фантазер, для всех – д'Артаньян. Приветствует ли он кого-нибудь на ходу, останавливается ли, чтобы перекинуться парой слов, его взгляд среди богинь красоты и увешанных звездами мундиров жадно ищет императора. Какая шумная толпа! Наконец ему удалось разыскать глазами камергера императрицы, он пробился к нему и рассыпался в любезностях. Но сможет ли когда-нибудь сей высокий сановник быть ему

полезным? Наконец он заметил в отдалении императора, но приблизиться к нему так и не смог. Пустой вечер, время, похищенное у сосредоточенного раздумья.

И, разумеется, по пути домой он сыпал бранью.

III

Намерение растрогать императора не покидало его ни днем, ни ночью. «Если бы я мог прочитать ему свое либретто, – думал Гектор, – то наверняка привлек бы его на свою сторону и благодаря всемогущественному покровительству получил бы сцену Оперы».

В конце концов он решился написать государю, прося у него аудиенции.

«Ваше величество, я только что окончил большую оперу, для которой написал и слова и музыку. Несмотря на смелость и разнообразие примененных в ней приемов, тех средств, которыми располагает Париж, достаточно для ее постановки. Дозвольте мне, ваше величество, прочитать вам либретто и затем попросить вашего высокого покровительства моему произведению, если оно будет удостоено такого счастья… Его партитура величественна и сильна и, несмотря на кажущуюся сложность, очень проста. К сожалению, она не тривиальна, но этот недостаток относится к тем, которые ваше величество простит…»

Это письмо он передал влиятельному министру герцогу де Морни – сводному брату Наполеона III. Де Морни отговаривал Гектора отправлять его.

– Оно идет вразрез с принятыми нормами, – сказал де Морни.

Однако Гектор пренебрег советом. И затем долго, очень долго ждал, с каждым днем все более сокрушаясь из-за молчания императора.

Прошел месяц, два, три, четыре, пять…

Но как-то утром, после этой длительной пытки он получил уведомление, что император дает ему частную аудиенцию.

Слава богу!

Великий день.

Гектор в одежде академика, с бьющимся сердцем был допущен в гостиную, отведенную для просителей, которым выпало редкое счастье быть удостоенными частной беседы.

Редкое счастье? Ну и ну! Их было сорок два!

Гектор едва смог пробормотать несколько слов его величеству, «имевшему – писал он Листу, – вид на 25 градусов ниже нуля. Он взял у меня рукопись, заверив, что прочтет ее, «если сможет улучить свободную минуту», и с тех самых пор мне

ничего больше не известно. Шутка сыграна. Она стара как мир. Я уверен, что царь Приам поступал точно так же».

И Гектор, возлагавший большие надежды на приглашение императора, горько задумался. Ему на ум приходили, верно, такие мысли: только мой, французский государь упорно меня не признает. О милая родина, за что ты так жестока? Германские короли и русский царь щедро доказывали мне свое благоволение и восхищение. Они принимали меня, выслушивали, беседовали со мной, склоняясь перед музыкой, всесильной, подобно им.

А он, Наполеон, унижает меня и пренебрегает мною, несмотря на то, что я писал о нем: «Никогда не забуду, что император избавил нас от грязной и глупой республики! Все цивилизованные люди должны помнить об этом».

Но тут его лицо отразило внезапное волнение, почти страдание.

«Уж не знает ли он, что я сказал о нем также: «Он имеет несчастье быть варваром по отношению к искусству»? Но что из того? Много ли проку оттого, что Нерон был артистом? Зато этот – варвар-спаситель! А может, ему известно, что я заявил: «Увы! Он недоступен для музыки, которую ненавидит, как десять дикарей». Нет, – заключил Гектор после минуты глубокого раздумья, – он ничего не знает, ведь я высказывался так в частных письмах. Просто императора настроили против меня все эти злобные интриганы; правда и то, что он опьянен эгоизмом; счастливый и могущественный владыка, привыкший к лести, горячо любимый муж несравненной Евгении Монтихо, которой позавидовала бы сама Венера. Он живет в волшебном ореоле, вдали от сражений (и, однако, он их знал), вдали от лишений (и, однако, он их испытал). Он вознесся так высоко, что к земным делам чувствует лишь презрение».

«Пусть император отказывается произнести свое слово, пусть против меня уже готов заговор и передо мной закрыты все двери, я сумею взять себя в руки, собраться с силами, победить и сокрушить!»

И Гектор уходит в хлопоты: задыхаясь и посылая проклятья, он без устали поднимается по лестницам в приемные.

Наконец он получает в Опере обещание, хотя нетвердое и расплывчатое: «Разумеется, если окажется возможным… По поводу даты будет видно…» И тем не менее; в своем горячем желании поверить Гектор принял эти уклончивые слова за утешительное обязательство.

«Поскольку это не категорическое «нет», – сказал он себе, – нужно лишь выжидать и быть настойчивым».

Поэтому он упорно пытался добиться своего. Несчастный гений, таскающий в истертом портфеле бессмертный шедевр, о котором Франция не хотела даже знать.

1859-1860

I

Шли месяцы. Его опережали и опережали другие композиторы. Сначала французы, затем Рихард Вагнер[173].

– Гром и молния! – воскликнул Гектор, узнав, что настырный немец благодаря могущественным лицам и закулисным интригам ворвался на сцену Оперы.

Почему Вагнер не понимает, что должен уступить дорогу французу, который ждет уже два года? Бестактность чужеземца вызвала разрыв между двумя музыкантами. И Вагнер сожалел об этой ссоре, восстановившей против него грозного музыкального критика из «Деба», который умел дать отпор и никогда не упускал этой возможности. Напрасно Вагнер пытался умилостивить Гектора, всемерно обхаживая его и проявляя знаки восхищения и преданности.

Так, он писал ему:

> «Дорогой Берлиоз!
> Я счастлив преподнести вам первый экземпляр моего «Тристана». Примите и сохраните его из дружбы ко мне.
> Ваш Рихард Вагнер».

На партитуре он написал:

«Великому и дорогому автору «Ромео и Джульетты» признательный автор «Тристана и Изольды»[174].

Ничто не помогало. Выходец из Дофине редко изменял свое мнение, и знаменитый фельетон Гектора в «Деба» от 9 февраля 1860 года прозвучал объявлением беспощадной войны композитору из Саксонии.

Вагнер ответил ему 22-го того же месяца письмом, где смирение шло вразрез с его гордым и неровным характером.

«Позвольте столь гостеприимной Франции, – писал он Гектору, – дать убежище моим музыкальным драмам. Со своей стороны, я жду исполнения ваших «Троянцев» с самым живым нетерпением. Оно оправдано моей привязанностью к вам, значением, которое не может не иметь ваше произведение при современном положении музыкального искусства, а более всего особой важностью, которую я ему придаю из-за идей и

принципов, всегда руководивших мной».

Напрасный труд! Примирение невозможно; и пока возвращали «Троянцев» Гектору и откладывали их постановку, Вагнер благодаря интригам жены одного посла решительно продвигался к цели.

II

И снова независимый и гордый Гектор изнывает в приемной директора Оперы. Но унижающийся человек унижает унижающего[175].

Впустив Гектора в кабинет, ему всякий раз говорят:

– Терпенье, господин Берлиоз, терпенье.

– Великий боже, до каких же пор? – И после гнетущей паузы: – Терпенье… На мою долю выпало всю жизнь терпеть. Наступит ли очередь «Троянцев», прежде чем я умру?

Безносая, казалось, зловеще рыскала, подстерегая новую жертву в лоне несчастной семьи Берлиозов, уже и так жестоко опустошенной ею.

Мысль о смерти посещала его и днем и ночью. Прежде чем окончить жизненный путь, ему так хотелось увидеть «Троянцев» на сцене, завоевать широкую публику и увековечить свое имя.

Так что же, начинается состязание со смертью?

Нет, еще не сейчас! Смерть решила дать ему отсрочку.

Но вместе с судьбой – своей слепой сообщницей – стала без отдыха опустошать ряды вокруг него.

Кто же следующий?

Милая Адель Сюа[176], любимая и верная сестра, которая всегда сражалась на стороне своего гениального брата. Она защищала его, когда тот предпочел медицине, ползающей по земле, витающую в небесах музыку. Она понимала, поддерживала, отстаивала Гектора при его женитьбе на Офелии; она оправдывала его в пору, когда он наделал долгов ради искусства.

Понять – значит простить. Она так глубоко постигла трепетную и беспокойную душу своего любимого брата, что признавала его невиновным, что бы он ни сделал. И никто не смог бы с таким же жаром отстоять его призвание перед родителями – отсталыми провинциалами. К тому же она была романтична, подобно великому Гектору; стоны деревьев, дремлющее озеро, задумчивая луна рождали в ней поэтичные образы.

Узнав о новом горе, Гектор долго рыдал, повторяя сквозь слезы:

– Мы любили друг друга, словно близнецы.

III

Превозмогая душевные и физические страдания, Гектор то и дело вскакивал с постели, чтобы вписать новую ноту в партитуру «Беатриче и Бенедикта», которую он сочинял в ожидании, пока Опера соблаговолит, наконец, выполнить свое обещание поставить «Троянцев». Комическая опера в двух актах «Беатриче и Бенедикт» была написана на сюжет комедии Шекспира «Много шуму из ничего».

1861

I

«Тангейзер» оказался в центре внимания газет и главной темой разговоров. Одни провозглашали Вагнера гением, чей музыкальный стиль должен ослепить Францию; другие осыпали бранью «бездарного композитора, сильного лишь в интригах» и сумевшего за несколько недель получить для себя сцену в Опере. Последние возмущались тем, что император по ходатайству жены австрийского посла княгини Меттерних и прусских дипломатов лично приказал директору проставленного императорского театра господину Руайе поставить произведение саксонца без замедления и не стесняясь в расходах.

Всего за три недели! А потом начались репетиции. Их было шестьдесят четыре! Какое рвение, какая любовь к композитору!

За три недели! А он, Гектор, ждет вот уже два года! Увы, ему предстоит ожидать еще очень долго.

С каждым днем в Париже накалялись страсти: одни были за Вагнера, другие против. Никто не остался равнодушным.

Наперебой обсуждали репетиции, где безудержно командовал гневный и раздражительный немецкий маэстро. Стало известно о баснословных ангажементах: певец Ниман получал 6 тысяч франков в месяц, декораторы заработали целое состояние на оформлении спектакля, достойном дворцов, где царствуют лишь боги.

Готовилось тяжелое сражение, второе «Эрнани».

«Тангейзер»! Какой сюжет! Правда причудливо вплетается в вымысел, изумительно сверкающую сказку. Первый акт.

Тангейзер – рыцарь, певец любви, переполняющей его сердце.

Но кого любит этот смертный избранник? Богиню Венеру.

Мы видим его на высокой Венериной горе, в волшебном, горделивом замке, где богиня среди нимф предается чувственным наслаждениям. Простершись у ног Венеры, он, словно во сне, наблюдает забавы нимф с перламутровыми телами и волосатых сатиров.

Но что с ним? Не теряет ли он рассудка? Лишь кончается праздник, Тангейзер внезапно признается своей царственной возлюбленной, что он в смятении от любви к ней и намерен удалиться. Венера противится, восстает и, словно простая земная женщина, молит остаться волшебника, воспламенившего ее плоть, которую он неустанно превозносил и славил.

Он отказывается. Какие же чувства его волнуют? Зов родной веры? Раскаяние из-за отступничества и воля к искуплению? Быть может. И вот Тангейзер шепчет имя святой девы, и – о чудо! – он тотчас оказывается в легендарной Вартбургской долине, перед священным образом Марии – божьей матери.

И как раз в этот миг по пути в святой город Рим проходят с песнопениями пилигримы. Их молитвы, их экстаз распространяют вокруг такую чистоту, что Тангейзер, грешивший любовью к богине, служительнице культа любви, не решается к ним присоединиться.

Так в мифологию вплетается христианская вера – ради большей романтики, большего чуда, большей души.

Второй акт.

До того как укрыться наверху, в Эмпирее, рыцарь Тангейзер любил девушку, которая была сама кротость, сама невинность. Ее звали Елизаветой. Но настал момент, когда он пресытился обычной любовью людей, и, мечтая познать неведомые на земле дивные страсти, осмелился просить у богини плотских наслаждений. Тут-то и началось владычество обольстительной Венеры.

Чистые слезы льются из невинных глаз несчастной, покинутой Елизаветы. Ее душат рыдания.

Но вот она узнает, что ее неверного возлюбленного терзают угрызения совести. Ее сердце, целиком отданное любимому, прощает и горячо зовет его.

С тех пор как Тангейзер бежал, ее руки просили один за другим больше ста женихов. И теперь, увы, Тангейзеру придется оспаривать руку Елизаветы в блестящем турнире влюбленных рыцарей, которые будут воспевать и славить любовь.

Один за другим раскрывают рыцари свои нежные чувства. Наконец настает очередь Тангейзера… Он начинает. Но, боже, что молвят его уста? Невозможно поверить, все изумлены. Где ж его

раскаяние? Он воспевает чувственные наслаждения и откровенно повествует о том, что изведал там, наверху, во чреве Венериной горы. То звучит голос возродившегося огня желаний, говорит одна лишь страсть. И Тангейзер все больше воспламеняется от воспоминаний. Рыцари вокруг него кипят негодованием; они угрожают, они бросаются на него, но Тангейзер бежит и спасается от верной смерти благодаря тайному гонцу. От кого? От покинутой Елизаветы, которая наперекор всему хочет верить, что к нему придет раскаяние.

Третий акт.

Появляется мертвенно-бледный Тангейзер. Он едва держится на ногах.

– Я возвращаюсь из Рима, – рассказывает он, – где предстал перед папой. Я бил себя в грудь, вымаливая прощение. Увы, его святейшество Урбан IV прогнал меня, сказав: «Пилигрим, ты будешь прощен, лишь когда посох, что держишь ты в руке, зазеленеет молодыми побегами». Итак, я проклят, – заканчивает Тангейзер.

В этот-то благоприятный миг на землю опускается Венера и является перед ним: «Вспомни, вспомни, Тангейзер…» – и она вызывает в его памяти те сказочные наслаждения, что он изведал. Но напрасно! Рыцарь отвергает бесстыдную богиню, которая искушает его, раскаявшегося и умиротворенного. Но какая сила вдохнула в него столь неприступную добродетель? За него просил ангел и добился, что папа, растрогавшись, дал ему отпущение грехов. Тем ангелом была покинувшая мир Елизавета. Вдали раздаются долгие рыдания колоколов, еще продолжающих свой погребальный звон по ней.

Но что это? Появляются пилигримы и ставят к ногам Тангейзера гроб, где спит Елизавета. Очищенный от грехов рыцарь падает на колени, и свершается чудо – посох покрывается живыми побегами, свидетельствующими о прощении, – а он умирает возле той, которая отдала жизнь ради него. И души их летят вместе в неведомые края идеальной и вечной любви.

Какой взлет чувств! Какой неистовый лиризм! Недостойный Вагнер создал из величественной легенды неповторимый шедевр.

Наконец настал знаменитый день 13 марта 1861 года, которому суждено было стать памятной датой в истории музыки. Какой большой и ужасный урок Вагнеру! Какое отмщение Гектора, если вообще дозволено произнести это жестокое и бесчеловечное слово[177].

Это был полный провал. Госпожа Меттерних в своей ложе, забыв о приличиях, вызывающе сломала веер, словно

намеревалась запустить им в лицо публике, чтобы доказать ей свое презрение. Слышны были грубые улюлюканья, топот, непрерывные выкрики в подражание животным. Повторение истории с «Осуждением Фауста».

Теперь предоставим слово старшей дочери Листа Бландине Оливье, жене адвоката и депутата Эмиля Оливье, ставшего позднее главой правительства Франции. Вот в каких выражениях она писала отцу:

«Вчера я снова слушала «Тангейзера». Подробности о первом исполнении вам уже известны от Ганса (Бюлова). Это был удручающий спектакль; я счастлива, что вас там не было; судя по тому, что я испытала, представляю себе, как страдали бы вы. Бешеные овации – решительный протест против заговора. Все шло хорошо до середины второго акта: прибыли император с императрицей, и поэтому певцы почувствовали прилив сил и поддержку. Мадемуазель Сакс прекрасно сыграла свою роль, и ей горячо аплодировали. Но тут в амфитеатре кто-то свистнул. Возгласы «браво», свистки. Раздался выкрик: «Интриганов за дверь!» – и зал встал, негодуя против упорного свистуна. Громкий ропот. Император поглаживает усы, улыбается, хлопает, императрица растерянно оглядывает зал. Заканчивается второй акт – и снова аплодисменты. В третьем акте Морелли (Вольфрам) вызвал большое восхищение, Ниману (Тангейзеру) хлопали в каждой паузе его речитатива. Свист, крики «браво», вновь свист – и тогда возгласы «браво» раздаются с удвоенной силой. Ниман благодарит и приветствует публику. Такая борьба длилась до конца. Вызывают певцов. Свистки, выкрики «браво», и, наконец, аплодисменты заглушили все. Император мужественно оставался до конца».

Бландина Оливье сообщает факты, явно желая их смягчить. Ее рассказ соткан из эвфемизмов. Она говорит об упорном свистуне. На самом деле то был сплошной вой в возбужденном зале. К третьему спектаклю скандал достиг апогея. Вагнер вынужден был отказаться от дальнейших спектаклей. Адольф Бопго точно сообщает:

«Скандал был организован прежде всего публикой, абонировавшей кресла в зале, придворными, членами жокейского клуба. Ежеминутные издевки, обращения к актерам, серенады на дудках, стук откидных стульев, пронзительный свист металлических свистков. Франты – покровители танцовщиц, – решив сорвать спектакль, где балет был в первом акте, а не в третьем, закупили у оружейника в проезде близ Оперы весь ассортимент охотничьих свистулек».

Хотя Гектор был болен и его лихорадило, он потащился на

премьеру.

Автор безвестных «Троянцев» сидел, словно на скамье цирка, и наблюдал, как на его глазах раздирали дерзкого гладиатора, который вознамерился укротить львов и Париж. Несмотря на всю пышность и огромные расходы, такой оглушительный провал. Его чувства нетрудно было угадать.

От уязвленного человека нельзя требовать ангельского характера. Но о таких чувствах можно сожалеть, более того – скорбеть.

Мелочным обидам не должно быть места в сердце и мыслях высокого избранника. Нам больше было бы по душе, если бы гений стоял выше человеческих страстей. Разумеется, сам Вагнер и его приемы не нравились Гектору. Конечно, предпочтение, каким тот неблаговидно пользовался, было заслужено ценой низких уловок. Но ведь подлинное искусство выше земных интересов. Вспомни-ка, Гектор, историческую минуту: ты положил дирижерскую палочку, Паганини, оклеветанный, как и ты, бросился к тебе, восхищенный твоим гением, и, преклонив колено, возвестил о твоем величии. Почему же ты забыл об этом?

От Гектора нельзя было требовать, чтобы он кинулся к Вагнеру, заключил его в объятия и подставил свою грудь вместо щита. Не надо терять чувства меры. Но как мог он забыть, что при провале «Осуждения» испытал те же несправедливые обиды?

Почему он, верховный жрец музыки и выдающийся критик, остался глухим к торжествующей красоте «Тангейзера»?

Нам ответят: «Может быть, Гектор Берлиоз не постиг страстной поэзии этого шедевра, как не понял Рихард Вагнер «Осуждения Фауста».

Как прискорбно видеть, что два гения не понимают, не любят, не терпят друг друга.

Однако довольно!

В тот памятный вечер Берлиоз, важная персона в «Деба», передал перо для отчета д'Ортигу.

Траурным тоном, каким произносили бы надгробное слово на могиле, д'Ортиг самочинно похоронил Рихарда Вагнера с его «Тангейзером». Он заключил (и в том была его основная вина): «Если уж хотят поддержать смелый, новаторский талант, то Опере достаточно лишь оглядеться вокруг – она быстро сумеет отыскать такое произведение».

Мы повторяем – основная вина: то не была объективная рецензия, а лишь повод защитить друга, который, оставаясь в тени, ждал своей очереди и радовался поражению соперника, незаконно его опередившего.

И Гектор, злорадствуя, писал письма, где не мог скрыть

своего ликования.

Госпоже Мансар:

«О боже, что за спектакль! Какие взрывы смеха! Парижанин показал себя вчера в совершенно новом свете, он смеялся над дурным музыкальным стилем, смеялся над скабрезностями шутовской оркестровки, над наивностью гобоя; он понял все-таки, что в музыке есть стиль.

А что касается ужасов, то их блестяще освистали».

Сыну:

«Спускаясь по театральной лестнице к выходу, люди вслух величали несчастного Вагнера прохвостом, наглецом, идиотом. Если оперу будут ставить и дальше, то в один прекрасный день ее не доиграют до конца, и тем все будет сказано. Печать единодушно ее хоронит. Ну, а я достойно отомщен».

Отомщен! Это суровое слово то и дело выходит из-под его торопливого пера, повторяется в каждом письме. Шуман не употреблял его никогда. «Я никогда не мщу, – говорит он. – Я силюсь понять и всегда прощаю».

То же думал и Лист, который страдал из-за недоброго победного клича Гектора – его друга. Но он смолчал, не позволив себе ни единого нравоучения. Более того – Ференц жалел Гектора, о чем свидетельствует письмо княгине Витгенштейн, посланное им спустя два месяца из Парижа, где он тогда находился.

«Наш бедный друг Берлиоз сильно удручен и полон горечи. Домашняя жизнь давит на него, словно кошмар, а вне дома он встречает лишь препятствия да огорчения! Я обедал у него вместе с д'Ортигом, госпожой Берлиоз и матушкой госпожи Берлиоз. Было мрачно, скучно и печально. Голос у Берлиоза сел. Он говорит шепотом и, кажется, всем существом клонится к могиле. Не знаю, как он дошел до того, чтобы настолько отгородить себя ото всех. В сущности, у него нет ни друзей, ни сторонников, ни яркого солнца – публики, ни мягкой тени – семейного уюта».

Постоянный поборник справедливости, Лист защищал «Тангейзера» так же, как некогда отстаивал «Осуждение». Честные знатоки музыки провозгласили опальный «Тангейзер» подлинным шедевром. Назовем среди них Бодлера.

От этой оперы сорокалетний поэт пришел в восторг. Негодуя против вынесенного ей приговора, он не смог сдержаться и отправил Вагнеру письмо; хотя оно и справедливо, однако весь его тон и допущенные в нем преувеличения не могут вызвать у нас сочувствия[178].

Вот оно:

«Сударь, мне всегда казалось, что великий артист,

как бы ни был он привычен к славе, не становится менее чувствительным к искреннему поздравлению, когда это поздравление – возглас благодарности, возглас, который представляет ценность «особого» рода, оттого, что исходит от француза, то есть человека, мало склонного к восторженности и рожденного в стране, где больше не понимают ни поэзии, ни живописи, ни музыки. Прежде всего хочу сказать, что признателен вам за «самое большое музыкальное наслаждение, когда-либо мной испытанное». Я уже в таком возрасте, когда больше не развлекаются писанием знаменитым людям, и я долго бы еще колебался, засвидетельствовать ли вам в письме свое восхищение, если бы я не видел ежедневно недостойные, нелепые статьи, в которых всеми силами пытаются очернить ваш гений. Вы – не первый человек, сударь, по поводу которого мне пришлось страдать и краснеть за мою страну. В конце концов возмущение побудило меня высказать вам свою признательность. Я сказал себе; «Я не желаю, чтобы меня смешивали с этими глупцами». Прежде всего мне показалось, будто я знаю эту музыку, что эта музыка моя, и я узнавал ее, как узнает всякий человек все то, что ему назначено любить… Ее свойством, более всего меня потрясшим, было величие. Она воссоздает возвышенное и побуждает к возвышенному. В ваших произведениях я повсюду находил торжественность великих звучаний, грандиозные картины природы и победу великих страстей человека… Повсюду нечто вдохновенное и вдохновляющее, какое-то устремление ввысь, что-то непомерное и необычайное… Я мог бы продолжать письмо бесконечно… Мне остается лишь добавить несколько слов. С того дня как я услышал вашу музыку, я беспрестанно говорю себе, особенно в тяжелые минуты: «Если бы сегодня вечером я мог по крайней мере немного послушать Вагнера!» Еще раз благодарю вас, сударь; в «тяжелые минуты» вы влили в меня душевные силы и призвали к возвышенному…

Шарль Бодлер

P. S. Я не прилагаю своего адреса, чтобы вы не подумали, что я хочу о чем-то вас просить».

Унижение, резкие выпады против Франции со стороны коленопреклоненного великого француза – это уж слишком! Выразим удивление и сожаление. Вдохновенный поэт Бодлер –

большой мастер преувеличения.

Чтобы закончить разговор о взаимных чувствах Вагнера и Берлиоза, приведем здесь еще один факт:

«Как-то Вагнер дал партитуру «Ромео и Джульетты» молодому музыканту, ставшему одним из самых блестящих дирижеров Байрейта и Германской империи, – Феликсу Мотлю. И поскольку музыкант позволил себе критику, Вагнер пришел в страшный гнев и закричал своему ученику, что тот не имеет права так говорить: «Если гений такой величины что-нибудь создал, – объявил он, – то остается лишь это принять, не спрашивая, как и почему».

Не правда ли, в тот день Берлиоз действительно был отмщен?»[179] Однако нужно уточнить, что тогда Берлиоз не был более соперником: уже несколько лет он лежал в могиле. Далеко ушло время, когда Вагнер написал одному из своих друзей: «Успех моих опер был тошнотворным для Берлиоза. Вот несчастный человек».

II

«Троянцы» все ждали и ждали… А зловещая смерть продолжала делать свое дело.

О подлая, почему ты так неистовствуешь? Взгляни, Гектор одурачен Оперой, он страдает от жестоких болей в желудке; ничто не веселит, ничто не светит ему в той жалкой жизни, какую он влачит. Уйди же, удались!

Увы, упрямая смерть не желала ни уступить, ни дать отсрочку и

13 июня

в пятницу решила совершить новое злодеяние.

Гектор и Мария были в гостях у друзей в Сен-Жермен-ан-Ле. Весна уже излила пьянящие ароматы. Занималось лето, вея очарованием. Радостная Мария строила планы на будущее, между тем как скрытая от нашего взора смерть рыскала вокруг нее, ухмыляясь и скаля зубы.

– После наших «Троянцев», – говорила Мария, – мы сможем, наконец… – И у нее возникали тысячи проектов подобных коралловым замкам на острове грез.

Сорокавосьмилетняя Мария, в расцвете сил – какая это лакомая добыча для гнусной смерти, да еще в тот самый момент, когда жертва дерзко распоряжается будущим, хотя ей не принадлежит даже настоящее. Смерть присматривается к ней в последний раз, а затем, взмахнув косой, стремительно настигает.

И вот Мария испускает слабый стон и бессильно опускается. Что такое? Легкое недомогание, не правда ли? Нет, она мертва! Как? Так быстро, так неожиданно? Значит, смерть так близка, так близка от жизни? Увы, это так!

А люди объяснили: сердечный приступ[180].

Гектор оплакивал Марию сдержанно. Когда ушла из жизни Гэрриет, его сердце кровоточило больше. Одна долго отвергала его, другая уступила немедленно. С одной его путь сошелся в пошлой земной жизни, другую он повстречал в Шекспире. Представая то Джульеттой, то Офелией, она разжигала в нем романтизм.

Теперь Гектор еще более одинок. Он решил по-прежнему жить со своей тещей в квартире, хранившей память о покойной. Туда-то и приехал его сын, чтобы с трогательной нежностью утешить отца в утрате этой женщины, вытеснившей его собственную мать.

Теперь у Гектора на свете осталось лишь одно близкое существо – горячо любимый сын. И подчас страшная мысль пронзала его мозг: «Соблаговолит ли безжалостная смерть сохранить его мне?.. Он так юн, а я так болен и состарился раньше времени!» Оставить тебе его? Но разве есть у смерти сердце?

А «Троянцы» все ждали и ждали…

Продом писал:

«В том 1861 году в Страсбурге после исполнения «Детства Христа» при открытии моста через Рейн в честь композитора была устроена грандиозная международная манифестация. На площади Клебер был построен зал более чем на восемь тысяч мест. В манифестации участвовали артисты из Кольмара, Мюлуза, Бадена, Карлсруэ, Штутгарта. Сочинение французского мастера было принято восторженными возгласами и повторяющимися выкриками: «Да здравствует Берлиоз!» Его пригласили в Кель; приветствовать Гектора туда приехал баденский военный оркестр, а в немецких фортах в его честь были произведены пушечные салюты».

1862

I

Гектор, для которого отныне весь мир был сосредоточен в сыне, писал Луи:

«Как бы мне хотелось, чтобы тебе удалось приехать повидаться со мной в Баден 6 или 7 августа; я уверен, что тебе

тоже доставило бы большое удовольствие присутствовать на последних репетициях и первом исполнении моей оперы. Во всяком случае, в перерывах между моими неотложными делами ты был бы моим спутником; я представил бы тебя моим друзьям, словом, я был бы с тобой»[181].

9 августа в Бадене состоялась премьера оперы «Беатриче и Бенедикт». Исключительный успех! Да и что удивительного? За границей, где не свирепствовала ненависть и не было предубеждений, маэстро знал лишь радости и триумфы.

Но, увы, это замечательное произведение ему так никогда и не довелось услышать в Париже, где он охотно бы отдал его на суд злобной критике, которую все еще надеялся обезоружить.

Пока же самым большим его огорчением было отсутствие Амелии.

Но кто такая Амелия?

А вот кто. В мучительной потребности любить и быть любимым он искал в ту минуту сострадательную душу, которой его одинокое сердце могло бы выплакать свою боль. Тогда-то и возникла Амелия – его утешительница.

Как родилась эта идиллия, по существу – цветок, распустившийся под могильной сенью? Точно не известно, история умалчивает об этой страсти старика. История лишь поясняет, что Амелия дышала молодостью и красотой. И, однако, ее большие темные глаза едва уловимо отражали некую тягу к неземному.

Гектор щадил ее молодость; от своей новой избранницы он требовал лишь искренней теплоты и нежного сострадания.

Мог ли он ожидать большего? Конечно, нет!

«В нем нет больше жизни, это призрак, да и то распадающийся. Странный нос с горбинкой, словно орлиный клюв, так заострился, скрючился и уподобился пергаменту, что стал совсем прозрачным; на землистое, свинцовое лицо словно бы упал кровавый, фосфоресцирующий свет.

Его странная голова ничем более не походит на человеческую. Скорее она напоминает какую-то ночную птицу. И когда видишь копну этих густых, нечесаных волос, скорее полинялых и желтых, нежели белых, так и представляешь себе какую-то высохшую, сморщенную старуху с гримасой колдуньи, взывающей к смерти, с желчным, мертвенным лицом ведьмы на шабаше в «Макбете». Нет, в этой маске не осталось ничего человеческого, кроме упорного измученного взгляда, омытого внутренними слезами и полного горечи, ничего, кроме разве что нервно сжатого в безмерном презрении рта, кроме тех несчастных губ, что упорно сомкнуты и, кажется, вот-вот задрожат от

нескончаемых потоков слишком долго сдерживаемых рыданий»[182].

Гектор, подчеркиваем, был само приличие и мудрость. Однако при встречах с Амелией, говоря или думая о ней, он сетовал на свою старость.

Представив себя на несколько месяцев еще более старым, чтобы еще больше страдать, он поведал Легуве о своей любви к Амелии и о нависшей над ним горькой, печальной ночи.

– …Однако на что же жаловаться? – ответил ему Легуве. – Она красива, молода, она вас любит…

– Да мне-то ведь шестьдесят! – вскричал Берлиоз.

– Не все ли равно, если она видит в вас тридцатилетнего!

– Но взгляните на меня! Посмотрите на эти впалые щеки, седые волосы, лоб в морщинах… Иногда я без всякой видимой причины бросаюсь в кресло и начинаю рыдать. И все оттого, что меня осаждает та же страшная мысль. Она догадывается!.. И тогда с ангельской нежностью прижимает к сердцу мою голову, и я чувствую, как ее слезы льются на мою шею.

– И все же, несмотря на это, у меня в мозгу постоянно звучат ужасные слова: «Мне шестьдесят лет!»

Едва увидевшись, Гектор и Амелия поняли друг друга и ощутили душевную близость.

Как бывал он взволнован, ожидая Амелию! Вот его рассказ:

«…Вы приходите за полчаса в комнату, выходящую окнами на улицу, запираетесь в ней… Разводите огонь… Стрелки часов едва движутся, кажется, будто маятник замедлил ход. Раз десять большими шагами обходите комнату. Наконец подходит назначенное время. Она идет, вот-вот позвонит… Сейчас покажется в дверях.

Но нет, она не пришла. Еще шестнадцать-восемнадцать раз мерите шагами печальную комнату, обходите ее кругом, из угла в угол, от стенки к стенке. Смотрите на свои часы; они спешат против стенных… Наливаете стакан воды, открываете окно, вглядываетесь в даль… Ничего, никого… Теперь пошел дождь. Вот, вот в чем причина!..

…Стук кареты?.. Грудь стонет и дрожит, словно колокольня собора при звоне большого колокола. Карета проезжает мимо. Проклятие! Долгая тишина. Взгляд падает на горсть булавок на камине; убиваете время тем, что втыкаете их в подушечку для булавок. Закончив, вновь начинаете вашу прогулку, словно лев в клетке, когда замечаете еще одну булавку на ковре. Вы подбираете ее, втыкаете рядом с другими, произнося: «Она могла поранить мне колено».

…И снова тишина. Никто не приходит…»

Как же угас этот огонь? Гектор понял – мы хотим в это верить, – что своей исхудалой рукой, схожей ныне с лапой паука, он не должен сорвать ослепительную розу – нежную и прекрасную. Он понял, пересилил себя и мужественно страдал. После нескольких месяцев разлуки он увидел однажды в ложе театра свою нежную возлюбленную, отозвавшуюся на его горести, свою чистую подругу, светлые воспоминания о которой он старался погасить.

Овладев собой, он едва заметно кивнул кроткой Амелии. Взволнованная Амелия ответила, и на том все было кончено.

Больше они никогда не видели друг друга.

II

Его неотвязно преследовала мысль:

«Меня ожидает смерть; ей не терпится завладеть мной. Однако ради моей души, если душа моя не умрет, я хочу унести в могилу память о новых, последних победах. Я хочу убедиться, что мое земное бытие не было сплошной неудачей. Но где одерживать, где торжествовать победу?

Увы, не у себя на родине, где лютуют, словно бич, бесстыдные писаки Жувен и Скюдо.

За триумфом и успокоением я вновь обращусь к Германии».

III

Во время нового путешествия Гектор, словно герой чудесной легенды, пребывал среди почестей и фимиама, какими в античном Риме был окружен увенчанный лаврами победитель в день своего триумфа. Ему не так важны были овации, как понимание, укреплявшее его, веру в свое бессмертие. Вот главные картины большой феерии:

Веймар.

Здесь он пребывал в одиночестве, потому что никто не поехал с ним, а Лист со своей возлюбленной княгиней обосновался в Риме. Ференц много любил в своей бурной жизни и кончил тем, что ушел в религию.

Этот необыкновенный артист, иногда взбалмошный, всегда гениальный, принявший от эрцгерцога должность? руководителя капеллы, внезапно бежал из Веймара, чтобы пасть на колени перед папой. А затем, посвященный в духовный сан и принятый в монашеский орден, аббат Лист помышлял лишь о боге.

Какой прием ждет Гектора в Веймаре?

После спектакля Берлиоза позвали в герцогскую ложу, где ему принесли горячие поздравления эрцгерцог, эрцгерцогиня и ее величество прусская королева, находившаяся здесь с частным визитом. Во дворце был устроен прием, куда Гектору ценой тяжелых усилий удалось дотащиться, несмотря на жар и боли. Музыканты организовали в его честь банкет.

Эрцгерцог попросил Гектора на специальном вечере во дворце лично прочитать либретто «Троянцев».

Левенберг, у герцога Гогенцоллерна.

После адажио из «Ромео и Джульетты», пока руководитель капеллы Зейфриц восхищенно повторял Гектору: «Ах, сударь, когда мы слышим эту вещь, то всегда обливаемся слезами», камергер герцога поднялся на сцену и перед взволнованной публикой приколол на грудь композитору орден Гогенцоллерна. На другой день в честь Гектора был дан большой обед и вслед за тем бал. И самая большая честь: в память об этом великолепном вечере герцог велел повесить в концертном зале портрет Берлиоза, увенчанного лавровым венком.

Накануне отъезда по желанию правителя маэстро прочитал в гостиной, прилегающей к комнате герцога, либретто «Троянцев».

Лежа в постели, через открытые двери, соединяющие две комнаты, герцог мог слышать чтение. Его последняя встреча с Гектором была очень сердечной. Он взял с композитора обещание вскоре вновь посетить Левенберг и, обняв его, произнес: «Прощайте, мой дорогой Берлиоз, вы едете в Париж, вы найдете там любящих вас соотечественников. Так вот, передайте им, что я люблю их за то, что они любят вас…»

Как горд Гектор, как радостно он взволнован!

И вместе с тем какая сердечная рана:

«Не мой повелитель, не французский император, – говорил он себе, – удостоил меня своим объятием».

И он подумал:

«Любящие вас соотечественники…» – сказал герцог. Добросердечный монарх, судя о них так хорошо, судил о них так превратно».

Наконец, возвращение в Париж, иная обстановка, снова борьба.

А с «Троянцами» все то же – ровно ничего!

IV

Излюбленным местом прогулок Гектора стало теперь кладбище. Там, среди белых надгробий и печальных кипарисов, он бродил и грезил наяву.

В час заката при скорбных вздохах ветра, когда летучая мышь зловеще задевала его своим отвратительным крылом, ему казалось, будто он ощущает прикосновение крыла смерти. Тогда, охваченный болезненными думами, он поднимал мысленно могильные плиты и видел их всех, братьев по приближающейся вечности, счастливых от встречи с живым человеком. «Но кто, кто позаботится о моем прахе, когда пробьет мой неотвратимый час? – спрашивал он себя. – Все мои близкие ушли из жизни. Мне остался лишь один дорогой Луи, но и тот в вечных скитаниях по разгневанным морям».

В его душе неотступно звучали стихи Бодлера:
Усопших ждет в земле так много горьких бед;
Когда вздохнет октябрь, деревья обрывая
И между мраморов уныло завывая,
О, как завидуют тогда живым они –
Их ложу теплому и ласкам простыни!
Их мысли черные грызут, их сон тревожа;
Никто с усопшими не разделяет ложа;
Скелеты мерзлые, объедки червяков
Лишь чуют мокрый снег и шествие веков;
Не посетит никто их тихие могилы,
Никто не уберет решетки их унылой[183].

Затем, присев возле какой-нибудь могилы, он погружался в сокровенные мысли.

И наконец, возобновлял свой долгий путь под зловещими лучами бледной луны, страдая от чтения надгробных надписей, потому что во всех этих волнующих прощаниях ему виделись еще обливающиеся кровью убитые сердца. Но завтра жизнь, прогнав скорбь, одолеет смерть.

Однажды ночью во время такой прогулки его взгляд внезапно выразил ужас, а к горлу подступил комок. Гектор не поверил своим глазам. На новой мраморной плите он прочитал:

«Здесь покоится Амелия…
безжалостно унесенная жестокой судьбой
на 26-м году жизни».

Имя, фамилия, возраст – сомнений быть не может. Это она, она – скромная, чистая, невинная. Несчастная Амелия, которую алчная смерть коснулась уже в тот вечер, в театре[184].

Боль и ужас смешались в Гекторе, и он со стоном рухнул на соседнюю могилу, около аллегорического памятника –

обессилевший юноша, чье сердце пожирал гриф, протягивал к небу кулак, грозя мщением.

А он, должен ли он тоже проклинать небо? Смутная мысль о боге, которого он некогда славил, пришла в тот миг ему на ум, и кулак его разжался.

«Ушла еще одна! Я приношу несчастье всем, к кому приближаюсь. О мое бедное дитя, о мой Луи, хоть бы ты по крайней мере уберегся от опасностей!»

Дни, последовавшие за этим мрачным открытием, он провел в постели, мучась от болей в желудке, которые не мог снять даже опий. От своей тещи, превратившейся в сиделку, он требовал тишины, монастырской тишины, чтобы слышать свои слова и чувствовать свои страдания. Он мог выносить присутствие лишь великолепного ньюфаундленда, которого ему оставил на время один из друзей.

Умный пес подходил к кровати маэстро, сочувственно терся о нее мордой, а Гектор, делая невероятное усилие, нежно ласкал его и шептал: «Боже мой, какие у него любящие глаза!»

1863

Гектору шестьдесят лет.

Наконец исполнены «Троянцы», которым, увы, суждено было стать его последним сочинением.

Гектор устал ждать Оперу, которая его дурачила и над ним потешалась. Ему удалось договориться с директором Лирического театра Карвальо.

Начиная с 1858 года, когда это фундаментальное произведение было окончено, он, не жалея сил, настаивал:

«Троянцы» должны быть исполнены… Так надо, во что бы то ни стало, вопреки всему!»

И он своего добился. Правда, какие это были «Троянцы». Жалкие остатки!

«От автора, для которого каждый такт и каждая нота имели свою историю, свой смысл, свое обоснование, потребовали сокращений, переделок, всякого рода исправлений. Либретто, музыка, ремарки – все было переиначено. Почему в руках рапсода четырехструнная лира? Она вызовет смех, пусть ее уберут. А это неупотребительное слово, оно вызовет смех, нужно убрать. Смотрите, чтобы Эней не вышел на сцену в шлеме! – Но почему? – Да потому, что один всем известный торговец с бульваров тоже носит шлем, и публика будет смеяться; надо его снять. А Меркурий со своими крыльями на пятках и на голове… Все будут просто держаться за бока; его надо упразднить. Так, день за днем

уродовали произведение, которое Гектор целые годы шлифовал, обдумывая самые мелкие детали с чувством, сравнимым лишь с его любовью к Дидоне и Кассандре»[185].

Из пяти актов пожертвовали двумя. Действие, происходящее в Трое, а именно прекрасно написанное взятие города, исчезло, а потом были безжалостно искромсаны три остальных акта.

После совершения этого злодеяния начались репетиции.

Однако он не был Вагнером и не имел права на 64 репетиции.

И все же «Троянцы», навеянные великим Вергилием, понемногу вырисовывались: спящий лагерь греков; прорицательница Кассандра; гигантский деревянный конь, впущенный в город; Андромаха и ее сын Астианакс; Эней, Приам, Гекуба; тень Гектора, объявляющего о падении Трои и призывающего побежденных бежать в Италию; безмерная гомеровская трагедия разрушения Илиона и бегства в Карфаген. Эней высаживается на берег в цветущем городе Дидоны и, став возлюбленным царицы, целиком отдается страсти. Затем, овладев собой, Эней уводит свой флот, чтобы основать Рим. Царственная влюбленная в отчаянии убивает себя. На горизонте, как видение грядущего, вырисовывается Капитолий.

13 сентября в Лирическом театре с шумом провалилась опера Жоржа Бизе[186] «Искатели жемчуга». Поэтому театр неохотно пошел на постановку новой оперы. Гектор же не отступает ни перед какими жертвами, когда под угрозой его искусство, – он дополнительно нанимает музыкантов и платит им из собственного кармана.

4 ноября

В этот день состоялась премьера оперы с очень сильным составом исполнителей во главе с госпожой Шартон-Демер – великолепной Дидоной, и Монжозом в роли Энея, обладавшим сильным голосом. Успех был большим, почти единодушным. Враждебность выказали разве что Скюдо и Жувен.

Официальные лица не удостоили почтить своим присутствием хотя бы один спектакль: ни император, ни императрица, ни министры – никто. Казалось, строгий наказ предписывал бойкотировать Гектора Берлиоза, которого ценили и почитали только чужеземные властители.

Карьера «Троянцев» была, увы, недолговечной: сборы не были полными и непрерывно снижались, не оправдывая расходов (1700, 1600, 1300 франков), так как публика продолжала игнорировать оперу и зал оставался полупустым. Пришлось смириться и прекратить разорительные расходы. 20 декабря состоялся последний, двадцать первый спектакль, и эта чудесная

жемчужина у себя на родине навсегда исчезла в ночи и забвении, тогда как заграница готовилась отомстить за нее.

Но как объяснить упорную враждебность «города-светоча», слывшего зубоскалом, но, в сущности, великодушного? И верно, газеты не могли не похвалить произведение. Даже обычно резкий и недоброжелательный к Гектору Феликс Клеман выступил с явно хвалебным отзывом.

«Враги, с своей стороны, были вынуждены частично отказаться от своих предубеждений. Воспроизведение на сцене эпизодов из «Энеиды», послуживших канвой для оперы, было сложным и смелым предприятием; нужно было много вкуса, чтобы не исказить характеров персонажей, запечатленных в памяти зрителей со школьной скамьи. Господин Берлиоз с блеском преодолел эти препятствия, и уже одно это – его немалая заслуга. Мы не знаем других музыкантов, способных совершить подобное»[187].

Писали и так:

«С ума все посходили, что ли? Куда смотрит полиция?

Сей жалкий старик Гектор Берлиоз добился своего.

Лирический театр представил публике постановку оперы «Троянцы в Карфагене».

«Троянцы»! Слова и шумовое оформление г. Берлиоза, члена Института.

Член Института – пусть будет так! Но какой член?

Господин Берлиоз сам назвал пролог к своему зловещему фарсу:

«Инструментальный плач».

Мне мила эта благородная откровенность, но она никак не искупает его вины.

Напомним, что в прошлом году в Бадене г. Берлиоз сам дирижировал оркестром на премьере «Леонче (sic)[188] и Бенедикт» – двухактной оперы, лучшее назначение которой – забивать скот на бойнях.

Когда уснувшая публика случайно пробуждалась вдруг от громкого голоса, когда какой-нибудь бессовестный человек, желая засвидетельствовать свое рвение перед администрацией, лениво хлопал в ладоши, г. Берлиоз важно поворачивался и кланялся.

Если «что-то и может извинить этого человека, так это то удовольствие, какое он, видимо, испытывает от исполнения своей адской музыки.

…Любой ученик четвертого класса этампского лицея, оставленный в наказание на час после уроков, сочинил бы драму получше, чем г. Берлиоз».

Это плоско, ограниченно, глупо и грубо.

Если человек осмеливается поставить свое имя под подобной стряпней, прочитал ли он, спрашивается, когда-нибудь хотя бы страницу из Расина или десяток стихов Корнеля.

«…Господин Гектор Берлиоз, в течение пятнадцати лет крушивший музыкантов, сумел, наконец, сокрушить саму музыку.

Целых пятнадцать лет[189] он выдерживал своих «Троянцев» с собственными словами и музыкой, декорациями и рекламными афишами. Наконец мы услыхали сей шедевр.

Париж отныне может быть спокоен, он свободно дышит после ужасов в течение пятнадцати лет, когда обыватели время от времени говорили своим прислугам:

– Закройте как следует все окна: на сегодняшний вечер объявлены «Троянцы» господина Берлиоза.

Следует пожалеть несчастного г. Карвальо, которому эта маленькая шутка обойдется в сотню тысяч франков.

Он произвел затраты; каски у статистов великолепны, их щиты блестят куда сильнее, чем блещет вежливостью привратник в прихожей перед директорским кабинетом.

Почему г. Берлиоз не дирижировал сам своим оркестром?

Получился бы великолепный спектакль.

Этот музыкант столь же тощ, как его дирижерская палочка, и никогда толком не известно, кто же из них двоих дирижирует.

Шум на площади Шателе продолжается, беспокоя обитателей обоих берегов Сены.

Узники Дома заключения префектуры потревожены в их сладких снах и просят как милости о переводе в Маза![190] Нам говорят:

– Хватит! Оставьте теперь Берлиоза в покое! Пусть будет так! Но сначала пускай он оставит в покое нас.

Начало положено! В дело вовлечен весь Париж! Вечером в четверг в фойе один господин сказал своему другу:

– Берлиоз напоминает мне Антони[191].

– Чем же?

– А тем. Музыка не давалась ему… и он ее убил!»

«Кроме того, – сообщал Продом, – «Троянцам» была посвящена брошюра Туанана. На обложке изображены черная рамка и три слезы. Она носила название: «Опера о троянцах на кладбище Пер-Лашез. Письмо покойного Нанто, экс-литаврщика, солиста, бывшего члена общества любителей древнеримских труб и других ученых обществ» (Париж, «Тоун», 1863)». Это своего рода диалог мертвецов, где Туанан выводит в «Роще музыкантов» на Пер-Лашез души умерших композиторов; после убедительной речи Керубини покойные композиторы единогласно (при одном,

Лесюэре, против) решили отказать автору «Троянцев» в погребении и сжечь партитуру этой оперы».

Так, Туанан, приписав им ненависть к Берлиозу, решился на столь зловещий, отвратительный фарс: Гектор и после смерти не сможет обрести покой в земле. Человеческая ненависть иссякает перед лицом смерти, но не для Гектора.

Вы, господин Туанан, действительно отвратительная личность!

Подведем итог. Никогда еще поток ненависти не бушевал с такой силой. Прием, оказанный Гектору публикой в Германии, Англии, России, и эхо пушечных салютов, произведенных за границей во славу гениального композитора, не в силах были обуздать ярость врагов[192].

1864

I

Какое счастье: на премьеру «Троянцев» приехал Луи, и у старого сироты Гектора, постоянно тоскующего по нежности, внезапно стало светлей на душе, его сердце радостно трепетало! Ему показалось, что он, тонущий, держит якорь спасения. Для Гектора то был миг отрешения от жестокого одиночества и тяжких мучений. Во время короткого пребывания молодого моряка в Париже отец и сын были неразлучны. Они проводили часы в беседах, вместе гуляли, вместе занимались делами. Когда боли удерживали Гектора в постели, он поручал свои дела сыну. Тогда Луи отправлялся в театр; он проверял выручку, выяснял мнения дружественных критиков, – увы, столь малочисленных, – а затем давал доброму отцу подробный отчет, который умел ловко, с истинно сыновней любовью подправить. Какая радость для старого любящего отца возродиться в собственном сыне – точной копии его самого!

Увы, Луи вновь должен был уехать – его звало море. Будь Гектор здоров, он непременно последовал бы за любимым сыном, к стихии разгневанных волн под зловещей луной, в грандиозном концерте сотрясающих вселенную. Но как в таком возрасте бросить вызов грозному океану?

– Скоро я вновь приеду к тебе, отец, – нежно сказал Луи.

– Ты обещаешь, сынок?

– Да, отец.

А как пожелает судьба? Лишь ей дано решать.

На что употребит себя теперь Гектор? Он оставил отдел

музыкального фельетона в «Деба»[193].

Чем занять ему свои мысли и время? Кому и чему посвятить их? Трагедия угасающей жизни влекла его на кладбище, расположенное неподалеку от дома, там он проводил долгие часы.

Однажды он пришел туда на церемонию, вызвавшую у него скорбь и ужас. Какое страшное зрелище! Какой великий укор тщеславию, какой урок, преподанный самим богом гордыне людей, допущенных им на землю на отведенный для жизни срок! Офелия лишь на короткие десять лет обрела покой в земле. Гектор, не имея денег, не смог тогда сделать большего. Короткий срок аренды участка подходил к концу.

И 3 февраля на небольшом кладбище Сен-Венсан среди заснеженных кипарисов, под небом, роняющим тяжелые ледяные слезы, пришлось эксгумировать несчастную Офелию, прервав ее тяжко заработанный отдых. Под страхом «выселения», словно живую; борьба подчас не кончается на этом свете.

Вскрывают землю, нарушая ее безмолвие. Постукивания заступа отдаются в истерзанном сердце несчастного Гектора. Это ли не ужас?

Вот уже яма широко зияет.

Рабочие, привычные к смерти и не питающие почтения к ее суровому величию, ловко спрыгивают на крышку гроба. Гектор едва сдерживается, чтобы не вскрикнуть:

«Тише, пожалуйста, вы разбудите эту великую страдалицу, обойденную счастьем!»

Подошли страшные мгновения.

Прогнивший гроб поднимают, наконец, из ямы.

Гектор собирается с силами, чтобы выдержать последнее свидание. Вот поднимают крышку, и появляется Офелия…

Едва различимый среди крупных складок широкого черного плаща скорбный, дрожащий старик наклоняется вперед, будто хочет занять освободившееся в земле место. Не призрак ли это? Нет, это Гектор.

Таинственный, глухой голос прошептал ему на ухо:

«Отвернись, Гектор, твое сердце еще сильней будет обливаться кровью. Сохрани в памяти образ той замечательной актрисы, что зажигала шекспировскими словами с театральной сцены безудержный огонь восторга».

Так вот она, дивная Офелия, – груда пожелтевших костей. Гектор глядит на нее – в глубоком раздумье: «Ах, как близки смерть и жизнь! Тонкая доска, несколько лопат земли – вот что разделяет нас навечно. И это все, что остается от нас, когда отлетает душа?»

Могильщики, равнодушные автоматы, хватали одну за одной кости, словно бы собирали разложенные карты. Берцовая кость, бедренная кость, тонкие кости пальцев рук и, наконец, череп – средоточие, хранилище ее ума, искусства и доброты.

Но где же губы, о которых мечтали мои губы?

Где же глаза, которые вызывали огонь в моих глазах?

– Сжальтесь, что вы делаете со священными останками? – внезапно ужаснувшись, вскричал Гектор.

– Мужайтесь, господин Берлиоз! Это необходимо.

Когда показался череп, Гектор похолодевшими руками закрыл глаза, чтобы его не видеть. Между дрожащими пальцами пробивались и скользили по пергаментным щекам крупные слезы. Тогда к нему подошел церковный сторож.

– Идите, господин Берлиоз, – попросил он. – дроги трогаются.

И верно, могильщики закончили свою зловещую работу.

Дроги представляли собой жалкий, нескладный катафалк; Гектор последовал за ним, весь уйдя в глубокое раздумье.

Однако куда же он направляется?

На кладбище Монмартр. Прах Офелии будет пребывать отныне здесь, в той же могиле, где покоятся останки Марии, ее соперницы, восторжествовавшей над ней при жизни.

Гектор считает, что ненависть, зависть, обиды стихают на небесах, где царят покой и дружелюбие.

«Я знаю, – думает он, – Офелия скажет Марии, что прощает ее и не помнит зла».

На миг он отвлекается и думает с долгим вздохом: «Увы, когда приходит старость, скольких нет на поверке; тащишь с собой целое кладбище».

И когда опустился вечер, жалобный ветер, скользя по ветвям призрачных кипарисов, продрогших в объявших мир сумерках, рыдал вместе с Гектором.

II

2 мая

Смерть всегда, смерть повсюду!

Она стучится и стучится, то в его сердце, когда косит близких, то в мозг, когда обезглавливает великих.

Вот она повергла Мейербера! От боли содрогнулся весь Париж.

Что же это был за человек?

Властелин в музыке, деспотично царивший во всех европейских театрах. Его мелодии покорили мир. Его любили провозглашать «гениальным драматическим композитором,

прославляющим страсти».

По правде говоря, Гектор отнюдь не пылал к нему нежной дружбой, не сгорал от безумного восторга. И, однако, его надолго охватило оцепенение. Потому что смерть великого человека всегда исполнена величия. Трудно постигнуть разумом смерть гиганта, занимавшего такое большое место в театрах, оттого, что огромна пустота, оставленная его исчезновением. Но человечество быстро заполняет пробелы: нет необходимых, нет незаменимых.

В час, когда Мейербер умер, повсюду говорили только о нем одном. Печать единодушно оплакивала его:

«Только что угасло одно из великих светил, озарявших столетие»[194].

Похоронную колесницу, запряженную шестью облаченными в траур лошадьми, на всем пути через скорбный, потрясенный город эскортировали солдаты Национальной гвардии и императорский оркестр. Елисейские поля, бульвары, бульвары… Уж не бог ли там, под этим траурным покровом, не бог ли, который, обозревая мир, внезапно испустил дух на земле? Наконец, Северный вокзал, откуда уходили тогда поезда в Германию. Там, в центральном зале, обитом крепом, под черной тканью высился огромный катафалк.

У гроба стали в ряд, почтительно застыв, министры, послы, самые знатные официальные лица, между тем как оркестр самой Оперы аккомпанировал хорам, которые словно бы рыдали, исполняя религиозные сцены из «Пророка» и «Гугенотов». Затем последовало множество прочувствованных речей, прославлявших гений усопшего и выражавших людское горе.

Наконец вагон-катафалк, весь в траурном убранстве, бесшумно отходит. От города к городу на всем пути до самого Берлина его сопровождали почести.

Повсюду толпа в великом волнении падала ниц перед священным таинством смерти, перед лицом которой самые великие беспредельно ничтожны.

Газеты продолжали выходить в траурных рамках. Даже его враги – дано ли кому наслаждаться всеобщим признанием? – присоединились к общей массе. Напрашивается такая мысль: утонул человек; те, что остались на берегу, больше его не боятся и силятся забыть свою враждебность к нему, горячо его восхваляя.

В те дни писали: «Россини сложил с себя сан, Галеви навсегда ушел, Мейербер умер, не оставив преемника… Музыкальное искусство осталось без властителя».

III

Итак, музыкальный мир осиротел.

Осиротел? Так, значит, я уже мертв? Нет, я умираю, но все же еще жив! Знаю, что я не в счет! – воскликнул Гектор, которого лихорадило в постели. Он пребывал в горестном раздумье: изгнан за преступление, состоящее в смелом новаторстве, за поиски сильных чувств. – Подлые кампании против меня… Парижские пустышки, этакие ослицы, объятые снобизмом, разыгрывали перед Амбруазом Тома (как некогда и перед Вольтером) внезапные обмороки, а при виде его, Гектора, иронически улыбались…

А ведь он всю свою жизнь мечтал завоевать публику, как сделал это немец Мейербер, царивший в мире и похитивший у него, Гектора, родную Францию. Тот Мейербер, чью память прославляли ныне в торжественной и благоговейной скорби.

Когда же умрет он, в газетах появится, конечно, лишь маленькая заметка, сухая хроника наподобие полицейского протокола, которую люди прочтут с полным безразличием, смакуя свой кофе или слушая легкий вальс.

Когда он умрет… когда он умрет!

«Но когда подойдет моя очередь? – спрашивал он себя. – Я странным образом уцелел при всеистребляющем наступлении на композиторов. Смерть ненасытна. После Керубини – Мендельсон, Шопен, впавший в безумие Шуман и сколько других ушли, прежде чем смерть дождалась истощения их гения.

И новое поколение все толкает и толкает нас к могиле. Рейер, Визе, Вагнер властно требуют своего места под солнцем».

В ту минуту, когда Берлиоз предавался этим мыслям, придворный советник баварского короля Людовика II господин Пфистермайстер явился по поручению монарха за Рихардом Вагнером в скромную штутгартскую гостиницу, где тот скрывался, преследуемый кредиторами, угрожавшими ему тюрьмой. С какой целью? В момент, когда саксонский композитор собирался покончить с собой, король вызвал его, чтобы подарить романтический замок, роскошный театр, спасительную независимость. Словом, возможность волновать и пленять мир.

Ах, как пристрастна судьба! Такая суровая к Гектору и ныне такая милостивая к Вагнеру!

IV

15 августа

Однажды один министр – история не открыла имени этого политика, решившегося наперекор недружелюбному равнодушию на подобный акт героизма, – соизволил заметить, что Гектор

Берлиоз вот уже двадцать девять лет носит лишь простую ленту кавалера ордена Почетного легиона. Было выражено сожаление по поводу долгой забывчивости, и, чтобы загладить несправедливость, великий композитор был возведен в степень офицера. А Россини, который долгие годы ничего не сочинял, почивая на лаврах, получил звание старшего офицера Почетного легиона.

Но пролило ли такое повышение целительный бальзам на душевные раны Гектора? Нет! Он был разочарован; отныне сообщения о новых должностях и дифирамбы в его адрес, если они и попадались случайно ему на глаза, лишь едва затрагивали оскорбленную гордость. Его единственным настойчивым желанием было поразить публику, но публика продолжала его бойкотировать.

К черту пышный банкет! Чтобы отпраздновать событие, маршал Вайян и несколько друзей Гектора собрались на семейный обед, где великий Мериме заявил:

«Если Гектор Берлиоз не получил эту розетку много лет назад, то это лишь подтверждает, что я никогда не был министром».

V

После новой встречи с Луи, вернувшимся из Мексики, встречи, живительной для Гектора, который с каждым днем все больше тянулся к сыну, композитор почувствовал, как никогда, всю бесплодность пустыни, где проходила его жизнь.

«Где обрести мне гавань для отдыха?» – спрашивал он себя.

Он мысленно блуждал в поисках тех благословенных берегов, где мог бы забыться в ярких воспоминаниях былого. Когда приходит старость, то все, что принадлежит нашему прошлому, что связано со свежестью некогда испытанных чувств и ныне смягчено временем, все это предстает окрашенным трогательной поэзией. Сомкнув веки, он жаждал прошлого, которое стирает настоящее. Утоляя памятью о молодости боль своих ран, он видел вновь годы детства и будил в себе далекие, дремлющие воспоминания. Под морщинистой старческой кожей все еще бежала горячая кровь страстного романтика.

И вот он хочет стать молодым, чтобы снова взволнованно билось сердце, чтобы ожила его первая любовь в Мейлане, страсть к Эстелле. Он хранил память о необычайном потрясении своей едва раскрывшейся души и горел желанием воскресить в себе чувства, вызванные Эстеллой. Этот фантазер, этот сказочный рыцарь, желавший достать с неба луну, испытывал, как никогда,

великую жажду любви.

Какое безумие! Эстелле ныне шестьдесят семь лет, и он не видел ее полстолетия. Во что превратилась теперь та прекрасная девушка, что взволновала и покорила его детское сердце? Кто знает, как она его примет? Скоро он все узнает.

И вот в начале сентября он летит навстречу своей новой страсти. Быть может, он любит в Эстелле память о своем страдании, страдании мальчика, в ком пробуждалось чувство, память о молчаливом, смутном волнении.

Он отправляется во Вьенн, к своему шурину Сюа.

– Где Эстелла? Что с ней стало? – обращается он с тревогой в голосе.

– Не знаю.

– Я должен разыскать ее любой ценой.

Сюа пускается в трудные поиски. Наконец сообщает Гектору:

– Эстелла, вдова Фурнье, проживает в Лионе, на проспекте Ноай.

– Я еду туда.

На другое утро в одиннадцать часов он позвонил в дверь Эстеллы и передал для нее письмо:

> «Сударыня,
>
> …Уделите мне несколько минут, позвольте увидеть вас, молю вас…
>
> Гектор Берлиоз».

Вот они наедине, друг перед другом. Вначале миг удивления, затем рассказы о себе.

Эстелла, рано овдовев, потеряла нескольких детей. Оставшихся в живых она воспитала в религиозном духе, В жизни ей был ведом лишь долг. Судьба обрекла ее на горе, однако женщина славила господа и отныне помышляла лишь о покое могилы.

Как непохоже было это смирение и равнодушие к жизни на страсти, сжигавшие влюбленного маэстро!

– Умоляю, дайте мне вашу руку, сударыня, – попросил Гектор.

Она протянула.

Опустив глаза, он поднес эту морщинистую руку к своим губам. И почувствовал, как замирает его сердце.

В тот миг, когда природа постепенно отнимала у него жизнь, эта встреча внезапно дала ему тысячу жизней. О, какой чудак! Он близится к смерти, но любовь в его сердце неистово желает жить[195]. Ему не терпится снова стать преданным рабом Эстеллы.

Возвращение в Париж.

Проследим за странной любовью Гектора по письмам, которыми он обменивался с Эстеллой.

Он:

Париж, 27 сентября.

> «…Даруйте же мне, – но не как сестра милосердия, что ухаживает за больными, а как женщина с благородным сердцем, исцеляющая от невольно причиненной ею боли, – даруйте три вещи, которые одни могут вернуть мне спокойствие: разрешите писать вам иногда, обещайте отвечать на мои письма и дайте слово хотя бы раз в год приглашать меня, чтобы повидать вас…
>
> О сударыня, сударыня! У меня осталась лишь одна цель на этом свете – добиться вашей привязанности. Позвольте мне попытаться ее получить. Я буду покорным и сдержанным. Наша переписка будет не более частой, чем вы того пожелаете, и никогда не станет для вас неприятной обязанностью. Мне достаточно будет нескольких строк, написанных вашей рукой. Мои поездки к вам будут очень редкими, не тревожьтесь…»

Она:

> «Лион, 29 сентября 1864 года
>
> Сударь!
>
> Я чувствовала бы себя виноватой перед вами и самой собой, если бы тотчас же не ответила на ваше письмо и на ваши мечты об отношениях, которые, как вы желаете, установились бы между нами. Я буду говорить с вами, положа руку на сердце. Я лишь старая, очень старая женщина (ведь я, сударь, на десять лет старше вас)[196] с душой, увядшей в тревогах прошлых лет от всякого рода физических и моральных страданий, которые не оставили во мне никаких иллюзий в отношении радостей и чувств на этом свете. Двадцать лет назад я потеряла своего лучшего друга, другого я не искала. Я сохранила друзей, к которым привязана с давних пор, и, разумеется, семейные связи. С того рокового дня, когда я стала вдовой, я порвала свел знакомства, сказала «прости» удовольствиям и развлечениям, чтобы целиком посвятить себя дому и детям. Так прошли двадцать лет моей жизни; теперь это моя привычка, и ничто не может нарушить ее прелести, потому что лишь в такой сердечной близости я могу снискать душевный покой…
>
> Не усматривайте, сударь, в том, что я вам только что

сказала, намерения с моей стороны как-то оскорбить ваши воспоминания обо мне. Я их ценю и тронута их постоянством. Вы еще очень молоды сердцем, а я совсем другая: я действительно стара и гожусь лишь на то, чтобы сохранить для вас, поверьте этому, большое место в моей памяти. Я всегда буду с удовольствием узнавать об успехах, которых вы будете добиваться.

Прощайте, сударь. Вновь повторяю: примите уверение в моих добрых чувствах.

Эст. Ф.».

Он:

«Париж, 2 октября 1864 года Ваше письмо – шедевр печального разума… Я так настойчиво, со слезами прошу одного – возможности получать о вас известия…

Да простит вам бог и ваша совесть. Я же останусь в ночном холоде, куда вы меня ввергли, – страдающим, безутешным и преданным вам до самой смерти.

Гектор Берлиоз».

Затем, после письма Эстеллы, которое, как показалось Гектору, вселяло некоторую надежду, престарелый романтик начал восхвалять жизнь, и какими словами!

«…Да, жизнь прекрасна, но еще прекраснее было бы умереть у ваших ног, положив голову вам на колени, держа ваши руки в моих».

При встречах она всегда вела себя соответственно своему возрасту и положению вдовы; он был неизменно пылким, несмотря на годы, и столь же романтично страдал от новой встречи. «Такого рода страданья мне необходимы. У меня нет иного интереса в жизни», – писал он ей в Женеву, где она поселилась с одним из своих сыновей, который недавно женился.

В последний раз они увиделись в 1867 году, на свадьбе одной из племянниц Гектора.

Гектор был искренен. Этот гениальный, порывистый Дон-Кихот самозабвенно любил Эстеллу, а та, та не понимала подобного пожара чувств.

Предложил ли он в конце концов этой почтенной старушке выйти за него замуж? Может быть, и так. Потому что в одном письме, написанном из Дофине, где Гектор провел несколько дней у своего шурина, он писал, что одного сурового и недовольного взгляда было достаточно, чтобы навсегда выкорчевать ту мысль, которую он даже и не выразил. И добавлял: «Однако то, что в моем сердце затаилось

целомудренное стремление провести с вами остаток моих дней, – не моя вина. Его пробудило опьянение вашим присутствием»,

1865

I

Любовь, смерть, вера – непреложный триптих всякой земной юдоли.

Гектор еще жаждет любви, а между тем уже торопит смерть, и тогда в нем внезапно просыпается дремлющая вера. По существу, больше, чем возлюбленную, Эстеллу, он любил саму любовь, любил за ее романтизм и за ту гамму чувств, которую она пробуждает, И среди причудливых видений приближающейся ночи больше всего он любит мысль о смерти, таящей наслаждение неизведанным и головокружение над пропастью.

Тогда как его пронзает ужасное значение слова «никогда», превыше бога он любит саму идею бога, любит из-за возможности бегства в небесное царство, где несчастные мертвецы, ожив, вновь будут трепетать и опьяняться музыкой.

Иначе говоря, весь он – поэтическая восторженность.

II

Хотя и заполненный до краев Эстеллой, он укреплял в себе скорбь – возвращался на кладбище и задумчиво бродил возле могил Офелии, Марии, Амелии.

То был его вчерашний день… «Но что готовит мне мое завтра?» – печально спрашивал он себя. И пока он взращивал свою мечту в тишине, таинственно звенящей под бледной луной, его губы непрерывно шептали пылкие слова мольбы: «О боже, пощади моего любимого мальчика, моего взрослого сына, который всегда вдали от меня, на краю земли, среди грозных опасностей!»

Он повсюду сопровождал в странствиях своего милого Луи: меж пенящихся валов и в мертвом штиле; среди мандаринов с длинными косами в китайских курильнях опиума, рождающего видения; в американских пампасах, где он скачет в бешеном галопе на дрожащем коне, на коралловых островах, что томно покоятся в лазури волн. Так живописные радужные замки из раковин, в которых еще шумит море. Разве он сам не мечтал о такой разнообразной, волшебной жизни, украшенной ожиданиями, опасностями и неожиданностями?

1866

I

Мрак, в который он погружается, иногда пронзает солнечный блик: какой-нибудь дирижер эксгумирует, словно достопримечательность, страничку из его сочинений. Ее принимают как укор совести.

Так и случилось однажды на концерте дирижера Падлу, где Вагнера и Мейербера, чьи сочинения тоже были включены в программу, неожиданно освистали тогда как септет из «Троянцев», к большому удивлению, самого Берлиоза, был награжден аплодисментами и исполнен дважды. Но не выражала ли публика снисхождения? Потому что в единодушном одобрении публики был, казалось, оттенок жалости и соболезнования. Его заметили в зале (Гектору пришлось заплатить за место, так как ему и не подумали прислать билет); аплодировали, махали платками, кричали: «Да здравствует Берлиоз! Встаньте, вас хотят видеть!» – и композитору пришлось пожимать все протянутые руки, благодарить, а потом писать друзьям об этой странной новости (Лист в это время как раз приехал в Париж на исполнение своей «Гранской мессы» в церкви Сент-Эсташ). Это был первый луч посмертной славы.

Помимо Листа, в зале видели восьмидесятидвухлетнего критика Фетиса, Энгра, который близился к восьмидесяти семи годам и доживал последний месяц своей жизни, верного д'Ортига, умершего спустя несколько дней, и страстного Теофиля Готье.

Удастся ли, наконец, Гектору на пороге могилы покорить французскую публику? Нет. Состоялось восемь исполнений, и на этом все кончилось[197].

Быстро угасшая надежда добиться успеха еще ухудшила физическое состояние Гектора.

«У меня уже почти нет сил оставаться в живых», – писал он. И добавлял: «Я не смею и говорить о жизни, которую веду в большом городе: я постоянно болен настолько, что каждые сутки по восемнадцать часов провожу в постели. Мне крайне тягостно переносить боли, которые, вместо того чтобы уменьшаться, с каждым днем все нарастают».

II

20 ноября

Снова идет, снова стучится смерть. Кто же теперь? Добрый

д'Ортиг – названный брат, внимательный наперсник, задушевный и ревностный советчик, друг в светлые и темные часы, друг в триумфах и друг в несчастьях.

Д'Ортиг прошел сквозь всю жизнь Берлиоза. Преемник Гектора в «Деба», он был свыше тридцати лет постоянной верной тенью Гектора и отчасти его душой. Его непоколебимая вера в гений друга поддерживала и укрепляла последнего в тяжелой каждодневной борьбе, навязанной ему судьбой.

Гектор оплакивал д'Ортига долго и безутешно.

«Вот и еще один ушел!» – думал он, и сердце словно сжимали тиски, а мысли снова обращались к Луи: «Боже, защити мое дитя!» – вновь шептал он, дрожа от страха.

III

Начало декабря

Хотя Гектор и стоял одной ногой в могиле, он согласился все же отправиться в Австрию, в Вену, чтобы дирижировать там своим «Осуждением Фауста». Увы, в один из дней он не смог остаться за дирижерским пультом. Его заменил Гесбек, а ему пришлось немедля вернуться домой и лечь в постель, с которой он только что встал.

И тем не менее 16 декабря он, будто оживший призрак, появился у дирижерского пульта в зале Редут. В оркестре свыше трехсот исполнителей; аудитория в исступлении из-за присутствия этого легендарного старика, этой «гофмановской тени».

Гектор, сражавшийся за признание своего идеала, обольщается и приходит в восторг всякий раз, когда находит подтверждение своей славе. Общение с такой публикой наполнило его ликованием, и он тотчас написал Рейеру:

«Мой дорогой Рейер… огромная аудитория, потрясающий успех: вызовы на сцену, выкрики «бис», слезы, цветы…»

Потом большой банкет, куда он притащился полуживым. Ему казалось, будто произносят хвалебную надгробную речь, когда Гербек закончил свою растроганную здравицу такими словами: «В этом зале, где давал свои концерты Моцарт, я счастлив поднять бокал за здоровье человека, который уже в 1828 году, спустя год после смерти великого гения, чей юбилей мы сегодня отмечаем, сочинил «Фантастическую симфонию», «убившую на месте» музыкантов-обывателей с мутным взглядом и пустой головой! Я пью за здоровье Гектора Берлиоза, который вот уже скоро полвека бьется с жизненными невзгодами и несчастьями, я пью за процветание таланта Гектора Берлиоза!»

1867

Год всемирной выставки.

I

Январь

На исходе жизни Гектор все еще осмеливается вступать в борьбу. Неважно, что скоро он испустит последний вздох! Вопреки всему он желает продолжать бой. Силы его чувств еще не исчерпаны.

Но не во Франции. Нет, за пределами своей родины, там, где сердца взволнованно бьются в унисон с его собственным.

Кельн. Вновь победы.

Перед отъездом новая тень пала на его и без того сумрачную жизнь. Угас Энгр – страстный проповедник красоты. Гектор любил его как человека, как мастера и как страстного поклонника Глюка.

И когда великий старец, чья доброта вошла в поговорку, произнес жестокую фразу: «Музыка Россини – это музыка нечестного человека», Гектору показалось, будто он сам сказал это – без злобы, но трезво. Энгр, как и Гектор, постоянно боролся. Его отец, обладавший разносторонними знаниями, был большим знатоком скульптуры, архитектуры, музыки и живописи. Он преподал своему сыну начатки двух последних искусств. Замечательно одаренный ученик быстро удивил учителя; силой выразительности и необычайной жизненностью своих полотен он достиг совершенства.

Гектор Берлиоз горячо восторгался им еще и потому, что Франция долго игнорировала художника, тогда как за границей его талант признавали и славили, как было и с Гектором. О Франция, милая и слепая родина! Энгр вынужден был даже обосноваться во Флоренции. Но, обогатив Италию замечательными картинами, о которых говорили во всем мире, он был в конце концов справедливо вознагражден. Родина соблаговолила, наконец, заметить его необычайную роль в искусстве. Она призвала Энгра, и тогда художник мог наслаждаться во Франции сиянием своей славы.

Ожидает ли Гектора, хотя бы на пороге смерти, подобное же вознаграждение? Увидим.

«С Энгром, – писал в «Мониторе» Теофиль Готье, – исчез последний мастер в том высоком смысле, какой придавали некогда этому слову. Великое искусство завершило свой цикл, и никто, даже тайно преувеличивая собственную славу, не смеет

льстить себя надеждой занять место, освобожденное знаменитым старцем. Великое искусство он уносит с собой».

II

Новое огорчение для Гектора. Гуно, уже «узурпировавший» у него «Фауста», ставит теперь «Ромео и Джульетту». «Ромео и Джульетта» делает сборы в Лирическом театре. Произведение Гектора в былое время, увы, не имело успеха.

III

В апреле распахнулись двери к феерическим зрелищам Всемирной выставки.

И каждый день какой-нибудь новый праздник затмевал своим блеском или оригинальностью предыдущий.

Гектор, член Института, был приглашен во дворец, однако, будучи не в силах даже одеться, вынужден был отказаться от высокой чести.

На выставку приехала и русская великая княгиня Елена, питавшая к Гектору восторженные чувства. Прослышав о мытарствах отверженного гения, она удостоила его своим посещением, чтобы уговорить приехать в Санкт-Петербург и Москву. Гектор колеблется. Он с трудом держится на ногах, его непрерывно мучают головокружения. Но великосветская посетительница настаивает:

– Приезжайте, господин Берлиоз. Вам не придется тратить силы. Вы не будете дирижировать своими произведениями. Вам останется только быть зрителем; наш народ, который испытывает к вам восхищение и любовь, слушая ваши произведения, будет по крайней мере вас видеть.

Кончилось тем, что больной композитор сдался: разве не его судьба бороться, бороться до конца?

Раз тебе ведомы страдания и ты умеешь плакать, то запасись слезами, бедный Гектор. Ведь на этом свете еще не кончились твои муки. Смерти нет дела до душевной боли, терзающей твое сердце.

29 июня

Желая вывести Гектора хотя бы на время из состояния глубокой удрученности, чета Массаров, пианист Риттер, Стефан Геллер и Рейер организовали чествование Берлиоза. Они хотели превознести неувядающий талант композитора и отомстить за

него.

На бульваре Рошешуар, в роскошной студии маркиза Арконати Висконти, обитой дорогими тканями и коврами, они установили портрет Берлиоза, окружив его пальмовыми ветвями и яркими цветами. На широких листьях экзотического растения рдели названия основных произведений маэстро.

За тяжелым темно-красным занавесом с золотой бахромой был скрыт оркестр, который при появлении Гектора должен был исполнить фрагменты его произведений.

Стенные часы монотонно пробили восемь. Все с нетерпением ждут маэстро. Маятник важно отсекает крошечные частицы времени. Секунды… минуты… Девять ударов.

«Не случилось ли с ним что-нибудь? – встревожились собравшиеся. – Последнее время он так худ, сгорблен, желт; его орлиный нос под снежной, густой гривой волос кажется еще больше; он так стонет и так задыхается, что смерть будто уже коснулась его».

– Если угодно, я пойду разузнаю, в чем дело, – предложил, наконец, Риттер, и он отправился.

Какое тягостное зрелище! Гектор в своей скромной комнате на полу корчится в слезах.

Рихтер решился обратиться к нему:

– Что с вами, мой бедный друг, что с вами? В ответ Гектор издал мучительный стон.

– Это я, я должен был умереть, – пробормотал он наконец, – я, а не он, такой молодой. Нет, не он. Он имел право жить, имел право на счастье.

Его губы так дрожат, что он с трудом произносит слова.

О ком же он говорит? О том единственном на свете существе, которое еще привязывало его к земле, о том, кому он отдавал всю душу, все свое истерзанное сердце, о том, к кому в дни невзгод обращал он в поисках покоя свои печальные мысли. Он дрожал от ужаса и гнева оттого, что настала не его очередь! Он говорил о Луи, капитане дальнего плавания в звании майора, о своем милом мальчике, который умер 5 июня в Гаване от желтой лихорадки. В тридцать три года! Умереть на краю света, в полном одиночестве, неизвестно как. Может быть, тщетно призывая горячо любимого отца. Если оп угас до того, как корабль пристал к берегу, то по морскому обычаю его тело под прикрытием ночи должны были опустить в пучину, и тогда вечно будут ему могилой зыбкие, равнодушные волны чужого моря, тогда его несчастное тело отдано во власть прожорливых акул.

Поклоняться священным останкам, чувствовать их подле себя, разговаривать с ними! Даже в этом, самом последнем

утешении было отказано убитому горем отцу, проклятому гению.

Как ему пережить свое горе? Он мог думать только об украденном роком сыне, о нем одном. Отныне его будет терзать вопрос: «Как он умер? Какие последние слова произнесли перед смертью его холодеющие губы? Где это случилось – в Гаване или в открытом море?»

IV

В нем – трагичном и величественном живом изваянии скорби – поселился теперь огромный и вечный траур, он носил траур по себе самому.

Он остался теперь наедине со старостью, болезнью, наедине с горьким чувством, что понапрасну растратил жизнь, наедине с терпким вкусом праха.

«Отныне он находил горькую отраду, упиваясь среди тишины своим отчаянием; он желал, чтобы оно было полным, абсурдным, фатальным. Употребляя слово, которое Ламартин применял к себе самому, он «покори лея».

Бертран совершенно справедливо употребляет слово «исчерпан». И вправду, Гектор хотел, чтобы все им созданное умерло вместе с ним.

Однажды он встал с постели, напряг силы и отправился в Консерваторию, где вместе с мальчиком из библиотеки учинил аутодафе. В высокой, широкой печи несколько часов подряд пламя пожирало его переписку, статьи о нем и им написанные, его ноты и многочисленные наброски сочинений, быть может шедевров, венки, возложенные за границей на его голову, освещенную величественными идеями, – все было превращено в безликую груду пепла[198]

V

Август

Гектор стал совсем плох, и врачи посоветовали ему полечиться в Нери. Но сможет ли он туда добраться? Усилием воли он заставляет себя уехать.

Вернулся он, не исцелившись, не получив облегчения. Напротив, здоровье его ухудшилось и вызывало опасения.

VI

12 ноября

Выполняя обещание, он отправляется в Россию. Путешествие в преддверии смерти.

Санкт-Петербург. Ему отводят роскошную комнату в Михайловском замке, откуда, увы, он не может выйти оттого, что дрожит от холода, несмотря на огромную, жарко натопленную печь. Отовсюду приходят приглашения, но он отказывается от всего – от обедов во дворце, балов, музыкальных вечеров у членов царской семьи.

И, однако,

11 декабря (Гектор родился 9 декабря 1803 года) было решено отметить, правда с двухдневным опозданием, день его рождения.

Сделав над собой огромное усилие, он прибыл на организованный в его честь банкет на сто пятьдесят персон. Он сидел за столом, боясь в любой миг потерять сознание от усталости и волнения[199].

И в первые дни

1868

I

Гектор позволил увезти себя в Москву. Там, в большом зале Манежа, были даны две концерта, на которых пятьсот музыкантов исполнили «Ромео и Джульетту» и «Реквием», встреченные бурными, нескончаемыми взрывами оваций.

Несмотря на страдания, несмотря на безутешное горе, он был глубоко тронут.

Затем Гектор возвратился в Санкт-Петербург и 15 февраля пустился в обратный путь в Париж.

Трудно представить себе, в каком состоянии добрался он до дому после трех ночей и четырех дней пути в ледяном вагоне.

– Теперь он походит не на тень, а на труп. «Смертельно раненный старый орел». Его плечи сгорблены и выделяются худобой, шея высохла, скулы выдаются, отчего голова кажется более тяжелой; она слегка наклонена набок, словно едва удерживается на слишком слабой шее, а глаза запали еще глубже. Сохранилась его выразительная фотография того времени: тонкий рот, все еще красивый, хотя и покрупневший нос, густые волосы, напряженный взгляд, как бы таящий упрек, и подбородок, некогда волевой, а ныне совсем ушедший в воротник, ища опору на галстуке, высоко завязанном двойным узлом, придают его смягчившемуся лицу выражение усталости, отчуждения, крайнего физического упадка. Это портрет души, у которой скоро не будет

больше «возможностей оставаться в живых, как сказал сам маэстро, и которую скоро последний удар без борьбы отрешит от тела»[200].

II

Едва возвратившись в Париж, Гектор слег в постель и вызвал доктора Нелятона. Тот долго, задумчиво его осматривал, а затем назначил климатическое лечение – милосердная иллюзия, часто предлагаемая неизлечимым больным.

– Я советую вам Ниццу, – сказал он.

– Прекрасно, доктор, я обожаю этот райский уголок с бирюзовым небом. Его торжествующее солнце согреет мои старые кости, замороженные российскими ветрами. А уж воздух и благоуханный зефир так чаруют, что кажется, будто я купаюсь в фиалках.

Но, прощаясь, он стал серьезным и спросил:

– Доктор, скажите мне, пожалуйста, правду, всю правду, так как я должен сделать распоряжения.

– Хватит ли у вас сил ее вынести?

– Бесспорно, доктор.

– Увы, господин Берлиоз, я считаю, что вы обречены.

Перед самым отправлением в путь, на что он все же решился, Гектор узнал о смерти главного редактора «Газет мюзикаль» Эдуарда Моннэ, который в течение более тридцати лет был ему другом и опорой. Еще один! «А когда мой черед?» – спрашивал он себя.

2 марта

Вот он и в Ницце. Ранняя весна расточает свои дары. Небеса сливаются с зеркалом воды, розы на кустах гордо алеют, а мимозы трепещут от свежего дуновения бормочущего ветерка. Вступив в сверкающий рай, Гектор издал долгий вздох облегчения, словно освободился от злых сил.

Забыл ли он о зловещем приговоре доктора Нелятона? Надеется ли, что по всем его жилам вдруг побежит некий целительный бальзам? Может быть, и так.

Однако что за фантазия завладела им теперь? Он продолжает путь в своем экипаже до Монте-Карло, желая увидеть вновь те места, которыми восторгался в молодости, и те волны, куда устремлял свой взгляд, исполненный изумления и восторга.

– Возница, остановите на минуту, – приказал он.

Вышел из кареты. И вот он на скале с причудливыми очертаниями.

Ни шагу дальше, Гектор, берегись!

Но нет, покачиваясь, он идет все вперед и вперед. И вдруг он упал. Он расшибся в кровь. Недвижимый, он так и оставался там, на камне, пока землекопы, работавшие на дороге, не кинулись к нему и не поставили его, хрипящего, на ноги.

В гостинице его перевязали и окружили заботой, однако на другой день он вернулся в Ниццу. Какая сила воли!

Цепь мрачных событий продолжалась.

Когда он спокойно сидел на скамейке, созерцая сквозь повязку на лице задумчивое море и упиваясь сокровенными тайнами волн, у него произошло кровоизлияние в мозг. Без помощи провидения смертельный исход был бы неминуем. Помощь провидения? Открылись раны, обильно пошла кровь, и в этом было его спасение.

III

Снова Париж.

Постель, постель, потому что его ноги то и дело подкашиваются. Упорное молчание, все растущая отрешенность от земных дел.

С полным безразличием он узнал, что Амбруаз Тома, который был моложе его на восемь лет, возведен в степень командора Почетного легиона. Какое ему дело до того, что сочинителя оперы «Миньон» народ любит настолько, что, когда тот входит в зал, вся публика встает, выражая ему свое горячее восхищение?

Когда боль ненадолго стихала, он читал любимые стихи: Шекспира, Гете или Вергилия. Если ему удавалось подняться с кровати, он любил бросать птицам хлебные крошки, чтобы приманить их поближе. А кого он принимал? Сен-Санса и Рейера, чету Дамко и своих соседей» Массаров. Впрочем, они одни и остались верны ему.

«Однажды вечером, – писал Блаз де Бюри, – мы повстречали его на набережной. Он возвращался из Института. Бледный, исхудалый, сгорбленный, хмурый, дрожащий, он походил на тень. Даже в его знаменитом взгляде, прямом и гневном, угасло пламя. Он пожал нам руки сморщенной, влажной кистью и спустя миг исчез в тумане, прочтя перед тем голосом, в котором уже не было жизни, стихи Эсхила: «О, когда счастлива жизнь человека, тени достаточно, чтобы ее омрачить, а несчастлива – мокрая губка стирает ее отображение, и все предается забвенью».

Когда позволяло здоровье, он отправлялся в Институт, но, расписавшись в книге посещений, тотчас удалялся, не в силах присутствовать на заседании.

Эти выезды в карете во дворец Мазарини вместе с тещей, поддерживавшей его под руку, в конце концов стали его единственными поездками. Однажды, лишенный сил, он собирался отказаться от традиционного визита, когда кандидат в академики Шарль Блан пришел к нему поговорить о своей кандидатуре на место графа Валевского и просить подать за него свой голос.

Шарль Блан в 1848 году энергично и преданно защищал Гектора и помог тому сохранить должность хранителя библиотеки Консерватории.

Гектор помнил об этом.

«Доктор сказал мне, что мои дни сочтены, – сообщил Гектор просителю, – он даже уточнил счет этим дням. Но выборы назначены на 25 ноября, времени хватит. Мне останется еще несколько дней, чтобы прийти в себя. Стало быть, я там буду». Он жестоко страдал» но все же дотащился до Института и проголосовал. Так понимал он дружбу.

IV

Ныне в заржавленной лампе оставалось лишь несколько капель масла. Скоро оно иссякнет, и пламя угаснет.

Мгновения становились все более жестокими. Часы покоя наступали лишь в те ночи, когда благодаря опию его душа на крыльях фантазии устремлялась в потусторонний мир призраков. В тех краях, где он парил, не было больше борьбы, не было вражды, интриг и козней. Повелевало одно искусство, люди любили друг друга. Его зачаровывали диковинные, никогда не слышанные звуки, уводившие в нереальный мир.

Но когда его ночь не посещали видения, он восклицал при мучительном пробуждении:

– Я потерял свою ночь – у меня не было снов. О сновидение, о мечта – милосердный мираж, реванш, бегство от действительности! Всякий, кто привязан к земле, где ползают и страдают, и кто живет без грез, – не более чем мертвец в своей могиле! Вы говорите – ложь? Пусть так. Но мечта – это цветок лжи.

В один из дней к нему пришли представители его родной Дофине с просьбой председательствовать на конкурсе любительских хоров. Кто мог подумать, что он так плох? И Гектор, уже полутруп, принимает приглашение. Перед уходом в иной мир он захотел увидеть вновь свой родимый, ласковый край.

Он шатается при каждом шаге. И все же едет – высохший, с

впалыми глазами и блуждающим взглядом.

На вокзале (13 августа) его встретил взволнованной речью и горячими приветствиями мэр.

Гектор сдержанно поблагодарил, а затем попросил отвезти его в постель.

Все дни непрерывно следовали приемы и банкеты.

Когда специально приехавший мэр Гренобля возложил ему на голову корону славы, Гектор подумал, что умирает. Опираясь на своего шурина, он вынужден был покинуть зал, поручив сказать благодарственное слово своему другу Базену.

Уже умирающим он отправился обратно в Париж.

V

И снова постель, снова безжалостная неподвижность.

Однажды, когда снег укутывал белым покрывалом людей и природу, Гектора посетил Сен-Санс. Войдя, он протянул ему руку, холодную как лед. Гектор поколебался мгновение, а затем извлек из-под одеяла свою горящую в лихорадке кисть и протянул ее гостю, но, коснувшись его замерзших пальцев, громко вскрикнул, отвернулся к стене и не произнес более ни слова. Сен-Санс был подавлен и смущен.

До него доходили лишь слухи о смертях: старый друг Эмбер Ферран, чья жена, святая женщина, незадолго перед тем была убита молодым человеком, усыновленным и выращенным этими славными супругами, не имевшими своих детей, потом Леон Крейтцер и, наконец, Россини, кончина которого потрясла его, прозвучав предостережением.

Россини умер старшим офицером Почетного легиона, – он был богат, увенчан мировой славой, он слыл почти богом[201]. Его провожали к месту вечного покоя с такой же пышностью, как и Мейербера.

Гектор невольно возвращался к горькой мысли:

«Какие похороны, однако, ждут меня, отщепенца?»

Шли последние дни года.

1869

Как он еще живет, этот скелетоподобный старик, сплошной кашель и хрип, чьи глаза теперь стали стеклянными, а голос притих? Почти все время он спит; и кажется, что это его последний сон.

Истекает январь. Гектор не поддается.

Проходит февраль. Гектор еще держится.

Март

Гектор потерял память. Однажды самый верный из его поклонников, Рейер, попросил надписать ему экземпляр «Бенвенуто». Гектор с трудом взял в руку перо и начал. «Моему другу…» потом остановился и спросил:

– В самом деле, как же вас зовут?

– Рейер.

– Ах да, Рейер.

А Рейер был одним из самых близких его друзей и наперсников[202].

В тот день он не узнал даже своего старого приятеля Эльвара, хотя незадолго перед тем в редкую минуту шутливого настроения заявил ему:

– Я обречен, но если тебе предстоит произнести речь, я предпочел бы жить.

Он погружался, уходил во мрак…

Последними осмысленными словами был его ответ друзьям; сознавая наступление рокового часа, они пришли объявить ему (ложь из милосердия!), что во Франции происходит поворот в отношении к его музыке.

– Слишком поздно! Они идут ко мне, но я, я ухожу, – ответил он.

Больше он не произнес ни одного слова. Ничего не понимал, ничего не слышал.

Приближение смерти – это такая минута нашей собственной историй, что никакая другая история не в силах нас от нее отвлечь.

8 марта, когда вся в перламутре, лазури и золоте вставала заря, у Гектора Берлиоза началась агония. Его теща, госпожа Мартин де Вильяс Ресио, боясь остаться наедине с останками своего несчастного зятя, послала за госпожами Дамке, Шартон-Демер (исполнительницей роли Дидоны в «Троянцах») и Деларош, в доме которой в Сен-Жермене умерла Мария Ресио.

Какие мысли тревожили его на полпути между землей и вечностью? Покидая мир, подводят черту и оценивают прожитую жизнь.

Умер ли он побежденным? Нет, он уступил усталости, к которой было примешано презрение к людским порокам.

Усталость от беспрестанной борьбы, презрение к жестокой несправедливости, которую он должен был сносить. Днем, в половине первого, Гектора не стало[203].

Госпожа Мартин не решилась позвать священника, боясь нарушить волю Гектора. Разумеется, маэстро в часы

раздражительности подтрунивал над религией, но никогда, однако, не разрешал себе богохульства, потому что его детская вера всегда дремала в нем.

Рейер пришел провести ночь в комнате Гектора.

Вот свидетельство, составленное мэрией:

> «Смерть Луи-Гектора Берлиоза, 9 марта 1869 года.
>
> Префектура департамента Сены. Выписка из подлинной книги регистрации смертей IX округа Парижа.
>
> Вторника девятого марта тысяча восемьсот шестьдесят девятого года в один час тридцать минут пополудни. Акт о смерти Луи-Гектора Берлиоза, сочинителя музыки, члена Института, офицера ордена Почетного легиона, шестидесяти пяти лет от роду, родившегося в Кот-СентАндре (Изер), скончавшегося вчера в полдень по месту своего жительства, вдовца после первого брака с Генриеттой Смитсон, также вдовца после второго брака с Марией-Женевьевой Мартин. Вышеупомянутый акт составлен в присутствии и по заявлению Л. Луи Морана, домовладельца, пятидесяти двух лет от роду, и Жана Ладона, служащего, пятидесяти трех лет от роду, проживающих оба в Париже по улице Сен-Мар, в доме 22, которые в качестве свидетелей подписались вместе с нами. Леон Онэ, помощник мэра, кавалер ордена Почетного легиона и т. д. …»

Четверг 11 марта

Похороны Гектора Берлиоза. Самые заурядные. О погребении объявлено в извещениях, наскоро отпечатанных на дешевой бумаге.

Катафалк низшего разряда, только с двумя лошадьми. Ничего общего с той пышностью, которой Франция окружила похороны немца Мейербера и итальянца Россини. Гениального маэстро родина провожала с равнодушием, близким к презрению.

На черном покрове гроба только один венок – от Гренобля, единственного города Франции, соблаговолившего проявить внимание.

Перед траурной процессией несколько музыкантов из Национальной гвардии играли похоронный марш – традиционная почесть офицеру Почетного легиона. Колесницу сопровождали несколько академиков.

За гробом шли Амбруаз Тома, Гуно, Рейер и барон Тейлор.

Вот, наконец, процессия в церкви Троицы. Здесь ни черных драпировок, выражающих людское горе, ни траурных украшений. Стены голы, словно безучастны к скорби.

Гроб установлен на невзрачном постаменте, освещенном зеленоватым светом четырех свечей. А ведь если бы он умер в России, эта страна содрогнулась бы от скорби.

Пока погребальное шествие двигалось к кладбищу, молодая женщина, облаченная в траур, с лицом, скрытым под длинной темной вуалью, преклонила колени перед зияющей могильной ямой, которая скоро должна была закрыться над Гектором Берлиозом, и бросила в нее венок из красных роз. Когда погребальная колесница приблизилась, женщина быстро исчезла.

Кто же была эта неизвестная, оказавшая умершему такой знак почитания? Ведь никто не слышал, чтобы у Гектора Берлиоза в Париже была родственница. Тайна захватывает больше, чем удручает несчастье. Теперь все, кто присутствовал при погребении композитора, были не столько взволнованы невозместимой утратой, сколько заинтригованы. Но, к их разочарованию, в конце концов выяснилось, что романтической тенью была всего лишь племянница покойного, приехавшая из провинции специально, чтобы молчаливо и благоговейно почтить память своего славного дядюшки, такого несчастливого при жизни.

Она захотела прийти одна, совсем одна.

Тотчас вслед за этим мимолетным видением произошло еще одно событие – так уж, видно, было назначено: Гектору Берлиозу и после его последнего вздоха не суждено было спать в покое.

Когда похоронные дроги проезжали через кладбищенские ворота, лошади понесли, опрокинув музыкантов и бросив катафалк на ближнюю могилу.

Лишь с трудом удалось успокоить обезумевших лошадей.

Наконец настало время панихиды.

Гийом от Академии изящных искусств, Фредерик Тома от Общества литераторов, Гуно от композиторов и, наконец, Эльвар, который воспользовался случаем, чтобы произнести речь, тот Эльвар, кому Гектор сказал, что не хотел бы умереть, если ему предстоит говорить. Все четверо один за другим славили покойного[204] и говорили о необычайности его судьбы.

Наконец гроб опускают в могилу, устанавливая его между Офелией и Марией Ресио.

А теперь спи спокойно, спи вечным сном, Гектор. Разве не заслужил ты отдых? О да, ты заслужил его напряженным трудом, страстной борьбой, голодом, слезами и кровью.

Послесловие

На другой же день после похорон Гектора Берлиоза Рейер задумал воздать тому, кого считал своим учителем, дань уважения, достойную его гения. Он организовал в Опере фестиваль Берлиоза, привлекший огромную толпу, которая с благожелательностью слушала и без пристрастия судила. Реабилитация началась.

За пределами Франции имя Берлиоза вошло в историю музыки и поэтизированную историю – легенду.

Народы, которых он взволновал и зажег, и особенно Россия, по выражению Продома, «встретившая его, как мессию», со скорбью приняли весть о его безвременной кончине, и после этого преклонение перед ним стало еще сильней. Смерть, когда она разит гения, всегда кажется несправедливой. Великие избранники, по мнению их фанатичных приверженцев, не должны умирать никогда. Народы, в которых мощная музыка Берлиоза будила интерес к родине композитора, не понимали, почему Франция была так сурова и невежественна по отношению к своему великому гражданину, ярким маяком сверкавшему в искусстве за ее пределами.

Скромный памятник, поставленный на кладбище Монмартр Гектору Берлиозу, кажется, увы, совершенно заброшенным. На могиле ни цветов – знака выражения чувств, ни слез, тогда как могилы Бетховена, Вагнера остаются на их благодарной родине местами паломничества. В даты его рождения, смерти, создания главных шедевров следовало бы с любовью и почитанием возлагать на его могилу венки ярко-красных цветов – цвета его горения, цвета его крови.

Творчество Берлиоза реабилитировано, человек же – еще нет. Случится ли это когда-нибудь?

Гюстав Самезей сказал: «Каждый музыкант должен чтить в Берлиозе самого великого французского композитора своего века».

Его верный товарищ в битвах за романтизм Теофиль Готье, «прекрасный Тео» – «человек в пурпурном жилете» на исторической премьере «Эрнани», – в некрологе с непревзойденным мастерством рассказал о горькой и беспокойной судьбе знаменитого усопшего, «о его беззаветной преданности искусству, его властном призвании».

«От горя его прекрасный орлиный профиль становился все резче… Он окружил себя покровом тени и безмолвия, а потом

угас»[205].

В год, последовавший за смертью Гектора, Падлу и Эдуар Колонн настойчиво добивались возрождения и прославления берлиозовских творений. Откровение для обманутого народа, который был к великому композитору слеп и глух… Так, «Осуждение Фауста» в одном концертном цикле исполняли шесть раз подряд.

Публика заметила, что восхищается тем, что сама же порицала.

Музыка Гектора Берлиоза господствовала в обществе Шарля Ламуре «Новые концерты».

1903 год. Столетие со дня рождения.

Все произведения Берлиоза играют повсюду в Париже.

В Гренобле, по примеру Парижа и Кот-Сент-Андре, сооружают памятник Берлиозу.

В Германии одновременно в двадцати городах исполняют вновь и вновь того «Бенвенуто», который некогда под шиканье и улюлюканье провалился в Париже, а публике все не надоедает это слушать.

Мало того, за рубежами Франции, не пожелавшей взять на себя инициативу, было издано полное собрание сочинений великого мастера, ставшего легендарным.

Англия, Голландия, Бельгия превозносят его, словно бога. В Венгрии ему ставят памятник.

Далеко-далеко, за морями, в Соединенных Штатах Америки тоже с восхищением славят мастера потрясений и бурь, жаждавшего необъятного и бесконечного, и сооружают ему гигантский монумент.

Итак, во всех уголках мира звучит теперь имя Берлиоза, публика требует и встречает овациями его произведения.

И по праву – он достоин навечно остаться в памяти людей, Гений был осмеян, гоним и попран, но так никогда и не отрекся от своей музыки; ему понадобилось умереть, чтобы быть, наконец, понятым и признанным.

Сам он в «Мемуарах» писал с горькой усмешкой: «Моя музыкальная карьера могла бы быть прекрасной, если бы только я прожил сто пятьдесят лет».

Время в самом деле работало на него. Оно – великий творец. Оно исправляет, оно оправдывает, насмехаясь над пристрастием и жалкой ненавистью. Оно превозносит гениев, оно отметает узурпаторов славы. Время определило истинные размеры, выявило подлинную сущность того, кто всю свою жизнь героически сражался, оставаясь самим собой вопреки всему! Мы заканчиваем наш скромный труд афоризмом, почерпнутым у

Артура Кокара: «Есть на свете художники, для которых, подобно мученикам первых веков, год смерти становится первым годом бессмертия».

Париж. Ноябрь 1952 г. – февраль 1954 г.

Несколько слов о Г. Берлиозе

Думается, каждый читатель, интересующийся музыкой и любящий ее, с удовольствием прочтет эту книгу, в которой живо и ярко рассказана жизнь великого французского композитора Гектора Берлиоза. По существу, это хронограф жизни и творчества Берлиоза, где по годам, месяцам, а иногда и дням раскрывается кипучая деятельность большого музыканта – его новаторские устремления и осуществление их в творчестве, его переживания во взаимоотношениях со средой, с публикой, не понимавшей ею дерзновенных творческих замыслов, его работа как дирижера и критика-публициста, его личная, интимная жизнь. Прежде всего этот труд привлекает своей правдивостью. Если даже отдельных фактов, сцен, разговоров и не было, то они могли быть, – настолько они соответствуют характеру и темпераменту Берлиоза, как мы себе его представляем, со всей его романтической пылкостью и тонкой душевной восприимчивостью. Фрагменты из многочисленных писем, высказываний и бесед Берлиоза и людей, близко его знавших, сообщают работе документальный характер.

Поскольку цель работы чисто биографическая, она не претендует на анализ творчества Берлиоза с точки зрения стиля его музыки, его значения в истории музыкальной культуры, его новаторских достижений. Поэтому мы считаем нужным коротко сообщить об этом читателю, не имеющему специального музыкального образования. Ведь на него в основном ориентируется автор данного труда.

Во французской музыке XIX века Берлиоз занимает особое, даже исключительное место. В то время как в немецкой музыке симфония стала одним из основных видов музыкального искусства и симфонизм достиг своей вершины в творчестве Бетховена, во французской музыке симфония не заняла такого значительного места. Музыкальный театр (опера – большая и комическая и балет) привлекал наибольшие общественные интересы, как и концерты солистов-виртуозов различных видов исполнительского искусства. Если в Париже в первой половине XIX века и звучала симфоническая музыка, то это были преимущественно произведения австрийских и немецких композиторов. В этой обстановке Берлиоз был единственным крупным французским композитором-симфонистом.

Творчество Берлиоза жило и развивалось в атмосфере романтизма, что определило образный мир и дух его музыки. Художественная жизнь Парижа была насыщена до краев. Во

французской столице жили и работали наиболее выдающиеся представители тогдашнего французского (и не только французского) художественно-артистического мира, сталкивались, пересекались различные, подчас противоположные направления искусства. Французы Гюго и Бальзак, Шатобриан и Мюссе, Ламартин, Жорж Санд и Берлиоз; немцы Гейне и Берне, поляк Шопен, венгр Лист и многие, многие другие внесли свой большой вклад в богатую интеллектуально-художественную атмосферу Парижа, в которой основным направлением был романтизм со всеми его ответвлениями и противоречиями. Ведь и романтизм был далеко не однороден. Напротив, он был многолик и заключал в себе различные, даже противоборствующие тенденции и идейные течения.

Носителем передового направления в музыкальном романтизме был Берлиоз – композитор-демократ, враг рутины, формализма и безыдейности. Богатая революционными традициями (великая буржуазная революция 1789-1794 годов, июльская революция 1830 года), Франция являла собой благоприятную почву для развития искусства, насыщенного гражданским пафосом, революционным духом. Музыкальные традиции, восходящие к массовым музыкальным празднествам, демонстрациям эпохи революции нашли свое отражение в таких монументальных произведениях Берлиоза, как «Реквием», посвященный памяти героев, павших в дни июльской революции 1830 года, и «Траурно-триумфальная симфония», написанная в 1840 году к 10-летию той же революции.

Вместе с тем как романтик Берлиоз не был чужд и романтическому индивидуализму. Все впечатления и образы, возбуждавшие его творческую фантазию, он преломляет через свои личные чувства и ощущения, окрашивает своими переживаниями. Любого из героев своих произведений, будь то байроновский Чайльд Гарольд, или шекспировский Ромео, или гетевский Фауст, он наделяет своими собственными чувствованиями. А герой «Фантастической симфонии» (эпизод из жизни артиста) или «Лелио» – это сам композитор с его душевными страданиями, с его мечтаниями и фантазиями.

Но автобиографичность творчества Берлиоза не носит узколичного, замкнутого характера. В условиях политической реакции общественного гнета во Франции тридцатых-сороковых годов прошлого века, когда передовой художник вынужден был противопоставить себя окружающему миру лжи и насилия в буржуазном обществе, вопросы личной жизни и внутреннего мира художника приобретали особую остроту. «Фантастическая симфония» – это не просто «автобиографический роман» в

музыке, не просто личная исповедь, это знаменательный памятник эпохи, раскрывающий душевный мир молодого человека – современника Берлиоза.

Характерной особенностью музыкального романтизма является стремление к синтезу музыки и других искусств – поэзии, литературы, изобразительных искусств, заимствование оттуда тем и сюжетов. Так возникает романтическая программность, в первым композитором, решительно ставшим на этот путь, был Берлиоз. Обращение в поисках сюжетов к Байрону («Гарольд в Италии»), Шекспиру («Ромео и Джульетта»), Гете («Осуждение Фауста») или создание собственной программы («Фантастическая симфония») определяют творческую направленность Берлиоза, его художественные принципы. Программность была для него средством конкретизации образного содержания музыки с целью сделать ее наиболее общедоступной с помощью программных пояснений. Кроме того, обращение к творениям великих поэтов и драматургов было своего рода выражением борьбы за высокую идейность искусства.

Разумеется, словесная программа, предпосланная музыкальному произведению, иди его заголовок не могут исчерпать содержания самой музыки, заменить ее, – в противном случае последняя оказалась бы ненужной. Программа лишь направляет внимание слушателя, помогает ему яснее и точнее воспринять замысел композитора. Сама же музыка обладает собственным, ей одной присущим миром образов, собственными средствами выражения и должна быть понятна и без программы. Такова музыка Берлиоза, в которой специфически музыкальными средствами раскрываются субъективные переживания человека, картины природы, фантастические образы, жанровые сцены, а подчас и движения народных масс («Траурно-триумфальная симфония»). В многочастных симфониях Берлиоза обычно музыкальное повествование развертывается последовательно, в чередовании отдельных музыкальных картин, связанных между собой общей темой – лейтмотивом. Такого рода лейтмотивом является мотив возлюбленной в «Фантастической симфонии», проходящий через все пять частей, как «навязчивая идея», по выражению самого композитора, и подвергающийся различным трансформациям в зависимости от содержания данной части. В симфонии «Гарольд в Италии» это мотив Гарольда, точно так же звучащий во всех четырех частях. Лейтмотив любви из «Ромео и Джульетты» составляет основу большого симфонического Adagio «Ночь любви».

Программность симфоний Берлиоза в конце концов привела его к театрализации этого жанра, к сближению симфонии, оперы,

оратории-кантаты, к их взаимопроникновению. Так, если «Фантастическая» и «Гарольд» – это еще симфонии в традиционном смысле этого слова, написанные для одного оркестра, то «Ромео и Джульетту» (названную композитором «Драматической симфонией с хорами») уже невозможно воспринять как обычный симфонический цикл: помимо симфонических эпизодов, в этом произведении есть речитативы, законченные сольные вокальные эпизоды, хоры, что привносит в него черты ораториальности и даже оперности. А «Осуждение Фауста» – это почти опера (но только для концертного исполнения), содержащая ряд симфонических эпизодов (но это бывает и в настоящей опере).

Кроме перечисленных произведений, Берлиоз создал несколько опер: «Бенвенуто Челлини» (из жизни знаменитого итальянского скульптора XVI века), дилогию «Троянцы» («Взятие Трои» и «Троянцы в Карфагене» – на античный сюжет), «Беатриче и Бенедикт» (на сюжет комедии Шекспира «Много шума из ничего»). В последние годы жизни в творчестве Берлиоза произошел заметный перелом: былой романтический жар остыл (да и вообще французский романтизм исчерпал себя), его музыка становится более уравновешенной, спокойной, появляются черты неоклассицизма. Все это особенно сказывается в оратории «Детство Христа». Но всегда во все периоды творчества Берлиоз был склонен к крупным, монументальным жанрам.

Огромны достижения Берлиоза в области оркестра, в чрезвычайном обогащении оркестровой выразительности. Композитор ввел в оркестр инструменты, дотоле не входившие в состав симфонического оркестра, расширившие диапазон его звучания (арфа, английский рожок, кларнет пикколо, колокола и т. д.) увеличил состав духовых и ударных инструментов; поручал самостоятельные роли отдельным инструментам (соло тромбона во 2-й части «Траурно-триумфальной симфонии», изображающее надгробное слово оратора, соло альта на всем протяжении симфонии «Гарольд в Италии», соло литавр в 3-й части «Фантастической»). Многочисленные и разнообразные комбинации инструментов я инструментальных групп создают декоративное, колористическое звучание. Оркестр Берлиоза поражает богатством колорита, красочностью. Но никогда этот колорит не становится самоцелью, – он всегда подчинен раскрытию романтических образов, от которых он неотделим. В произведениях Берлиоза нет постоянного, стабильного состава оркестра, – все зависит от круга образов. В ряде случаев он привлекает гигантский, массивный оркестр («Реквием», «Траурно-триумфальная симфония»), в других же случаях он ограничивает

оркестр почти камерным составом (балет сильфов из «Осуждения Фауста»).

Перу Берлиоза принадлежат не только крупные музыкальные полотна, но и немало литературных трудов. Его многочисленные критические и публицистические статьи составляют одну из блестящих страниц в истории музыкально-критической мысли, – кстати, он первый на Западе сумел оценить творчество М. И. Глинки. «Мемуары» Берлиоза можно по праву отнести к лучшим образцам мемуарно-автобиографической литературы; его «Трактат по инструментовке» (известный в редакции Рихарда Штрауса) считается классическим пособием в этой области.

Велики заслуги Берлиоза перед музыкальным искусством. Отдельные его противоречия, его недооценка некоторых явлений современности (например, творчества Вагнера), объясняющиеся причинами субъективного и объективного характера (различие национальных культур, эстетических платформ и т. д.), нисколько не умаляют той роли, которую сыграл Берлиоз, открывший новые пути музыкальному творчеству и оказавший огромное влияние на дальнейшее развитие программного симфонизма и оркестровой выразительности.

Б. Левик, кандидат искусствоведения

Основные даты жизни и творчества Гектора Берлиоза

1803, 9 декабря – В Кот-Сент-Андре родился Гектор Берлиоз.

1817 – Эмбер учит Гектора игре на флейте.

1818 – Уроки игры на гитаре у Дорана.

1820 – Романс Гектора на текст из «Эстеллы и Неморена» Флориана.

1821 – Гектор получает звание бакалавра, едет в Париж и поступает в Медицинскую школу.

1823 – Начало занятий с Лесюэром.

1824 – Сочинение «Торжественной мессы».

1825 – Исполнение мессы в церкви Сен-Рош.

1826 – Неудачная попытка принять участие в конкурсе на Римскую премию.

1827 – Поступление в Консерваторию. Занятия с Лесюэром и Рейха. Спектакли в Париже английской драматической труппы Кембла. Знакомство с Шекспиром. Любовь к Гэрриет Смитсон. Безуспешное участие в конкурсе на Римскую премию.

1828 – Появление «Фауста» Гете в переводе Жерара де Нарваля. Первый концерт из произведений Берлиоза в Консерватории. Гектор вновь участвует в конкурсе на Римскую премию и получает вторую премию.

1829 – Окончание «Восьми сцен из «Фауста». Неудача в конкурсе на Римскую премию.

1830 – Премьера «Эрнани» В. Гюго. «Фантастическая симфония». Кантата «Сарданапал», за которую Гектор получает Большую Римскую премию. Обработка «Марсельезы». Знакомство и начало дружбы с Листом.

1831-1832 – Жизнь в Италии.

1833 – Женитьба на Г. Смитсон. Первое дирижерское выступление.

1834 – Окончание и первое исполнение симфонии «Гарольд в Италии».

1835 – Начало постоянной работы Берлиоза в «Журналь де деба» в качестве музыкального критика.

1837 – «Реквием» – сочинение и первое исполнение в церкви Дома инвалидов.

1838 – Премьера оперы «Бенвенуто Челлиню.

1839 – Сочинение и первое исполнение драматической симфонии «Ромео и Джульетта».

1840 – Сочинение и первое исполнение «Траурно-

триумфальной симфонии».

1841 – Знакомство с Марией Ресио.

1843 – Выступления в Германии. Окончание «Трактата по инструментовке».

1844 – Грандиозный фестиваль на Всемирной выставке в Париже. Сочинение увертюры «Римский карнавал».

1845 – Фестиваль Берлиоза в Олимпийском цирке. Начало работы над «Осуждением Фауста». Поездка в Австрию.

1846 – Поездка в Прагу, Пешт, Германию. Первое исполнение в Пеште «Венгерского марша». Окончание и первое исполнение в Париже драматической легенды «Осуждение Фауста».

1847 – Путешествие в Россию, концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Выступление в Берлине. Сочинение «Похоронного марша» для последней сцены «Гамлета» по Шекспиру. Приглашение в театр Друри-Лейн в Лондон. Поездка с сыном в Кот-Сент-Андре.

1848 – Начало работы над «Мемуарами». Смерть отца.

1852 – Шесть концертов «Нью Филармонию) в Лондоне. Берлиоз пишет «Вечера в оркестре». «Неделя Берлиоза» в Веймаре.

1853 – Поездка в Германию.

1854 – Смерть Гэрриет. Женитьба на Марии Ресио. Завершение и первое исполнение в Париже «Детства Христа».

1856 – Избрание в члены Института.

1858 – Окончание «Троянцев». Завершение «Мемуаров».

1862 – Окончание и первое исполнение комической оперы «Беатриче и Бенедикт».

1863 – Первое исполнение «Троянцев в Карфагене».

1864 – Уход из «Журналь де деба».

1867 – Смерть сына. Поездка в Россию.

1869, 8 марта – Смерть Гектора Берлиоза.

Краткая библиография

Гектор Берлиоз, Избранные статьи, М., 1956.

Гектор Берлиоз, Мемуары, М., 1967.

«Материалы и документы по истории музыки», под ред. М. В. Иванова-Борецкого. М., 1934.

Стасов, В. В., Лист, Шуман и Берлиоз в России, М., 1954, Хохловкина, А. А., Берлиоз, М., 1960.

Barraud, Henry, Hector Berlioz, Paris, 1955.

Berlioz, Hector, Correspondance inedit de Hector Berlioz, 1819-1868, 2-e ed. Paris, 1879.

Berlioz, Hector, Les grotesques de la musique. Paris, 1880.

Berlioz, Hector, Les soirees de l'orchestre. 3-e ed., Paris, 1871.

Berlioz, Hector, A travers chants. Etudes musicales, adorations, boutades et critiques par Hector Berlioz. 3-e ed., Paris, 1880.

Boschot, Adolphe, La jeunesse d'un romantique. Hector Berlioz. 1803-1831. Paris, 1946.

Boschot, Adolphe, Un romantique sous Louis-Philippe. Hector Berlioz. 1831-1842. Paris, 1948.

Boschot, Adolphe, Le crepuscule d'un romantique. Hector Berlioz. 1842-1869. Paris, 1950.

Jullien, Adolphe, Hector Berlioz. Sa vie et ses oeuvres. Paris, s. a.

Pourtales, G. de, L'Europe romantique. Paris, 1949.

Prod'homme, J.-G., Hector Berlioz (1803-1869). Sa vie et ses oeuvres. Paris, s. a.

notes

Примечания

1

В своих «Мемуарах» Гектор Берлиоз так описывает место, где он родился: «Городок Кот-Сент-Андре вырос на склоне холма и возвышается над довольно обширной плодородной долиной, залитой солнцем и покрытой зеленью. Ее покой преисполнен какого-то задумчивого величия, его еще усиливает гряда гор, окаймляющая долину с юга и востока, за которой возвышаются вдали сдавленные ледниками гигантские пики Альп».

2

Берлиоз в музыке с Виктором Гюго в поэзии и с Эженом Делакруа в живописи составляют триптих романтизма. Когда наш герой родился, Виктору Гюго был один год, а Эжену Делакруа – четыре.

3

У Гектора были две сестры: Нанси (настоящее имя Анна-Луиза-Маргарита), родившаяся в 1809 году, чей явно незаурядный ум еще более подчеркивался яркой женской красотой, и нежно любимая им Адель. У него был и брат Проспер, который появился на свет лишь в 1820 году.

4

Именно внимая хору воздушных девочек, певших «гимн святому таинству», он ощутил «мистическое и страстное волнение», его взволновало это пение. («Мемуары».)

5

Пыльный флажолет, найденный в глубине ящика комода и вскоре замененный отцом флейтой, был первым инструментом, на котором Гектор наигрывал песенку - «Мальбрук в поход собрался».

6

Шатобриану, родившемуся в Сен-Мало в 1768 году и умершему в Париже в 1848 году, тогда было пятьдесят три года. За страсть к величию, за дерзновенно-смелый стиль, за ревностное поклонение гармонии и звучности его заслуженно почитали чудеснейшим гравером слова и гениальным реформатором французского языка.

Берлиоз, Мемуары.

8

Лесюэр родился в 1763 году, умер в Париже в 1837 году. При знакомстве Гектор осмелился передать ему свою кантату для большого оркестра на поэму Мильвуа «Арабский конь» и в придачу трехголосный канон.

10

Институт (Французский институт) – высшее официальное учреждение, объединявшее в то время четыре Академии: французскую, надписей и медалей, наук, изящных искусств. В 1832 году в его состав была включена также Академия моральных и политических наук. (Прим. переводчика.)

11

Шатобриан вызывал восторженное поклонение всех юных романтиков. Для них это был светоч. Виктор Гюро писал в дневнике на пороге своего четырнадцатилетия: «Я хочу быть Шатобрианом или ничем».

12

Ги де Пурталес, Берлиоз.

13

Ги де Пурталес представляет его как «дворянина из Сен-Жерменского предместья».

14

Однажды ему пришлось петь с огромным нарывом в горле, который мешал дышать. Гектор беспрестанно клял его, а возвратясь домой, схватил старый ножик и без колебаний вспорол ужасный гнойник.

15

«Нет нужды говорить, – писал Гектор в начале» своих «Мемуаров», – что я был воспитан в римско-католической апостолической вере. Эта религия, сделавшаяся прекрасной, перестав требовать сожжения людей на кострах, была для меня источником счастья в течение целых семи лет, и, хотя мы с ней давно в ссоре, я навсегда сохранил о ней самые теплые воспоминания. По крайней мере она столь мила моему сердцу, что имей я несчастье родиться в лоне одной из сект, возникших в итоге тяжких раздумий Лютера или Кальвина, то я без колебаний при первом же пробуждении во мне чувства поэзии и в первую же свободную минуту поспешил бы свершить торжественное отречение, дабы обнять прекрасную римлянку… Я получил мое первое причастие в тот же день, что и моя старшая сестра, в монастыре, где она воспитывалась. Именно это обстоятельство и придало этому религиозному акту трогательный характер, и я вспоминаю о нем с умилением…

Я разом превратился в «святого», святого настолько, чтобы ежедневно слушать мессы, каждое воскресенье причащаться и ходить на исповедь, чтобы сказать своему духовнику:

– Отец мой, я ничего не сделал…

– Ну что же, дитя мое, – отвечал мне этот достойный человек, – так и продолжай.

И в течение нескольких лет я с избытком рвения следовал его советам».

16

Другой гениальный человек, Бальзак, тоже должен был отстаивать свое призвание от нападок родителей,

– Так какую профессию ты себе избрал? – спросил однажды Бальзак-отец своего сына Оноре.

– Мое призвание – литература, к ней меня влечет.

– В своем ли ты уме?

– Да, в своем, и решение мое окончательно – я буду писателем.

– Очевидно, господин питает вкус к нищете, – сказала тогда госпожа де Бальзак.

– Да, – вздохнул отец, – есть люди, мечтающие о том, чтобы умереть где-нибудь на больничной койке.

– Оноре, – сказала мать, – наши планы на ваше будущее определены: вы будете нотариусом.

– Нет, мама.

– Но разве ты не знаешь, несчастный, – снова начал господин де Бальзак, – куда может завести тебя ремесло писателя? В литературе нужно стать королем, либо останешься рабом.

– Что ж, я буду королем, – ответил Оноре.

А. Кузон, Жизнь великих людей.

17

Рейха родился в Праге в 1770 году, умер в Париже в 1836 году.

18

К этому времени, однако, Берлиоз уже опубликовал несколько романсов и песен: «Ты, что любила меня», «Изгнанный горец», «Ревнивый мавр»; «Плачь, бедняжка Колетта».

20

Эмбер Ферран остался его другом на всю жизнь. Страстный любитель литературы, он сам написал поэму «Свадьба Оберона и Титании».

21

Родольф Крейцер родился в Версале в 1766 году, умер в Женеве в 1831 году. Он оставил после себя много опер, и среди них «Жанна д'Арк», «Шарлотта и Вертер», «Любовь Антония и Клеопатры», «Смерть Авеля».

22

«Почитатели Россини были столь же фанатичны в своем поклонении, сколь я в моем. Они были для меня предметом ненависти и отвращения, какие едва можно вообразить. Имей я возможность подложить под зал театра Лувуа бочонок с порохом и взорвать его вместе со всей публикой во время представления «Сороки-воровки» или «Цирюльника», я не преминул бы это сделать» (Г. Берлиоз, Мемуары).

23

«Возле театра Фейдо, Оперы, Итальянского театра жили музыканты, певцы, музыкальные издатели. Поблизости находилось кафе «Кардинал», которое Гектор и его приятели имели обыкновение посещать, а также изысканный парикмахер на площади Бурс, которому «Молодая Франция» доверяла свои рыжие шевелюры; Лесюэр со своей семьей жил на улице Сент-Анн, музыкальный издатель Шлезингер – в доме 97 на улице Ришелье. Юный Гектор Берлиоз поселился в доме 96, как раз на углу улицы Сен-Марк» (Адольф Бошо, Берлиоз).

24

Так пишет Ги де Пурталес. На наш взгляд, его мысль выражена слишком жестокими словами. Вместо «глупый вздыхатель» больше бы подошло «восторженный мечтатель». Гектор отнюдь не был глуп, что вскоре доказал.

25

Гектор сам писал: «Подчас удары грома в жизни артиста следуют один за другим столь же часто, как и при сильной грозе, когда тучи, – насыщенные флюидами электричества, словно шлют друг другу молнии и дышат бурей».

27

Ги де Пурталес, Берлиоз.

28

Адольф Бошо, Берлиоз.

29

Этот шедевр открыли для Франции Сталле и Жерар де Нерваль. Гектор писал: «Эта чудесная книга меня восхитила. Я не расставался с ней, читал ее беспрерывно: за столом, в театре, на улице – всюду».

30

Г. Берлиоз, Мемуары.

31

Временами преодолевая эту леность, он делал наброски своих «Восьми сцен», о которых уже упоминалось.

32

Адольф Бошо, Гектор Берлиоз.

33

Постскриптум этого письма так верно отражает кипучий темперамент Гектора, что небезынтересно его привести. «Читали ли вы «Восточные мотивы» Виктора Гюго? В них тысячи взлетов поэтического гения. Я сотворил «Песню пиратов» с аккомпанементом бури… Пришлю вам ее с «Фаустом». Это напев морского разбойника, песня корсара, грабителя, флибустьера с хриплым и диким голосом, однако нет нужды объяснять вам, вы понимаете поэзию музыки столь же хорошо, как и я».

34

Рассказ Гектора Берлиоза в «Мемуарах».

35

Номер от 7 ноября. Напомним ради справедливости, что эта газета находилась под влиянием Гектора Берлиоза.

36

Адольф Бошо, Гектор Берлиоз.

37

Байрон воспел прекрасную ионийскую рабыню Мирру, которая любила своего господина Сарданапала, словно бога. Царь, тронутый таким поклонением, сделал ее фавориткой и выказывал к ней нежную привязанность до самой своей смерти.

Так проходит земная слава (латин.).

39

«Один человек не радовался тому, что Гектор был таким энтузиастом новой эры. То был доктор Берлиоз, роялист до мозга костей, который с болью взирал на крушение того, что любил, и на падение его партии» (Артур Кокар, Берлиоз).

40

В тот же день в Опере в семь часов должен был состояться бенефис Гэрриет Смитсон – нежной Офелии, чей образ теперь потускнел в ветреном сердце вулканического Гектора.

41

Поль Ландорми, Французская музыка от «Марсельезы» до смерти Берлиоза. Изд-во «Галлимар».

42

Стоит ли пояснять, что слово «чудовищный» здесь употреблено в значении «необычный», «колоссальный».

43

«Напомним, что в другой раз гениальный автор «Манфреда» написал во славу Берлиоза такую восторженную фразу: «Его музыка – сверкающая шпага. Да будет мое слово ножнами, которые ее оберегают!» (Артур Нокар, Берлиоз. Изд-во «Лоран»).

«Фантастическая симфония» действительно была для Листа откровением. Он великолепно аранжировал ее для фортепьяно. Его настолько увлекли идеи Берлиоза, что он стал самым страстным сторонником поэтической и описательной музыки, музыки программной. Известно, сколь великолепны «Симфонические поэмы», написанные им позднее. Первым их замыслом в 1830 году он обязан Йерлиозу. 1830 год – великая дата в истории французского романтизма, дата рождения двух шедевров – «Эрнани» и «Фантастической симфонии»! Первый, воможно, более ярок, второй с более глубоким звучанием, в котором душа Берлиоза уже нашла свое полное выражение» (Поль Ландорми, Музыка от «Марсельезы» до смерти Берлиоза. Изд-во «Галлимар»).

45

Это слово также принадлежит к словарю Берлиоза.

Стендаль, Жизнь Россини.

В Риме также состоялось знакомство Гектора с Глинкой, которого спустя пятнадцать лет он представил парижанам, с Барбье – одним из авторов либретто его «Бенвенуто Челлини» и с поэтом Бризе, написавшим «Марию» и подсказавшим ему сочинение романса «Молодой бретонский пастух».

48

И, однако, Гектор Берлиоз преподал Феликсу небольшой урок, случай для которого представился сам собой. Ги де Пурталес писал:

«Их первая встреча оставила скорее всего кисло-сладкий привкус. Мендельсон попросил Берлиоза сыграть кантату «Сарданапал», за которую тот был удостоен премии. Гектор откровенно признался, что находит ее плохой.

– Тем лучше, – воскликнул молодой Феликс (он отлично знал кантату, потому что Монфор ему ее играл), – тем лучше! Поздравляю вас с вашим вкусом. А я-то опасался, что вы будете довольны этим аллегро. Откровенно говоря, оно никуда не годится.

Эта уловка некоторое время спустя стоила ему ответного удара со стороны Гектора, не любившего оставаться в долгу по части насмешек. Однажды, положив на рояль ноты известной арии Астерии из оперы «Телемак» Глюка, он попросил Феликса исполнить ее, и тот, спародировав последние такты, написанные в типично итальянской манере: «O giorno! O dolci sguardi! O rimembrenza! O amor!» («Он думал что, они вышли из-под пера какого-нибудь сентиментального Беллини»), услышал, как Берлиоз холодно произнес:

– О, вы не любите Глюка?

– При чем тут Глюк?

– Увы, дорогой мой, эта ария написана им. Видите, я знаю его лучше, чем вы, и придерживаюсь вашего мнения… больше, чем вы сами!

Касаясь отношений между композиторами, интересно также привести строки, принадлежащие Кокару (серия «Знаменитые музыканты»):

«Тогда как Берлиоз восхищался чудесным, рано развившимся мастерством и поистине необычайной одаренностью молодого немецкого композитора, тот, спокойный, рассудительно-холодный, уже овладевший всеми секретами своего искусства, ничего не понимал в беспутном – гении французского музыканта. Обладая меньшей, чем Шуман, широтой взглядов, он с пренебрежением относился к симфонии и насмехался над композитором, не способным написать хорошую фугу. Мендельсон, быть может, и не ошибался: мы не найдем в Берлиозе выдающегося знатока контрапункта. Но молодой немецкий маэстро должен был угадать в нем гения, которому прощается все… А он абсолютно ничего не смог увидеть. И не из

зависти, а просто оттого, что его натуре претило искусство, основанное лишь на вдохновении, фантазии и душевном подъеме.

Действительно, эти два человека находились на противоположных полюсах музыки. Сходились они только на одном – ненависти к итальянской музыке, которую в ту пору встречали овациями на всех подмостках музыкального мира».

49

Гектор Берлиоз так рассказывает в своих «Мемуарах» об этом мрачном эпизоде: «Она была прекрасна! Двадцати двух лет… в красивом платье из коленкора, завязанном под стопами ног. Ее волосы были слегка растрепаны. Из ноздрей и изо рта вытекла желтоватая жидкость. Я попросил, чтобы ей обтерли лицо, взял ее за руку. У нее была очаровательная белая рука. Я не в силах был отойти от нее, и будь я один, поцеловал бы ее… Я думал об Офелии…»

50

Ги де Пурталес.

51

Плейель – владелец фортепьянной фабрики, чье имя стало знаменитым и чья фирма существует и поныне.

52

Г. Берлиоз, Мемуары. Гектор не уточняет, кого изображает он под номером три, но это, бесспорно, почтенный г. Плейель.

53

Проезжая холмами и долинами по дороге из Ниццы в Рим, он сочинял слова и музыку к «Мелологу», в шести частях, законченному в Риме.

Свои идеи он изложил в пространной статье «Письмо энтузиаста о состоянии музыки в Италии» (28 ноября 1831 года). Эта статья появилась позднее (в марте 1832 года) в журнале «Ревю Еропеен».

Особенно он любил деревню Субияко.

Совершенно очевидно, что в этом перечислении воображение Гектора играет немалую роль.

57

Антуан Этекс ~ скульптор, художник, архитектор, гравер и литератор не смог подучить Большую Римскую премию. Несмотря на поражение, он на свои деньги путешествовал по Италии. Здесь он повстречал Гектора. Этому замечательному человеку мы обязаны барельефами на Триумфальной арке, «Каином и его племенем, проклятым богом» (колоссальных размеров произведение, выставленное в Лионе), памятником Вобану в Доме инвалидов и множеством скульптур, в которых нашло выражение его исключительное дарование.

58

Гектор в своих «Мемуарах» признает, однако, что директор и его дочь имели «громоподобный успех» (весьма берлиозовское определение).

59

В этом письме он высмеивает матримониальное поветрие. «Моя сестра, – пишет он, – только что вышла замуж за судью из Гренобля. Альбер Дюбуа женится на богатой красотке из департамента Дром. Мой кузен Огюст, Этекс, Ферран, Эдуар Роше, Эдуар де Карн – все они в атом году женились. Остерегайтесь! «Крепко, птицы, берегите милую свободу». Гектор забыл, что сам дважды хотел приковать себя цепями брака – к Офелии и к Камилле.

"Размышление» составили первый опус цикла «Tristia», появившегося позднее.

61

Увертюра к «Корсару» также относится к 1831-1832 годам.

62

Как сказал он своим друзьям: «Чтобы дать музыкальный залп».

63

30 декабря Гектор вновь дал свой концерт.

64

В ту пору Гектор и его друг Ференц Лист были ярким созвездием на музыкальном небосводе. Полистаем газеты, много писавшие о нем и о Листе. В одной из них читаем:

«…Как оценить подобное явление?.. Лист обрушился на великолепный инструмент, он плакал, рыдал, грезил и вздыхал, впадал в экстаз, падал ниц в религиозном созерцании… он играл и резвился, словно молодой тигр. Он вас очаровывает, подавляет; и в финале швыряет в вас удар молнии.

Да, это не талант, а гений. Его надо видеть…

И пока он, подобно заклинателю, метался на своем треножнике, его взгляд почти неотрывно был прикован к молодому артисту. Нужно ли уточнять, что этим артистом был Ректор Берлиоз?

Исполнитель не мог сделать лучший выбор. Берлиоз был тем эхом, какое требовалось Листу. Поэтому едва смолк последний аккорд, пианист, дрожа и задыхаясь от волнения, бросился на шею своему другу, и тот, обнимая его, повторял:

– О мой дорогой, великолепно! Как я люблю вас!

Самым горячим их почитателем был Жозеф д'Ортиг в «Котидьен».

Он писал, в частности, что концерт Гектора был «испепеляющим музыкальным извержением».

65

Надо признать, что Гектор, впервые получив отказ Гэрриет, грубо высказался по ее адресу.

66

С этого момента Гектор не звал свою невесту ни Офелией, ни Гэрриет, а Генриеттой.

Может быть, именно на другой день после этой ссоры он написал Офелии: «Во имя сострадания (я не смею сказать любви) сообщите мне, когда я смогу вас увидеть. Я молю у вас пощады и прощения, молю на коленях и со слезами! Жду вашего ответа, как приговора судьи!» Какие слова!

Еще не время (англ.).

Отметим, что 22 декабря состоялся новый концерт.

71

Прежде всего прожить (латин.).

72

Основатель этой крупной фирмы Игнац Плейель был изящным композитором. Он родился в Рупперстале близ Вены. Его сын Камилл, родившийся в Страсбурге в 1788 году, получил фабрику в наследство.

73

«В ней Берлиоз вызвал к жизни самые светлые воспоминания об Италии – те, которым он обязан природе. Прогулки в окрестностях Субияко, мечтания в закатных сумерках, серенады юношей, сальтарелло красивых итальянок, бьющих в бубны, отдаленные голоса, что плывут в ночной тишине… Он вновь переживал часы приволья, расцвета, лиризма. Красочная музыка помогала ему восстановить в памяти чудесные картины итальянской природы» (Бото, Берлиоз).

«Я возвратился с концерта г. Берлиоза, – писал Жанен. – Толпа и успех пришли, наконец, к этому мужественному, самобытному композитору, молодому борцу, идущему прямым путем и никогда не останавливающемуся, потому что им повелевает призвание. Скоро его потребует театр…»

75

«Небезынтересно напомнить, что первоначально эта «драматическая фантазия для оркестра, хоров и главного альта» носила название «Последние мгновенья Марии Стюарт». Партию несчастной королевы исполняет альт» (Артур Кокар, Берлиоз).

76

«Небезынтересно напомнить, что первоначально эта «драматическая фантазия для оркестра, хоров и главного альта» носила название «Последние мгновенья Марии Стюарт». Партию несчастной королевы исполняет альт» (Артур Кокар, Берлиоз).

Владея высокой классической культурой, редко являющейся достоянием композиторов, легким, живым стилем, точным и насыщенным юмором и каламбурами, Берлиоз в течение тридцати лет оригинально и с совершенным знанием дела вел раздел музыкального фельетона в газете Бертена, предоставлявшей ему грозное оружие против врагов. Как писатель, причем писатель высшего класса, он оставил после себя свыше семисот фельетонов и статей. Он составил из них и издал несколько томов: «Вечера в оркестре», «Среди песен», «Музыкальные гротески». Его произведения могут служить образцом стиля.

78

По отвратительному либретто, написанному по роману Виктора Гюго.

Адольф Бошо, Берлиоз.

80

Господин де Монталиве заступил место господина де Гаспарена на посту министра внутренних дел.

81

Шарль-Мари-Дени Данремон (1783-1837) – французский полководец, генерал-губернатор Алжира. Возглавлял экспедицию против алжирского города Константины, был убит перед его взятием.

82

Гектор часто ради успеха своего предприятия прибегал к помощи своего друга Александра Дюма, тогда секретаря герцога Орлеанского.

85

Адольф Бошо, Берлиоз.

«Труба предвечного» (латин.).

88

В то время Возрождение и средневековье были в моде.

89

Дантан – французский скульптор и художник (Прим. переводчика).

Артур Кокар, Берлиоз.

91

«Денди испускали куриное кудахтанье, другие подражали Полишинелю, иные жужжали, как трутни» (Адольф Бошо).

На премьере присутствовали специально вернувшийся в Париж Мейербер и Спонтини. В королевской ложе видели брата испанской королевы дона Франциско де Пауле в окружении принцесс.

«Никто не слушал эту волшебную музыку, изящную и сверкающую всеми оттенками, взятую из жизни. Не замечали ни хоров, насыщенных редкими интонациями и неожиданными ритмами, ни чарующей легкости и свежести оркестра. Никто, казалось, не оценил выразительности столь живописного римского карнавала, ярко нарисованного художником, чередовавшим народные песни с романсами Субияко и сальтарелло, струнного квартета в полутонах со смелыми и новыми сочетаниями духовых инструментов» (Ги де Пурталес).

Адольф Бошо, Гектор Берлиоз.

Лист, которого не было в Париже во время спектакля, писал одному своему товарищу:

«Я узнал сегодня вечером, что опера Берлиоза не имела успеха. Бедный друг! Судьба очень жестока к нему. Боюсь, что этот провал очень его опечалит. Слышали ли вы партитуру? Наверняка там есть и прекрасные места. Какая победа всех злобных бездарностей, что шатаются по вашим бульварам! И что всего более нестерпимо в его неудаче, так это заносчивость стольких ничтожеств, которые еще за полгода ее предсказывали. Так или иначе, но Берлиоз все равно остается самым сильным музыкальным мыслителем Франции. Рано или поздно он оправится от этого временного поражения, большая доля которого, по всей видимости, падает на авторов либретто».

Позднее, став директором театра и дирижером в Веймаре, Лист употребил весь свой высокий авторитет на то, чтобы открыть миру красоту оперы «Бенвенуто», музыкальные достоинства которой никогда не переставали превозносить беспристрастные умы. Он провозгласил: «Бенвенуто Челлини» – самое крупное, самое оригинальное произведение музыкально-драматического искусства, созданное за последние двадцать лет». И особенно важно, по мнению Листа, то, что к тому времени уже появились на свет «Вильгельм Телль», «Гугеноты» и «Пророк».

95

Каламбур: по-итальянски benvenuto – желанный, malvenuto – нежеланный. (Прим. переводчика.)

Среди более поздних музыкальных шедевров, чьи провалы, вызванные гнусными кознями, прослыли историческими, перечислим оперы «Тангейзер» Рихарда Вагнера и «Кармен» Жоржа Визе, который, как говорят, умер от этой душевной травмы. Отдельный человек мыслит, публика слепа, жестока и несправедлива. Добавим что «Совильский цирюльник» при первой постановке также казался неудачей. Однако время очищает от ненависти и предубеждений; покоренное гением, осветившим эти выдающиеся произведения, оно реабилитировало «Бенвенуто Челлини», как и «Тангейзера», «Кармен», «Цирюльника».

Pifferaro (итал.) – игрок на дудке.

99

«Как против того изменился!» (латин.). (Вергилий, «Энеида», II, 274.)

100

«О том грамматики в споре» (латин.) (Гораций, «Ars poetica», 78).

Подходящей к этому случаю (латин.).

102

Жюль Жанен.

103

«Этот альбом, служивший знаменитому собеседнику, у меня, несомненно, позаимствовал без спроса один из тех, кто, посещая салоны артистов, любой ценой приобретает автографы. Во всяком случае, однажды, когда Спонтини захотел на него взглянуть, я не смог его найти и с той поры так и не добился удачи в своих поисках» (Г. Берлиоз).

"Это произведение, – заявил позднее сам Вагнер, – сверкает свежестью и юностью, оно все проникнуто вечным трепетом человеческой души: любовь и грусть, желание и страсть, нежность и мечта». Хотя и менее популярное, чем «Осуждение», оно и сейчас остается предметом восхищения подлинных артистов; короче говоря, это – важнейшая веха в истории симфонической музыки» (Гертрих, Светочи).

«За Ромео и Джульетту» мы должны почитать Берлиоза как подлинного искупителя грехов нашего музыкального мира» (Рихард Вагнер).

«…Оно выделялось из всего сочиненного им ранее, – скажет позднее Сен-Сане. – Все здесь было ново и отмечено той глубокой оригинальностью, которой бесполезно подражать; то был вызов здравому смыслу, и только одно могло послужить извинением – создание шедевра; Берлиоз не упустил этой возможности».

105

Адольф Бошо, Гектор Берлиоз.

106

Гектор Берлиоз получил в министерстве 10 тысяч франков на покрытие всех расходов и хлопот. После того как он всем уплатил, ему осталось 2 тысячи 800 франков. В «Мемуарах» Гектор писал:

«Уходя после одного из концертов, где исполнялась симфония, Табенек, с которым я был в ссоре уже не помню по какой причине, произнес:

– Решительно, у этого ублюдка бывают великие идеи».

Постоянный враг Гектора Берлиоза композитор Адан, автор пошлого произведения «Почтальон из Лонжюмо», вынужден был написать: «Я не люблю ни самого человека, ни его манеру, но справедливости ради должен согласиться, что финал второй части производит большой эффект и намного превосходит все, что он сочинил до настоящего времени… последний темп действительно очень хорош… ритм ярко выражен, гармония нова, и вступления очень удачны».

107

Программа включала: первый акт «Ифигении в Тавриде» Глюка; сцену из «Аталии» Генделя, «Dies irae» и «Lacrymosa» из «Реквиема»; адажио, скерцо и финал с тремя хорами из «Ромеа и Джульетты»; «Траурную симфонию» Берлиоза; «Madrigal alia riva del Tebro» Палестрины.

108

Общественное мнение обвинило Бержерона в том, что несколькими годами раньше он стрелял из пистолета в короля с моста Поп-Руаяль.

109

Э. Легуве, Шестьдесят лет воспоминаний.

110

Речь идет о нашумевшем в тот год судебном деле по обвинению госпожи Лафарж в убийстве мужа.

111

Гектор Берлиоз, Мемуары.

112

«Деба», 16 марта 1842 года.

113

«Что страшного, если я займу его место? – часто ронял Гектор. – Пантеон искусств достаточно просторен, чтобы распахнуть свои двери всем великим, и нет надобности повалить одну статую, дабы на ее место установить другую».

114

Гектор как никого оплакивал в том же году (а точнее 13 июля 1842 года) покровителя высшего ранга, который, возможно, уберег бы его от столь неприятного сюрприза. Впрочем, вряд ли высокий сановник смог бы содействовать его избранию, используя влияние короля, – академики гордятся своей независимостью. Этот покровитель – герцог Орлеанский, близкий к королю, – трагически погиб при несчастном случае с каретой. Обладая изысканным вкусом, он защищал «Реквием» и посвященную ему «Траурную симфонию». Он как раз намеревался сказать свое слово.

115

По сообщениям «Франс мюзикаль» и «Альгемейне музикалише найтунг», Берлиоз уехал в Германию с официальным заданием изучить музыкальные учреждения и, в частности, церковную музыку. Кроме того, ему было поручено «собрать сведения, полезные для администрации». Поэтому министр, которому он подчинялся как хранитель библиотеки Консерватории, предоставил ему трехмесячный отпуск. (Письмо министра Дюшателя Оберу от 28 ноября 1842 года.)

116

Теперь у Гектора открылись глаза, он сетовал на то, что она мяукает, как драная кошка, а в «Альгемейне музикалише цайтунг», с большой похвалой отзывавшейся о Гекторе, можно было прочитать такое мнение: «Уже само то, что мадемуазель Мария Ресио пела, было доказательством ее веры в милосердную снисходительность немцев…» Там же Карл Альт писал во время этих гастролей Гектора: «Не Гектором – Геркулесом надлежало бы назвать поэта симфонии о «Гарольде» и «Фантастической». Сколько немейских львов из Парижа он растерзал, в скольких оркестрах бурлил Алфей его разума?.."

117

В письме Гиллеру Гектор изображает этот эпизод по-своему, в изящной и тонкой манере: «Никто никого не провел и не поймал, но вновь оказались вместе» (Иппо, Личная жизнь Берлиоза).

118

Гектор Берлиоз, Мемуары.

О Дрездене Берлиоз писал:

«Что касается молодого руководителя капеллы Рихарда Вагнера, долго жившего в Париже, но не сумевшего проявить себя там ничем, кроме как несколькими статьями, опубликованными в «Газет мюзикаль», то ему пришлось впервые использовать свою власть, оказывая мне помощь на репетициях, что он делал с великим усердием и от чистого сердца…

Испытав во Франции тысячу лишений и все горести, связанные с безвестностью, Рихард Вагнер возвратился в Саксонию, на редину, где имел смелость начать и счастье завершить сочинение текста и музыки оперы в пяти актах («Риенци»), Это произведение имело в Дрездене блестящий успех. Вскоре затем последовала опера в трех актах – «Летучий голландец», для которой он также написал и музыку и текст. Каким бы ни было мнение о достоинствах этих произведений, надо признать, что люди, способные дважды выполнить с успехом эту двойную работу, музыкальную и литературную, незаурядны, и Вагнер дал более чем достаточное доказательство своего таланта, чтобы привлечь к себе внимание и интерес».

120

Адольф Бошо, Берлиоз.

121

Господин Феликс Вайнгартнер, которому принадлежала эта Копия, привез ее 17 апреля 1903 года в Кот-Сент-Андре и передал Музею Берлиоза в этом городе (сообщено в работе Продома).

122

Артур Кокар высказывается так: «Заработок и оружие – само собой разумеется. А муки? Разве это не пытка – обязанность писать отчеты о массе бездарностей, не имея даже утешения – уничтожить их своим презрением? Не следует ли мерить силу наносимых ударов, знать границы похвал и порицаний, взвешивать эпитеты, которые будут тщательно разобраны, сопротивляться наскокам справа и слева? Хорошо еще, что Берлиоз пишет свои фельетоны, почти не задумываясь. Ему чужда была боязнь высказаться немедленно, произнести рискованное, ошибочное мнение, о котором на другой день приходилось пожалеть».

123

Отметим, что 18 августа Ресио благодаря влиянию Гектора, третируемого и терзаемого маменькой и Марией, к величайшему возмущению всего Парижа, была принята в Комическую оперу, где со скандалом провалилась, как в свое время в Опере. Гектор по этому поводу подвергся яростным нападкам. На него накинулись все враждебные газеты. Одна из них писала: «Злополучное видение!.. Самоуверенность нужна, но тут уж чересчур! Говорят, будто мадемуазель Ресио (если это действительно ее имя) воспитанница господина Берлиоза. На это он вполне способен!"

124

Среди присутствующих видели Мейербера и Спонтини. Гектор получил 500 франков.

125

В «Театрцайтунг».

126

28 февраля в Итальянском театре «Римский карнавал» был исполнен во второй раз.

127

Его никак нельзя было обвинить в узкой музыкальной эрудиции. Не то что Рамо (1683-1764 гг.), для кого весь мир знаний был в его инструменте. Пирон, говоря о Рамо, писал: «Вся душа, весь его ум были заключены в клавесине, и когда он его закрывал, в комнате никого уже не оставалось».

128

По сообщениям одних газет, музыкантов было девятьсот, других – девятьсот пятьдесят. Мы полагаем – тысяча.

129

Крупная выручка при курсе франка того времени. Однако доход от танцевального вечера, которым руководил три дня спустя (4 августа) Штраус, оказался скромным.

130

По сообщению прессы в последующие дни.

131

Г. Берлиоз, Мемуары.

132

Четыре концерта состоялись: 13 января, 16 февраля, 16 марта и в апреля.

133

Адольф Бошо, Гектор Берлиоз.

134

«Что касается «Фантастической симфонии» («Сцена в полях» и «Шествие на казнь»), то она перевернула души австрийцев». (Г. Берлиоз, Мемуары).

135

Давид. Фердинанд – немецкий скрипач, композитор, друг Ф. Мендельсона.

В эти восемь сцен входили «Баллада о Фульском короле», «Пасхальный гимн», «Песня и пляска крестьян», «Балет сильфов». «Песня о крысе», «Песня о блохе», «Романс Маргариты» и «Серенада Мефистофеля» – шедевры, созданные им в молодости.

137

Наполеон говорил: «Нет великого человека для камердинера». По отношению к Гектору мы могли бы сказать: «Еще меньше для его спутницы».

138

«Братство Давида, или «Давидсбунд», – круг друзей и единомышленников Роберта Шумана, выступавших на страницах издаваемого им журнала под романтическими именами. (Прим. переводчика.).

139

См. «Мемуары» и работу А. Бошо. Укажем, что Гектор Берлиоз вставил «Венгерский марш» в своего «Фауста», которого он тогда сочинял. Этот марш был лишь народной песней, но в «том чудесном инструментальном колорите, который сделал пьесу всемирно знаменитой». Венгры обратились к Гектору Берлиозу с просьбой посвятить им «Марш Ракоци», и композитор по прибытии в Бреславль отправил им его копию.

Чем не Дантон, который сказал: «Свою родину не уносят на подметках башмаков!"

141

Опера «Осуждение Фауста» была вновь поставлена лишь через тридцать лет, много времени спустя после смерти Берлиоза.

142

20 февраля Шуман писал доктору Францу Бренделю в Лейпциг: «Вчера вечером в театре я случайно повстречал Берлиоза. Сегодня он уезжает в Санкт-Петербург, где будет исполнять собственные произведения».

143

Подобное же суждение в Москве. Поговаривали, что сам герой был причастен к написанию этих хвалебных статей. Отметим, что князь Одоевский опубликовал в «Санкт-Петербургских ведомостях» статью, прославлявшую Гектора Берлиоза.

144

Сын Александра Дюма при тех же обстоятельствах любил отвечать так (мы заранее просим извинить нас за повторение его не совсем приличного выражения): «Мой отец – река, а реке ничего не будет, если в нее помочиться».

По-видимому, в ту пору он сочинил «Похоронный марш» для «Гамлета» и «Смерть Офелии».

146

В отсутствие Гектора.

147

Верный друг Гектора, некогда богач Огюстен де Пон, который в 1825 году ссудил ему деньги на исполнение мессы в церкви Сен-Рош, был доведен до нищеты и, не в силах пережить нужду, отравился.

«Берлиоз и любовь» («Тан», 12 декабря 1903 года).

149

«Газет мюзикаль» писала: «Господин Берлиоз открыл маленькую археологическую редкость – пастораль для голоса под аккомпанемент двух гобоев и трех фаготов».

150

«Нет ничего удивительного в том, что бывший ученик Императорского коллежа городка Кот-Сент-Андре, где под барабанную дробь учили боготворить императора, и бывший последователь шевалье Лесюэра остался антидемократом и стихийным бонапартистом…» (Ги де Пурталес).

«Новая Филармония» (англ.).

Несколько слов о Листе. После долгой и мучительной связи с графиней д'Агу, а затем мимолетных увлечений по всей романтической Европе звезда привела виртуоза к княгине Каролине Сайнг-Витгенштейн. Решительная смуглая амазонка польского происхождения, состоявшая в замужестве с крупным русским вельможей, пожертвовала своим положением в обществе, семейным счастьем и душевным покоем ради избранного ею возлюбленного.

Она уже поняла творчество Вагнера, после поражения революции 1848 года бежавшего из Дрездена в Швейцарию, и вместе с Листом пригласила его в Веймар, где вскоре были поставлены под руководством самого Листа «Тангейзер» и «Лоэнгрин», она поняла и музыку Берлиоза и нашла для него слова, о которых тот помнил и которые стали для него целительными. Таким образом, ее дом в Альтенбурге хранит воспоминания о трех самых крупных композиторах середины XIX века.

153

Лист считал Гектора Берлиоза, который был на восемь лет старше его, своим самым старым и самым дорогим другом. Он был свидетелем на свадьбе Гектора.

Перед исполнением оперы он воскликнул: «Слава созидателям! Представляемый здесь «Бенвенуто» будет жить, и во всем величии! «Бенвенуто Челлини» – одно из самых сильных произведений, какие я знаю. Оно одновременно и великолепной чеканки, и живой оригинальной скульптурной формы».

154

По рассказу Ги де Пурталеса, его наградил сам эрцгерцог, но в своей ложе.

«Неделя Берлиоза» (нем.).

157

Дьявольское упорство (латин.).

Гектор вежливо отказался принять этот дар, который, как он сказал, «столь не соответствует нашим французским обычаям».

Книга была выпущена в свет издателями – братьями Мишель Леви. Успех был настолько велик, что в следующем году она вышла вторым, увеличенным изданием.

160

Имеет значения: «пирог» и «дурно сделанная работа», «халтура» (итал.).

Берлиоз написал также два произведения по музыкальной педагогике: «Трактат по инструментовке» и «Искусство дирижирования».

162

В то время Луи не ходил в плавания. Он слушал в Гавре курс гидрографии.

163

Заметим, что во время триумфального турне Берлиоза по Германии пресса единодушно превозносила и славила его гениальность. Журнал «Сигнал» сравнивал теперь его музыку с музыкой Бетховена в последний период, тщательно изучал его музыкальный язык и, продолжая критиковать «программную музыку», отмечал, что его недавнее появление в Лейпциге переубедило не одного предубежденного. Было признано, что он в состоянии многое выразить малыми средствами. С некоторым удивлением убедились, что он не собирается в дикой ярости крушить стены несмолкаемым громом труб, что он применяет мощь там, где они необходима, и любит сдержанными созвучиями передавать самые нежные и самые возвышенные чувства человеческой души, и что чувства эти ему понятны».

164

«Газет мюзикаль», 22 января 1854 года, стр. 30. См. «Письма к Листу» 22 января и 11 марта.

Тем не менее Гектора, по-видимому, не было подле нее в момент смерти.

Лист с трогательной отзывчивостью ответил своему верному другу: «Она вдохновила тебя, ты ее любил, ты ее воспел; стало быть, ее миссия выполнена». Гектор писал в «Мемуарах»: «Генриетта была арфой во всех моих концертах, в моих радостях и печалях, чьи струны я – увы – порвал!»

Qlapissons (франц.) – визжим, тявкаем.

167

Ги де Пурталес.

Успех был таким, что спустя несколько месяцев Гектор дирижировал оркестром, исполнявшим это произведение в Королевском театре в Брюсселе, а затем и в парижской Комической опере.

169

Достоин он войти (латин.).

Это давало ему 1500 франков годового дохода.

171

Говоря о настойчивости некоторых кандидатов, вспомним Виктора Гюго. Он выставил свою кандидатуру во Французскую академию в 1836 году и в том же году дважды потерпел поражение, в частности от автора буффонад Мерсье Дюпати. Возможно ль? Сверкающий и разящий мастер, самый сильный, самый изобретательный творец рифм, величественный трубадур побит конкурентом, который, даже встав на носки, не смог бы дотянуться и до щиколотки гиганта. Словно великий тенор, побежденный хористом. Виктор Гюго терпел еще два поражения – в 1839 и 1840 годах. Наконец, 7 февраля 1844 года он был избран семнадцатью голосами против пятнадцати, поданных за Арсена Поликарпа Ансело – драматурга, погребенного под пылью забвения. Он зан место Непомюсена Лемерсье.

В этом же роду он подготовил новый том музыкальных фантазий – «Музыкальные гротески».

173

Рихард Вагнер обосновался в сентябре 1859 года на проспекте Матиньон, а потом на улице Ньютона на Елисейских полях, в старинном отеле Октава Фейе.

174

Оригинал записки находится в библиотеке Гренобля. Партитура хранится в Парижской национальной библиотеке (по завещанию мадемуазель Фанни Пеллетан).

Недаром он говорил: «Оскорбление никогда меня не отпугивает, никогда не обескураживает. Я его презираю».

176

Она была на десять лет моложе Гектора. Умерла 2 марта 1860 года.

177

Не Лакордер ли сказал: «Если хочешь быть счастливым пять минут, отомсти за себя. Если хочешь стать счастливым всю жизнь, прости».

Известно, что Бодлер присутствовал на этих скандальных спектаклях. Затем он нависал статью, озаглавленную «Рихард Вагнер и «Тайнгейзер» в Париже» (включена в его сборник «романтическое искусство»). Написал он и это личное письмо 0рнвру, которое долго находилось в архивах Байрейта. После мрачных дней денежной инфляции госпожа Козина Вагнер продала его Жаку Дусэ, и ныне оно хранится в библиотеке последнего (в Сент-Женевьеве). Его можно целиком прочитать во «Французских письмах Р. Вагнера», изданных Ж.-М. Тьерсо (Грассэ).

179

Продом, Берлиоз.

Несколько позднее Мария Ресио была захоронена на большом Монмартрском кладбище. После того как друг Берлиоза Эдуард Александр приобрел в вечное пользование для Гектора и его близких участок земли, туда был перенесен прах второй госпожи Берлиоз, а также останки Генриетты Смитсон, находившиеся на кладбище Сен-Венсан. Этой церемонии Берлиоз посвятил мрачную главу в своих «Мемуарах».

181

Луи приехал к отцу. Повидавшись с ним, он вернулся к исполнению своих обязанностей на борту пассажирского парохода морской почтово-пассажирской компании в ожидании отплытия в Мексику.

Таков его портрет того времени мастерски написанный Адольфом Бошо.

183

Перевод Эллиса.

184

Как-то Гектор в письме княгине Витгенштейн рассказывал: «Знайте, мое излюбленное место прогулок, особенно когда идет дождь и небо льет потоки слез, – кладбище Монмартр, возле моего дома. Я часто туда хожу, у меня там много знакомых. Недавно я обнаружил даже могилу, о которой ничего не знал. Ее не стало полгода назад, она не хотела или не могла сообщить, что умирает; ей было двадцать шесть лет, она была красива, она писала, словно ангел. Из осторожности мы решили не видеться, не писать друг другу, жить совершенно порознь. Как-то вечером мы увиделись случайно в театре. Кивок головы – и это было все… Она уже умирала, а я ничего не знал. Через шесть недель она угасла. Об этом я тоже не знал. Только шесть месяцев спустя…

Довольно, довольно…»

Морелю он писал: «Третьего дня я провел два часа на кладбище; я нашел очень удобное местечко на одной роскошной могиле и уснул там». Как видим, романтизм в нем не умер.

Ги де Пурталес.

Дидона и Кассандра – героини «Энеиды» Вергилия, по мотивам которой было написано либретто «Троянцев».

186

Жорж Бизе родился в Париже в 1838 году, умер в Буживале в 1875 году, тридцати семи лет. В пору этой неудачи ему было лишь двадцать пять лет. Девятнадцати лет он получил Римскую премию. За несколько месяцев перед тем в театре «Буф Паризьен» была поставлена его комическая опера «Дом доктора». Некоторые утверждают, что он умер от горя, в которое его повергла кампания интриг, поднятая против «Кармен», хотя эта опера и была одним из великих шедевров драматической музыки того времени. В ту пору Комическая опера и особенно ее кулисы были средоточием бесконечных интриг и изысканного изящества, граничащего с манерностью.

Там же нередко завязывали знакомство, а затем вступали в брак «светские львы». Завсегдатаи этого большого театра, отличавшиеся фривольностью и одновременно пуританством, сочли слишком смелым музыкальное повествование о выходках порочной работницы табачной фабрики и освистали скорее либретто, чем музыкальное сочинение. Бизе, сознававший всю ценность своего произведения, получил удар ножом в самое сердце, который и унес его из жизни.

«Театральный словарь».

188

Газетный критик сознательно искажает точное название произведения.

189

Мы уже говорили, что Гектар Берлиоз ждал пять лет.

190

Тюрьма со строгим режимом.

191

Знаменитый убийца в романтической драме Александра Дюма «Антони».

И тем не менее, когда утихли страсти, «Троянцы» были признаны одной из высочайших вершин музыки.

«Можно смело сказать, – говорит Пурталес, – что «Троянцы» еще и поныне остаются самой замечательной по силе и величию оперой, вышедшей из-под пера француза».

Из театральных произведений Берлиоза – это самое богатое и самое совершенное, оно обладает блеском и строгостью шедевра.

Его последний фельетон, посвященный разбору «Искателей жемчуга» Жоржа Визе, был опубликован 8 октября 1863 года.

Было точно так же, когда в 1827 году в Вене умер в нищете непризнанный, отвергнутый Бетховен. За окнами свирепствовала буря. Народ был подавлен. В возмещение незаслуженных унижений и страданий, композитору были устроены грандиозные похороны.

195

Адольф Бошо так описывает взволнованное состояние Гектора, надеявшегося обрести Эстеллу: «Как-то летней ночью (после обеда в честь избрания Гуно в Институт) Берлиоз, которого Легуве проводил до дому, задержал последнего на улице и до бесконечности изливал перед ним свои любовные муки, словно молодой человек закадычному приятелю. Да, этой осенью он поедет провести подле нее месяц, ничего не требуя, кроме ее присутствия; он будет ворошить прошлое в Мейлане, наблюдать, как она прядет (так как она прядет), поднимать ей очки, читать Шекспира… Исповедь продолжалась до поздней ночи, которая, казалось, окутывала страдание нежным черным покровом. Но когда друзья проходили под уличным фонарем, внезапно появилась трагическая маска – изрезанное морщинами и тенями лицо Берлиоза под седыми прядями, а под выступающей полосой бровей две черные дыры, откуда падали слезы…»

Эстелла ошибается. Разница была не так велика.

197

Между тем сборы от «Африканки» Мейербера за двадцать месяцев составили полтора миллиона франков – сумму по тем временам непомерно большую.

Он пощадил лишь гитару, унаследованную от Паганини, дирижерскую палочку Мендельсона, которую подарил Музею музыкальных инструментов и том своих «Мемуаров». Так погибло много прекрасных творений, много ценнейших реликвий.

199

Память о Гекторе Берлиозе в России передавалась из поколения в поколение, и 9 декабря 1953 года в Советском Союзе было торжественно отмечено стопятидесятилетие со дня его рождения. Лучше, чем во Франции.

200

Ги де Пурталес.

201

Какое различие между двумя композиторами – Россини и Гектор Берлиоз! Стендаль говорил (приведем его мнение, не вступая с ним в спор), что, «слушая Россини, оказываешься словно бы в ином мире, мире очень веселом». По его мнению, Россини действительно прививал вкус к жизни. Гектор Берлиоз огнем патетики и дикими ураганами внушал ужас перед жизнью. Величию, вызывающему содрогание, публика предпочитает легкость, которая развлекает. Паганини, благодетель Гектора Берлиоза, своим демонизмом сеял тревогу.

202

По поводу Гектора Берлиоза Рейер выразил прекрасную и справедливую мысль: «Человек, который спотыкается, делая шаг вперед, больше достоин участия, чем тот, кто показывает, как ловко он умеет сделать шаг назад».

203

В завещании Гектор Берлиоз выказал признательность теще, которая проявила себя терпеливой и преданной во время его болезни. Он назвал своими душеприказчиками Дамке и Эдуарда Александра, завещав первому собрание оттисков своих произведений, второму – дирижерскую палочку, преподнесенную ему жителями Вены. Его любимые книги были завещаны: Вергилий – адвокату Ножану Сен-Лорану, «Поль и Виргиния» – Эрнесту Рейеру. Эстелле (госпоже Фурнье), которая умерла лишь в 1877 году (в возрасте восьмидесяти двух лет), он оставил ренту 1800 франков, однако последняя, как видно из деликатности, отказалась ее принять.

Дело в том, что Гектор в конце концов получил свою долю наследства и продал имение Жаке, также перешедшее к нему от отца. На закате жизни он пользовался некоторой материальной независимостью, поскольку к уже названным суммам следует прибавить его жалованье в Консерватории – 216 франков в месяц и вознаграждение, выплачиваемое ему по жетонам за присутствие на заседаниях Академии изящных искусств.

Разумеется, он не жил в роскоши, но для человека, привыкшего довольствоваться малым, это было, во всяком случае, обеспеченностью.

Напрашивается сравнение с Оноре де Бальзаком, на которого тоже нападали и которого не признавали. В 1850 году Бальзак умер пятидесяти одного года. Виктор Гюго произнес надгробное слово на похоронах этого «каторжника литературы». Мы приводим конец его речи: «Увы! Этот сильный и неутомимый труженик жил среди нас той жизнью бурь, борьбы, распрей и битв, какую во все времена вели все великие люди. Ныне он обрел покой. Он ушел от споров и ненависти: в один и тот же день ступил в могилу и обрел славу. Отныне его имя будет сиять поверх всех туч над нашими головами, сиять среди парижских звезд».

205

Шатобриан писал: «На закате жизни надо суметь подготовиться к безмолвию, которое ожидает в могиле».